КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ

СТАНЮКОВИЧ

ОТКРОВЕННЫЕ

Книги, забытые потомками



русская классика

Откровенные

Константин Михайлович Станюкович

Аннотация
Константин Михайлович Станюкович. Откровенные. Роман в двух частях
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII

XVIII
XIX
XX
XXI
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI

Аннотация

Роман К. М. Станюковича — посильная сатира на современные ему (конца XIX века), общественные нравы. Он вводит читателя в мир крупных дельцов, удачливых коммерсантов, канцелярских гениев, деловитых кокоток и пр. и дает целый ряд более-менее правдивых характеристик некоторых «героев» своего времени.

Во главе их выступают два типичных карьериста — Павлищев и Борщов, достигающие успеха благодаря полной беспринципности и изворотливой угодливости всем господствующим течениям и веяниям. При одинаковой эластичности воззрений и покладистости принципов, они резко отличаются друг от друга по темпераменту: Павлищев — карьерист-эпикуреец, срывающий «цветы удовольствия» на всем пути жизни, тогда как Борщов — карьерист-стоик, сосредоточивший всю силу своего характера на одной задаче: добиться власти и положения.

И всё же, в высшей степени знаменательно, что самой живой и отзывчивой человеческой

чертою в очерствелых сердцах обоих карьеристов оказывается их любовь к детям: более мягкотелый и более человечный Павлищев берет отпуск и уезжает за границу с умирающим сыном в тот момент, когда решается вопрос о назначении его на высокий пост. И даже закаленный честолюбец Борщов велит никого не принимать и бросает все свои дела в тот день, когда к нему приезжают дети.

Константин Михайлович Станюкович
Откровенные
Роман в двух частях

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ К. М. СТАНЮКОВИЧА.

Том IX.

В места не столь отдаленные. — Откровенные.

Издание А. А. Карцева.

МОСКВА.

Типо-литография Г. И. Простакова, Петровка, д. № 17, Савастьяновой.

1897.

http://az.lib.ru

OCR Бычков М. Н.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

В зимний день 187* года часы в приемной департамента медленно и внушительно пробивали одиннадцать ударов.

Молодой дежурный чиновник светской выправки, остриженный под гребенку, то поглядывавший украдкой на одну из просительниц, хорошенькую, пикантную блондинку в пенсне, то любовавшийся своими красивыми, выхоленными руками, — при первом ударе часов быстро поднялся с кресла, одернул борт виц-мундира и вытянулся, чуть-чуть подрагивая выставленной вперед ногой. И в ту же минуту его беззаботное, молодое румяное лицо добродушного шалопая сделалось необыкновенно серьезным, и во взгляде его карих, несколько телячьих глаз появилось выражение официальной озабоченности исправного чиновника.

Просители встрепенулись и встали с кресел. В солидной приемной воцарилась мертвая тишина. Взоры всех обратились на высокую дубовую дверь, за которой был кабинет директора.

С последним боем часов, дверь бесшумно отворилась, и — аккуратный, как хронометр — в

приемную вошел, слегка щуря свои небольшие серые глаза, его превосходительство Степан Ильич Павлищев.

Это был видный и представительный, недурной собою блондин с шелковистою подстриженною бородкой и светлыми небольшими усами. Свежий, гладкий, слегка благоухающий, он казался совсем молодым, несмотря на свои сорок пять лет.

Безукоризненно сшитый, еще совсем новый виц-мундир, на котором блестела звезда, необыкновенно ловко сидел на статной, высокой, слегка полноватой фигуре Павлищева. Стоячий воротник сорочки, подпиравший розоватые, мясистые щеки, и рукава с крошечными запонками сияли ослепительною белизной. Все, начиная от галстука и кончая остроносыми суконными ботинками, свидетельствовало, что его превосходительство тщательно заботится о своем туалете.

Несмотря на преувеличенную серьезность его умного и энергичного лица и на некоторую юпитеровскую застланность взгляда, и в физиономии, и в глазах, и во всем его существе чувствовалось радостное довольство человека, переживающего медовый месяц своего нового положения и которого еще тешит и престиж власти, и игра

в начальники. Он весь словно внутренне сиял, хотя и старался казаться невозмутимо-серьезным авгуром.

Павлищев сделал несколько шагов вперед и, слегка наклоняя на бок свою белокурую голову, как бы готовый слушать, уставил глаза на ближайшего просителя. Он сразу узнал этого высокого, рыжего пожилого господина, в потертом фраке и с потертым неприятным лицом, на котором стояло заискивающее и, вместе с тем, наглое выражение бесшабашного малого, прошедшего огонь и воду. Особенно были наглы глаза, — большие, блестящие черные глаза, глядевшие из глубоких темных глазниц в упор, на Павлищева.

Павлищев не подал вида, что узнает просителя.

— Коллежский асессор Бугаев, ваше превосходительство! — громко отчеканил «потертый фрак». — Имел счастье, десять лет тому назад, служить с вашим превосходительством! — прибавил он, произнося этот титул громко и звучно, с каким-то, казалось, особенным удовольствием, и его голос при этом вибрировал восторженно и нежно.

Это бестактное напоминание о том, сравнительно недавнем, времени, когда Павлищев,

безызвестный, незначительный чиновник, служил вместе с господином Бугаевым в одном захолустном городке и, случалось, даже «перехватывал» у своего сослуживца «до двадцатого», — по видимому, не доставило его превосходительству ни малейшего удовольствия, тем более, что внезапно вызвало в его памяти и кое-какие «ошибки молодости», которые его превосходительство хотел бы забыть навсегда.

— Как же, помню, помню… Чем могу служить вам? — проговорил Павлищев вежливо-сухим официальным тоном, не допускающим никаких дальнейших воспоминаний.

Бугаев как будто даже удивился. В самом деле, странный вопрос! Казалось, было так очевидно, чем мог служить его превосходительство человеку, явившемуся во фраке, да еще значительно потертом, с крестом на шее, повязанной плохеньким галстуком поверх не особенно ослепительного воротничка и с докладной запиской в руке?

И господин Бугаев произнес не без некоторой веселой развязности:

— Хотел бы иметь занятия под просвещенным начальством вашего превосходительства!

Красивое и просвещенное лицо его превосхо-

дительства сделалось совсем серьезным.

— У меня нет никакой вакансии, — медленно проговорил он, отчеканивая каждое слово, как бы для большей убедительности, что вакансий нет.

Но господин Бугаев, казалось, не убедился и, нисколько не смутившись, продолжал:

— Я, ваше превосходительство, прошусь не сюда, не в Петербург… Я готов служить и в провинции… И там, смею думать, нужны люди… Лишившись места, я нахожусь, можно сказать, в самом критическом положении…

— Вы где служили?

— Исправником, ваше превосходительство.

— Отчего же вы оставили это место?

— Из-за патриотического образа мыслей, ваше превосходительство! — не без пафоса воскликнул Бугаев и горько усмехнулся. — Я старался исполнять свою высокую, смею думать, миссию вполне согласно с духом закона. Я хотел быть действительно авторитетным и властным лицом среди вверенных моему охранению крестьян, но это, разумеется, не понравилось многим неблагонамеренным людям. К сожалению, влияние этих людей не осталось без воздействия и на господина начальника губернии. Меня обвинили в превышении власти и предложили подать в

отставку! Все это подробно изложено в докладной записке, ваше превосходительство!

И с этими словами Бугаев протянул записку, продолжая смотреть в упор на его превосходительство.

Этот почтительно-наглый взгляд несколько смущал Павлищева.

«Того и гляди, эта каналья позволит себе какую-нибудь фамильярность, скажет что-нибудь о прежних их отношениях… От этого нахала можно всего ожидать!» промелькнуло в голове у Павлищева.

И чтоб отделаться от этого назойливого просителя, он проговорил, принимая записку:

— Хорошо-с. Я буду иметь вас в виду. Потрудитесь записать господина Бугаева в список кандидатов! — прибавил Павлищев, слегка поворачивая голову к стоявшему сзади дежурному чиновнику и отступая от просителя.

— Кандидатом? — протянул Бугаев иронически. — О, ваше превосходительство, я в двух министерствах записан кандидатом и числюсь в таком звании третий год… Осмелюсь доложить, мое положение не позволяет мне утешаться кандидатурой, ваше превосходительство. Не имея никакой протекции, я решился именно обратить-

ся к вашему превосходительству, полагая, что вы не изволили забыть бывшего сослуживца и знаете меня, как добросовестного работника…

— Но я ровно ничего не могу сделать, — нетерпеливо перебил Павлищев.

— Вы, ваше превосходительство?.. Одно ваше слово…

И, понижая голос почти до шепота, Бугаев прибавил:

— Марья Евграфовна просит… Она знает мое отчаянное положение с женой и детьми… Если угодно, она явится сама просить за меня, ваше превосходительство!

При этом имени Павлищев слегка смутился. Но смущение его продолжалось мгновение. Он овладел собою и резко проговорил:

— Кто бы ни просил за вас, все равно. Я не имею права обходить других кандидатов. У меня строго соблюдается очередь! — подчеркнул он нарочно громко, чтобы слышали все, и отошел к следующему просителю.

Бугаев пожал плечами и, мрачный, вышел из приемной.

С остальными просителями дело пошло гораздо скорей и без всяких неприятных воспоминаний. Его превосходительство ясно, коротко и толково

давал нужные объяснения, обещал, отказывал, просил повременить, давал слово прочесть записку, видимо щеголяя своим мастерством говорить с деловитой краткостью и схватывать самую суть дела.

Только хорошенькая блондинка, с пенсне на задорно приподнятом носике, никак не могла или, быть может, не хотела понять, что сестра, за которую она хлопотала, не имеет права на пенсию, и после объяснений Павлищева, самых, казалось бы, убедительных, снова повторила с видом непонимающего ребенка, даря Павлищева самой очаровательной улыбкой:

— Но уж вы устройте, ваше превосходительство. Если вы захотите, все возможно…

— Закон, сударыня… Я решительно не могу… Супруг вашей сестры прослужил всего 12 лет…

— Но войдите в ее положение… Сестра осталась без всяких средств… дети… Муж ее умер внезапно… удар… Он отлично шел по службе… Ах, если б вы были так добры и захотели сделать истинно христианское дело…

— При всем желании, я все-таки ничего не мог бы сделать, поверьте, — возразил Павлищев, не без тайного удовольствия любуясь пикантным личиком молодой женщины. — Я имел честь уже

несколько раз докладывать вам, что закон…

«Однако, премиленькая бабенка!» подумал его превосходительство, и серьезный взгляд его скользнул по ее открытой шее и роскошному бюсту.

Вероятно, блондинка заметила этот взгляд, подавший ей новую надежду выхлопотать для сестры пенсию, и вместо того, чтобы уйти, она снова защебетала:

— Но мадам Анисьевой дали пенсию, хотя муж ее прослужил всего десять лет. Отчего же не дать моей сестре? — прибавила она и сделала обиженную мину, которая тоже очень шла к ней и могла, по ее мнению, разжалобить его превосходительство.

Она очень хорошо знала, — эта маленькая, хорошенькая женщина, хлопотавшая за приличный гонорар в приемных, за разных мифических сестер и братьев, — что самые неподкупные и суровые администраторы за сорок лет делаются сердобольны при виде хорошеньких просительниц, да еще, вдобавок, с таким роскошным станом, каким обладала она.

— Я не осведомлен, сударыня, на каком основании дали пенсию госпоже Анисьевой, по смею вас уверить, что о подобной просьбе я не могу

доложить… Просите самого министра… Нам что угодно? — обратился его превосходительство к последнему просителю, пожилому человеку с вихрастой шевелюрой поседевших волос, все время стоявшему в мечтательной задумчивости и, казалось, не обращавшему ни на что своего внимания.

Не первой свежести фрак и белье, плохо вычищенные сапоги, небрежно повязанный галстук, бледное, изборожденное морщинами, когда-то красивое лицо, опушенное громадною, черною с проседью бородой, закрывавшею почти всю грудь, глубоко сидящие глаза, упорные и сосредоточенные, высокий благородный лоб и выражение какой-то спокойной и даже несколько надменной уверенности в умной физиономии и в глазах, — все отличало этого просителя от остальных, бывших в приемной.

Вместо ответа, этот господин подал его превосходительству объемистую тетрадь.

— Это что такое?

— Описание моего изобретения, ваше превосходительство… Хочется думать, что вы прочтете и убедитесь в огромном его значении… Вот уж десять лет, как я хлопочу, хожу по приемным и… и получаю отказы… Я убежден, что никто

и не читал этой записки… Узнав из газет, что вы назначены на столь важный пост, я решил обратиться к вам за содействием… Прочтите, и вы увидите, безумец ли я, как находят господа чиновники, или предлагаю России десять миллионов ежегодного сбережения…

— Хоть это и не по-моему департаменту, но я непременно прочту, — проговорил Павлищев, принимая объемистую записку и с некоторым недоумением взглядывая на просителя и как бы соображая: сумасшедший он или нет…

— Искренно вам благодарен, — с чувством произнес старик, — но предварительно позвольте вам вкратце изложить принципы моего изобретения…

Павлищев позволил, и краткое изложение заняло целых пятнадцать минут убежденного и оживленного изложения и грозило еще продолжаться, если бы Павлищев не остановил изобретателя.

— Извините, мне некогда… Я непременно прочту вашу записку… Идея ваша мне нравится… Приходите через месяц.

Обрадованный изобретатель еще раз поблагодарил его превосходительство и ушел, счастливый, с загоревшимися глазами, почти уверенный,

что теперь дело его в шляпе.

Его превосходительство направился в свой кабинет. У дверей он остановился и спросил у дежурного чиновника:

— Как фамилия этой просительницы, которая хлопочет о пенсии своей сестры?

— Рогальская, ваше превосходительство! Анна Аполлоновна Рогальская…

— Назойливая дама! — промолвил недовольным тоном Павлищев и скрылся в дверях кабинета.

II

Представительный курьер Сидоренко, — почтенный седовласый старик из отставным вахмистров, с золотой медалью на шее, бодрый и крепкий, с благообразным солидным и серьезно-внушительным лицом, — бесшумно вошел, вслед за звонком, в кабинет и вытянулся в струнку.

— Переодеться!

Старик достал из шкафа темную жакетку и, приняв виц-мундир и Владимирский крест, снятый с шеи, помог его превосходительству принять неофициальный и даже несколько легкомысленный вид обыкновенного смертного.

Этот курьер, переменивший на своем веку не мало директоров, а с ними вместе и не мало взглядов на внутреннюю политику, остававшийся при разных переменах несменяемым, сумевший скопить на своем скромном посту изрядный капиталец, ссужая за небольшие «проценты» господ чиновников, — этот философ сразу заметил, что «новый генерал» не в духе. По наблюдениям старого курьера, генерал, после своих первых четырех приемов, со времени назначения в должность, возвращаясь в кабинет имел всегда

веселый и даже игривый вид, точно именинник, что Сидоренко, как тонкий наблюдатель, объяснял себе тем, что генералу «лестно» принимать просителей в новом звании. Эта «лестность» казалась ему тем более понятной, что «новый генерал» был определен прямо «с ветра», из чиновников по особым поручениям при министре, не пройдя обычных иерархических ступеней и попав, так сказать, прямо в рай, не побывав в чистилище. И, надо сказать правду, назначение Павлищева едва ли не поразило старика-курьера более, чем господ чиновников департамента. Консерватор по убеждениям и привыкший, чтобы все делалось «по порядку», старый курьер отнесся к «новому генералу» сперва недоброжелательно и как бы обиженно за нарушение «принципа». Но — оппортунист по натуре — Сидоренко, убедившись, что «новый генерал» ничего против него не имеет, сам через неделю против генерала ничего не имел и даже втолковывал одному своему приятелю, что умных генералов велено назначать со стороны или выписывать из провинции, так как столичные приелись.

Курьер не ошибся. Павлищев, действительно, имел недовольный, раздраженный вид. Оставшись один, он, вместо того, чтобы присесть к

столу, быстрыми шагами заходил по кабинету, подергивая одним плечом и хмуря брови.

Это была обширная, высокая и светлая комната в четыре окна, с огромным письменным столом посредине, на котором лежало множество бумаг, печатных записок и брошюр. Солидная мебель была обита черным сафьяном. Шкаф с книгами стоял у одной стены, а на других висели карты и разные таблицы. В углу был телефонный аппарат.

Здесь, в этом кабинете, одушевляемый честолюбивыми мечтами, Павлищев работал с ретивостью человека, недавно назначенного на видный пост, открывающий дальнейшие перспективы. Он здесь принимал доклады, поражая докладчиков необыкновенной памятью, диктовал конспекты записок, набрасывал представления в государственный совет, принимал посетителей по делам, беседовал с начальниками отделений, подписывал бумаги и, проработавши до шести часов, туго набивал бумагами свой портфель, который курьер отвозил домой, и дома, случалось, просиживал за бумагами до утра.

Павлищев не даром пользовался репутацией талантливого и неустанного работника.

Работая сам, как вол, он заставлял работать и

подчиненных, и вскоре, после его назначения, в департаменте кипела оживленная работа. Чиновники приходили в 10 часов утра и нередко сидели до шести. Новый директор «подтянул» департамент. Все чувствовали, что с ним шутить нельзя, а надо было работать или уходить вон. Все знали, что Павлищев имеет влияние на министра, и боялись его. В чиновничьем мире в нем видели восходящую звезду и из зависти называли его выскочкой и человеком, у которого ni foi, ni loi и, вдобавок, весьма подозрительное прошедшее. С каким апломбом говорит он, что отдал дань «молодой дури», и нисколько не скрывает этого. И какая в нем самоуверенность и даже наглость!

Его превосходительство, наконец, присел к столу и принялся, было, за бумаги, но работа, видимо, не шла, и в голове его снова проносилось то далекое прошлое, о котором напомнил ему этот наглец Бугаев, упомянув имя женщины, давным-давно забытой…

А между тем, это имя, соединенное с воспоминанием об одной из очень печальных «ошибок молодости», нарушило его жизнерадостное веселое настроение и даже смущало его, человека, казалось, не особенно легко смущавшегося.

«К чему она здесь? Зачем приехала? И какая

цель была у Бугаева говорить о ней?»

Такие вопросы задавал себе Павлищев и раздумывал, может ли эта женщина повредить его репутации под влиянием такого мерзавца, как этот Бугаев, готового, по видимому, на шантаж…

Павлищев презрительно усмехнулся. Разумеется, такие пустяки не могут серьезно повредить ему. Мы, слава Богу, живем не где-нибудь в Англии или во Франции, где частная жизнь общественных деятелей является предметом газетных толков. И наконец, он слишком хорошо знал, что прошедшее и иногда даже очень двусмысленное и всем известное, не мешает некоторым деятелям спокойно наслаждаться благами положения и пользоваться общим почтением. Тем не менее, Павлищев все-таки пожалел, что у него была эта «ошибка молодости»… Лучше, если б ее не было!

И он невольно припомнил это прошлое, которое казалось теперь таким далеким, особенно при теперешнем его положении, припомнил этот маленький городок, где он служил, припомнил эту простенькую, добрую Марью Евграфовну, молоденькую акушерку, которая влюбилась в него и сошлась с ним, не требуя ничего, кроме взаимности… И эта связь продолжалась три года, были дети… Он даже подумывал о том, не жениться ли

ему, как вдруг судьба внезапно ему улыбнулась, и он уехал в Петербург и скоро забыл и о Марье Евграфовне, и о детях. Сперва еще посылал рублей по двадцати пяти, а затем и посылать перестал и прервал всякую переписку…

И вот теперь, когда уж он совсем забыл об этой «ошибке молодости», как забыл и о некоторых других, она снова напоминает о себе и даже тихо и деликатно нашептывает на ухо его превосходительству, что он поступил не совсем корректно, бросив на произвол судьбы бедную женщину с двумя детьми, и вызывает в нем сложное чувство раздражения, испуга и стыда.

Со свойственною ему быстротой, он обдумал это неприятное дело и решил: немедленно же узнать адрес этой женщины, повидаться с нею и деликатно предложить ей некоторую сумму и свою помощь устроить ее, разумеется, где-нибудь в провинции. Таким образом, он поправить свою «ошибку» и предотвратит «скандал», если б он и грозил ему. Наконец, можно будет и этому каналье Бугаеву дать какое-нибудь место. Черт с ним!

Приняв такое решение, его превосходительство несколько успокоился и принялся за работу.

Говорят, что в жизни каждого человека бывает случай счастья, которым только надо уметь

воспользоваться. Такой случай выпал и на долю Павлищева в то время, когда он тянул свою скромную служебную лямку, чувствуя неудовлетворенность и даже некоторую озлобленность человека, принужденного зарывать в землю свои таланты и влачить безвестное существование в маленьком городке, без надежды сделать какую-либо серьезную карьеру. А честолюбивый червяк жил в нем и не давал ему покоя. Он видел, какое ничтожество, благодаря связям и протекции, иногда делает карьеру, выдвигается, а для него, сознающего свои способности, будущее казалось серењким и бесцветным. Ему уж около тридцати пяти лет, а он всего лишь незначительный чиновник, хотя и окончил блестяще курс по двум факультетам. Уж он, было, серьезно подумывал бросить службу и приискать занятия где-нибудь в частном банке или по железной дороге с хорошим содержанием, как неожиданная встреча и знакомство с одним петербургским сановником, приехавшим отдохнуть на месяц в свое имение, в нескольких верстах от того города, где служил Павлищев, изменила его судьбу. Сановнику, озабоченному, что нет «людей», и искавшему «свежих сил», очень понравился этот умный, энергичный, обладавший большим

тактом, красивый молодой человек, который с таким вниманием слушал, схватывая, казалось, мысли на лету, о том, как возможно осчастливить Россию, и так тонко умел польстить ему, выражая свое восхищение идеями, которые в тайне считал болтовней доктринера, бумажного человека, незнакомого с жизнью. Павлищеву было милостиво предложено место, и Павлищев, разумеется, с радостью согласился и скоро уехал в Петербург.

Там он блистательно воспользовался случаем и в короткое время приобрел совершенно заслуженно репутацию дельного и талантливого человека. Он работал, писал записки, составлял проекты, исполнял разные поручения и всегда дельно и толково, и когда вместо сановника, не успевшего осчастливить Россию, назначили в те далекие времена другого, который решительно обещал это сделать и даже в самое короткое время, Павлищев, как дорогой клад, как незаменимый человек à tout faire, был рекомендован новому своему начальству. Деловитый, способный и умевший понимать людей, он с прежнею ретивостью стал проводить новую программу облагодетельствования родины и с тою же талантливостью писать проекты и записки, сде-

лавшись близким человеком нового патрона и постепенно забывая старого, сданного в архив. Деятельность его он теперь уж находил возможным порицать с снисходительной, впрочем, оговоркой, что «старик» был слишком бумажный, человек, хотя несомненно искренний и благонамеренный.

Карьера улыбалась Павлищеву, и он работал, не зная устали. Его новый патрон, энергичный и умный человек, сам неустанный работник, умел ценить работу других, и награды сыпались, как из рога изобилия, на этого «нового человека» и enfant chéri, возбуждая завистливые и злостные толки.

— C'est un vrai prokwost! — говорили про Павлищева светские чиновники, не переваривавшие его быстрых успехов. — Он несомненно умен и талантлив, но первый же продаст своего нового патрона, как продал старого!

Нечего и прибавлять, что такие отзывы диктовала зависть, и, конечно, подобная репутация вряд ли имела основание. Павлищев просто был «человеком жизни», как он себя называл, добивающимся своим горбом того, чего другие добиваются связями и родством.

Он знал все эти толки и знал всю эту злобу

обиженных маменькиных сынков и карьеристов по праву рождения. Знал и не обращал никакого внимания и даже не старался как-нибудь задобрить их. Напротив, все очень хорошо знали, что Павлищев всеми силами старался у министра, чтобы отличали только хороших работников, а не разных протеже. И потому в свете все эти маменьки и бабушки, все эти дяди и папеньки, желающие пристроить своих присных, терпеть не могли и министра, и его любимца.

Мало ли что говорят про людей на виду? Пусть говорят. Да, наконец, Павлищев был слишком умен, чтобы понимать, что крупные успехи в жизни очень редко достигаются без шипов и одними добродетелями, к тому же и не всегда имеющими ценность на житейском рынке. Эти прямые, правдивые, убежденные герои-чиновники, говорящие начальству тирады à la маркиз Поза, могут являться только в очень плохих романах, а в действительности, если б и нашелся «человек 20 числа», рискнувший на роль маркиза Позы, то такого Позу при самых благоприятных обстоятельствах уволили бы по третьему пункту. Он понимал условия, в которых приходилось действовать, и, снедаемый честолюбием, сознававший свои способности, готов был отдавать их

на что попало, уверенный, что и он когда-нибудь «осчастливит Россию» и покажет, как это можно сделать.

И он, давным-давно бросивший «дурь молодости», ставший «человеком жизни», поневоле приспособлялся к духу времени, чтобы успевать, и успевал по мере того, как приспособлялся.

Далеко не религиозный человек, он находил нужным посещать каждое воскресенье обедни и истово креститься на улицах, проезжая на своем рысаке мимо церквей — это давало известный cachet. Он громко говорил — и казалось с убеждением, — что Россия самобытна и нисколько не похожа на Европу и потому все, решительно все, должно быть в ней самобытно. Когда-то сам пописывавший в газетах и большой поклонник литературы, он со времени возвышения своей счастливой звезды, стал говорить, что печать распущена и что «невежественные журналисты» приносят вред, толкуя о мероприятиях, блага которых не понимают.

Напрасно только его превосходительство нападал на печать. Неблагодарный! Когда его назначили в 187* году директором департамента, многие газеты, воспользовавшись правом свободного обсуждения, приветствовали его вос-

торженными дифирамбами.

И вот такому счастливцу, цветущему, бодрому и здоровому, это зимнее солнечное утро напомнило о давно прошедшем времени и об «ошибке молодости». Казалось, приняв решение, его превосходительство успокоился. По крайней мере, он весь этот день работал с обычной быстротой, принимал доклады, был на заседании одной комиссии и говорил с известным своим мастерством. Но вернувшись, после позднего обеда у Донона, в свою уютную холостую квартиру, он снова в раздумье заходил по кабинету и долго не принимался за дела.

Только перед отходом ко сну он написал на клочке бумажки своим четким крупным почерком: «Дочь купца третьей гильдии, Марья Евграфовна Борщова» и, отдавая клочок камердинеру, приказал ему завтра же пораньше справиться в адресном столе, где живет эта особа.

— Завтра же покончу все это! — прошептал уже в постели Павлищев раздраженным тоном, чувствуя, что боится свиданья с этой кроткой и простоватой Марьей Евграфовной.

III

Господин Бугаев возвращался из департамента в озлобленном настроении человека, горько обманувшегося в своих ожиданиях. Он очень надеялся, что Павлищев даст место своему бывшему сослуживцу и знакомому, вдобавок еще потерпевшему из-за «патриотического образа мыслей», что Бугаев, как человек несколько увлекающийся и уж через чур исключительно понимавший патриотизм и дух времени — считал большим козырем в своих руках, дающим, ему значительные преимущества перед другими искателями мест. Сколько он ходил по разным приемным и сколько раз говорил он с благородною откровенностью пострадавшей жертвы о своем положении — и везде одно обещание «иметь в виду», везде какое-то безучастное отношение, не смотря даже на то, что о нем, как о «невинно пострадавшем», писалось даже в одной газете года два тому назад.

И Павлищев отказал, хотя он, в виде последнего внушительного аргумента и упомянул о Марье Евграфовне. И вдобавок, узнавать не хотел. Руки даже не подал. Забыл, как прежде занимал деньги. «Зазнался, скотина этакая!» мысленно

обругал Павлищева Бугаев, полный злобы за его бессердечный отказ и высокомерный прием. О, как он ненавидит и Павлищева, и всех этих господ, располагающих местами, которые являются виновниками его ужасного положения. Чем он хуже других! Отчего ему именно нет места?.. Не он ли старался, изо всех сил лез, чтобы отличиться энергией и распорядительностью и показать, что и он на своем маленьком поле действий действительно «сильная власть», как казалось ему, и требовалось по духу времени, проповедывалось благонамеренными органами печати. И отчего же другие выдвинулись именно за то, что действовали в таком направлении, а он, делавший то же самое в другой губернии, уволен в отставку!? Где логика!? Где справедливость!?

Рассуждая таким образом, Бугаев проклинал судьбу и людей, и с какой-то злобной ненавистью затравленного волка посматривал на хорошо одетых чиновников с портфелями в руках, торопившихся в свои департаменты.

В самом деле, положение Бугаева было не из приятных. Он с женой и двумя детьми, которых страстно любил, доживал последние остатки тех небольших деньжонок, которые предусмотрительно нажил на последнем своем месте. Еще

один месяц — и там хоть иди по миру!

«Нет! Вы так не отделаетесь от Евлампия Бугаева, ваше превосходительство! Не от-де-ла-етесь!.. Только убедить бы эту дуру Марью Евграфовну, и я вам преподнесу сюрпризец, какого вы не ожидаете»!

Так мысленно грозил Евлампий Бугаев и, занятый мыслями о «сюрпризце», продолжал свой путь, ежась и вздрагивая на морозе в своем потертом и мало гревшем пальто. И медвежья шуба, и шинель с бобром — остатки прежнего благополучия — были давно заложены.

Обыкновенно в первом часу Бугаев заходил к Доминику и там проводил целые дни, играя на бильярде. Превосходный игрок, он, случалось, приносил домой рублей пять-десять, если отыскивал пижона, но в последнее время заработок его был плох: с ним не играли — а если и играли, то брали много вперед, партия уравнивалась, и выигрыш не всегда был верный.

Но сегодня Бугаев торопился прямо домой. И чем ближе подходил он к «дому», тем печальнее и безнадежнее было его помятое, неприятное лицо с длинным носом, обросшее большой рыжей бородой. Наглое выражение исчезло, и большие, сверкающие черные глаза его засветились

мягче.

Он зашел в лавку, купил дешевого сыра и колбасы, взял в булочной хлеба и три сладких пирожка и вошел в подъезд большого дома, занятого меблированными комнатами.

— Что, братец, писем не было? — спросил он, принимая внушительный вид, по обыкновению швейцара, бойкого, плутоватого и прожженного малого, вышедшего из своей грязной конуры, где он помещался с большим семейством.

— Не было, Евлампий Иваныч.

— Гм-м! Странно… Должно быть давно денежное.

— Идет-с, видно, — не без скрытой иронии промолвил швейцар.

— Ну, да теперь, если и опоздает — не беда… Место, братец, наконец, получаю.

— Получаете? Ну, слава Богу… Честь имею поздравить, Евлампий Иванович. Давно уж вам пора… Слава Богу, сколько ждете!

— Нынче, братец, и по пяти лет ждут. Сам знаешь? На одно место — сто кандидатов. — И, подавая швейцару гривенник, прибавил:- Вот тебе, Семен, за поздравление. Как получу приказ, дам как следует… будешь доволен!

Швейцар поблагодарил и спросил:

— Здесь место или в провинции, Евлампий Иванович?

— Вероятно в провинции… А барыня не выходила?

— Не должно быть… Да, Евлампий Иванович, нынче на счет местов очень трудно даже и нашему брату…

Бугаев, поддерживавший со швейцаром добрые отношения, кивнул утвердительно головой и поднялся в третий этаж. Отворив двери, он очутился в темном коридоре, и его обдало прокислым, специфическим запахом петербургских меблированных квартир средней руки.

В этом коридоре Бугаев жил уже второй год и знал почти всех его обитателей. Это были, по большей части, такие же алчущие и жаждущие, как и он сам, приехавшие в Петербург искать мест и счастья, и вместо двух-трех месяцев, застрявшие надолго в этом самом длинном коридоре, названном одним из неунывающих жильцов «коридором сладких надежд».

Кого тут только не было!

Здесь, в самом конце, в крошечной комнате жил терпеливо ожидавший славы и миллионов старик-изобретатель, которого Бугаев сегодня видел у Павлищева, хотя и говорил еще накануне

старику, что Павлищев изобретений не касается и к нему идти нечего. Тут же жила и худенькая старушка, которая хлопотала о возвращении ей имения, будто бы неправильно от нее отобранного. Она по целым дням писала прошения, не знала куда уж их подавать, так как проиграла дело во всех инстанциях и получила отказ во всех местах, куда только можно было жаловаться. Но это ее не останавливало, и она все писала, отрываясь только за тем, чтобы рассказать о своем деле кому-нибудь из жильцов, недавно приехавших и еще не имевших повода бегать от этой полусумасшедшей старухи, как от чумы… И бедняжка читала свое последнее прошение, в котором она в тысячный раз призывала громы небесные на виновников ее разорения, на губернатора, на суд, на министров, вполне уверенная, что она права и что истина, наконец, восторжествует, только нашелся бы человек, который взялся бы хлопотать. Она с удовольствием дала бы такому человеку половину отнятого у нее имения… Тут же жила пожилая дама, приехавшая, чтобы упечь куда-нибудь своего «подлеца-мужа» и всем рассказывающая о пакостях «этого человека» с таким увлечением и удовольствием, что, казалось, если бы у нее вместо «этого человека» был добро-

порядочный супруг, то она была бы невыразимо несчастна. Она «упекала» мужа уже пятый месяц и все-таки не могла никуда «упечь», и находя, что законы на этот счет в России никуда не годятся, ходила с жалобами по разным приемным. В этом же коридоре жил молодой литератор, исписывавший вороха бумаги и вотще ходивший по редакциям, и тут же оглашала своими руладами и трелями одна довольно видная еще певица, имевшая, конечно, громадный успех на трех провинциальных сценах (если не верите — вот вам вырезки из газет!) и не принятая по интригам на казенную сцену. Но она добьется, наконец, своего. Ее примут и… посмотрите, что пишет харьковский рецензент о том, как исполняла она Травиату… а вот венки и адресы от почитателей… Тут же не жил, а проводил только ночи молодой и франтоватый человек восточного типа, неизвестно чем занимавшийся и неизвестно на что надеявшийся. Даже и Евлампий Иванович Бугаев, имевший какую-то особенную способность выведывать всю подноготную, и тот оставался в недоумении перед социальным положением этого здорового брюнета с крепкими, сверкающими белизной, зубами и крупными глазами с поволокой, который возвращался поздно домой и

рано уходил, всегда веселый, бодрый и здоровый и, судя по этому, не нуждающийся в деньгах. Наконец, Бугаев решил, что этот брюнет, должно быть, на содержании, и несколько успокоился.

* * *

Отворив двери довольно большой комнаты, Бугаев был весело и шумно встречен двумя детьми: мальчиком лет 12 и девочкой лет 10, которые бросились к нему на встречу. Он крепко их расцеловал и, сняв пальто, вошел в комнату, где на диване сидела за починкой белья бледная и болезненная, худая и истомленная женщина с большими серыми глазами и с каким-то безнадежно покорным выражением на своем довольно приятном и миловидном лице. При виде мужа, она оставила работу и взглянула на него пристально и тревожно.

— Ну что? — спросила она.

— Подлец! — угрюмо ответил Бугаев.

Жена больше ничего не спросила и, опустив голову, снова принялась за работу.

— Да ты не сокрушайся, Варенька… Не отчаивайся! — заговорил Бугаев мягким, заискивающим тоном, с нежностью взглядывая на эту худую, больную женщину в черном стареньком

платье, в руке которой мелькала иголка. — Это не беда, что он с первого раза отказал! — продолжал Бугаев, присаживаясь у стола и развертывая пакет с покупками. — Я еще раз к нему пойду… на квартиру… Вот, Варенька, я сыру и колбасы принес… Закуси. Ты сыр любишь. Детки! Идите завтракать! Идите, милые!

Он был необыкновенно ласков и нежен с детьми и, видимо, несколько трусил жены и как бы чувствовал себя перед ней виноватым.

— Право, Варенька, не тревожься…

— Да разве я за себя? — кинула Варенька, и бледное ее лицо вспыхнуло румянцем. — Я скорблю за них! — тихо прибавила она, кивнув головой на детей… — Мне что?.. Моя жизнь спета, а вот они… Целых два года ты без места… И сам виноват… Я тебя предупреждала…

Бугаев ничего не отвечал. Ах, если б он ее послушал тогда!

— Ты знаешь, сколько у нас денег? — снова заговорила она, оделив детей.

— Знаю, что немного.

— Тридцать рублей.

— Я денег достану… И место будет, ей-Богу будет, через того же Павлищева. Когда я намекнул этому скоту о Марье Евграфовне, он смутился…

очень даже. Знает кошка, чье мясо съела! Я ее уговорю… Она попросит за меня, и он не посмеет отказать… Что ж ты не ешь, Варенька?.. Я для тебя сыр купил… Не посмеет… Он должен дать мне место, а не то…

— Опять какую-нибудь гадость придумаешь?.. — брезгливо спросила молодая женщина.

— Ах, Варенька!.. С такими людьми всякие средства хороши…

— И ты думаешь испугать Павлищева?

— И испугаю. Поверь, что испугаю… Я знаю, чем его испугать! Только бы Марья Евграфовна меня послушалась. Дура! Не понимает своего же счастья… Хотя бы ради сына взялась за ум… Могла бы его обеспечить!.. Я ведь, собственно говоря, ничего дурного ей не предлагаю! — прибавил Бугаев, заметив на лице жены презрительную гримасу. — Что, как ее Вася? — лучше ему?

— Нет… У него жар. Доктор был, говорит: сильная простуда…

— Знаешь ли что, Варенька?.. Поговори ты с ней… Попроси ты ее написать обо мне Павлищеву…

— Проси сам, а я не стану! — холодно промолвила жена и как-то вся съежилась, точно ей вдруг сделалось холодно.

В это время за стеной раздались выкрикивания певицы, имевшей успех на трех сценах. Она проделывала свои ежедневные упражнения: тянула ноты. А за тем предстояло еще прослушать сольфеджио и уже затем несколько арий.

Варенька, у которой и без того нервы были измотаны, проговорила со вздохом:

— О, Господи! И так каждый день!

— Хочешь, я попрошу ее перестать. Скажу, что ты больна?

— Не надо. Я раз ее просила через горничную. Она ответила, что она должна заниматься и, разумеется, права… Какое ей дело до других…

— Ну, так я пойду, Варенька, к Марье Евграфовне… Попрошу ее…

С этими словами он вышел в коридор, а молодая женщина несколько времени сидела в глубокой задумчивости, оставив работу. Наконец, она взглянула на детей, тихо игравших в отдалении, позвала их и вдруг с какою-то порывистою страстностью прижала к себе, и неудержимые слезы лились из ее глаз.

И бедная, измученная женщина думала в это время свою старую безотрадную думу о том, что если бы не эти ненаглядные ее крошки, то разве вынесла бы она всю эту каторгу и разве могла бы

жить с этим человеком, которого она давно уже перестала любить и уважать.

Дети испуганно смотрели на мать, а за стеной певица выделывала рулады.

IV

В небольшой, чисто убранной, хорошо проветренной комнате того же «коридора сладких надежд», на мягком низеньком кресле у кровати сидела Марья Евграфовна с книгой в руках. Читала она, видимо, не внимательно, потому что поминутно поднимала глаза на спящего хорошенького мальчика, с белокурыми вьющимися волосами, и тревожно, вся напряженная, прислушивалась к его дыханию и прикладывала руку ко лбу и разгоревшимся щечкам ребенка.

Это была хорошенькая женщина, казавшаяся гораздо моложе своих тридцати лет, свежая, здоровая и крепкая, с пышным румянцем на щеках, хорошо сложенная, с тонкой, гибкой талией и с роскошными темно-русыми волосами, гладко зачесанными назад и собранными в виде коронки на темени. Было что-то необыкновенно милое, простое и располагающее в чертах этого пригожего, открытого и серьезного лица и особенно в этих больших темных глазах, кротких и вдумчивых, с большими пушистыми ресницами. Одета она была очень скромно, но опрятно и не без некоторого изящества, свидетельствующего

о вкусе и привычке не распускать себя. Поношенное черное шерстяное платье сидело на ней ловко, и вся она имела необыкновенно свежий и опрятный вид — эта небольшого роста женщина, когда-то любившая Павлищева до безумия и не мало перенесшая из-за него горя.

В самом деле, тяжело было ей, молодой девушке, брошенной с двумя детьми на произвол судьбы в маленьком городке на общее глумление и позорище. Надо было много выносливости, энергии и силы материнского чувства, чтоб не сойти с ума или не пасть духом от отчаяния после того, как человек, которого она беззаветно любила, на которого молилась, считая высшим существом, — поступил с ней так бессердечно, так жестоко! Через два три месяца после разлуки он даже не отвечал на ее письма, в которых она просила не денег — о, нет! — а слова любви и утешения. А она так ждала этого слова, бедная, только что потерявшая одного ребенка, голодавшая, оставшаяся почти без практики и не знавшая, к кому обратиться за помощью. Родители ее давно умерли; была в Сибири тетка и состоятельная, но Марья Евграфовна ее совсем не знала. Был у нее еще брат гимназист в Москве, но что мог он для нее сделать? В этот ужасный период ее жизни каких

только унизительных предложений не делалось ей! Один купец предлагал взять ее на содержание, а один помещик звал в деревню к нему в экономки, но с тем, чтобы она отдала своего сына в воспитательный дом. Сколько слез пролила она в своей убогой комнатке у старушки-мещанки, и сколько горьких дум передумало это кроткое существо, так горько обиженное на заре своей жизни и так поруганное за свою любовь и веру в людей! Спасибо добрым людям, которые помогли ей в ту пору уехать из маленького городка, где все знали ее историю. В числе этих людей был, между прочим, и Бугаев и, главное, его жена. Они снабдили Марью Евграфовну небольшою суммой, собранной тремя-четырьмя человеками, и она переехала в губернский город.

Несколько тяжелых лет пережила она в борьбе с нуждой, испытывая всевозможные лишения, но честно и упорно выносила в битве жизни все суровые испытания ради этого маленького Васи, которому она отдала свою жизнь, пугливо сторонясь всякой привязанности и считая себя не вправе делить свою любовь. А искушения бывали! Только года через три, когда она, при помощи одного почтенного врача, приобрела практику и получила еще постоянное место в больнице, Ма-

рья Евграфовна несколько вздохнула от лишений и могла не только без ужаса думать о завтрашнем дне, но даже и откладывать кое-что, чтоб иметь возможность впоследствии дать образование своему Васе. Им одним она только и жила. Им, что называется, дышала. Для него, кажется, она старалась пополнить свое образование, читала в свободное время и слушала лекции одного из профессоров университета, читавшего специальный курс. Несколько месяцев тому назад, судьба ей улыбнулась. Марья Евграфовна совершенно неожиданно получила от сибирской тетки пять тысяч наследства и могла теперь на время оставить практику и уехать в Петербург, чтоб посоветоваться с докторами о сыне. У него один глаз был полуприкрыт веком и ей советовали сделать ему операцию. С этой целью она и приехала в Петербург неделю тому назад и, встретившись случайно на улице с Бугаевым, перебралась, по его совету, в меблированные комнаты, где жил и он. Бугаев был чрезвычайно рад этой встрече. Мысль эксплуатировать прежние отношения Павлищева к Марье Евграфовне засела ему в голову. Но с первых же слов он убедился, что она такая «дура», каких по нынешним временам редко встретишь.

Давно уже она похоронила любовь, простила свою обиду и забыла, что перенесла из-за Павлищева. Она не знала, где он, и не пыталась узнавать, никогда о нем не слыхала и только в минуты раздумья о своей неудачной жизни и о том, что сына нет отца, воспоминание о Павлищеве поднимало в ее душе больное чувство. И вот теперь она узнает, что Павлищев в Петербурге, что он — важный и влиятельный человек.

«И Бог с ним!» — подумала Марья Евграфовна, и была крайне изумлена, когда Бугаев стал, было, намекать ей о возможности какого-то будущего ее «счастья», если только она захочет воспользоваться случаем. Она даже, казалось, не понимала, какой может быть «случай», и довольно резко оборвала этот первый разговор Бугаева. «Ничего ей не надо от Павлищева. Она, слава Богу, ни в ком не нуждается!» — с горделивым чувством собственного достоинства прибавила Марья Евграфовна.

Но если ей ничего не надо было от Павлищева, тем не менее чисто женское чувство не то любопытства, не то, быть может, воспоминания о прежней любви к этому человеку, отцу ее ребенка, несколько взволновало ее, снова напомнив прошлое. Ей втайне хотелось подробнее узнать

о нем: женат ли, есть ли дети, постарел или по-прежнему красив, счастлив ли он и вспоминает ли когда-нибудь о ней. Да, Марье Евграфовне очень бы хотелось все это знать теперь, когда, казалось, она давно порешила, что Павлищев бессердечный эгоист, и ей нет до него никакого дела. Но она, разумеется, ничего не спросила, точно Павлищев для нее перестал существовать.

Потерпев неудачу, Бугаев, по обыкновению, не смутился. Он только вытаращил на Марью Евграфовну глаза, словно бы удивляясь, что она осталась такой же «дурой», какой была и десять лет тому назад. Он все-таки не терял надежды воспользоваться ею. И теперь, после отказа Павлищева дать ему место, в его голове явился блестящий, по его мнению, план и при том самого решительного характера. Ничего нет легче, как привести его в исполнение. Не бойсь, тогда его превосходительство запоет.

* * *

Тихонько постучав в двери, Бугаев осторожно вошел в комнату Марьи Евграфовны.

— Не помешаю я вам, дорогая Марья Евграфовна? — спросил он, пожимая руку подошедшей к нему молодой женщины. — Надеюсь, Васе

лучше?

— Спит! — тихим голосом промолвила Марья Евграфовна. — Садитесь, Евлампий Иванович, — прибавила она, указывая на кресло вдали от кровати и сама присаживаясь подле.

— И отлично, что спит, — таким же тихим голосом говорил и Бугаев, — сном всякие болезни проходят. Коли спит, значит, сил набирается. Надеюсь, у Васи ничего опасного нет?

— Доктор говорит, что ничего опасного. Грипп только… А все-таки…

Она не досказала о своем опасении, что может сделаться что-нибудь серьезнее гриппа, и вздохнула.

— А вы не волнуйтесь, дорогая. Не из-за чего волноваться и расстраивать себя… Сами берегите-то свое здоровье, благо Господь его вам дал… Эка, какая вы цветущая, Марья Евграфовна! вставил Бугаев, любуясь ее красивым лицом. — Вам надо беречь здоровье вон для этого молодца! — кивнул он головой на кровать. Вы ведь у него одна. Доктор сказал, что грипп, значит грипп и есть. Так-то, Марья Евграфовна…

И, помолчав с минутку, продолжал:

— А знаете ли, Марья Евграфовна, у кого я сейчас был? Ходил просить места!

— У кого?

— У Павлищева.

— Ну и что же, успешно ходили? — спросила молодая женщина.

Бугаев горько усмехнулся.

— Отказал, Марья Евграфовна. И даже узнать не пожелал. И когда я ему сказал, что десять лет тому назад мы были сослуживцами, он проговорил «помню» и так, знаете ли, проговорил, что словно водой холодной облил… Еще бы… Он нынче важный стал… Персона в некотором роде, но, уж только извините, Марья Евграфовна, а я прямо скажу, какая он там ни будь персона, а прямо бесстыжий человек… Уж как я его просил… объяснял свое положение… Вы ведь знаете, каково оно?.. Ни капли жалости. И если бы вы знали, какую он важность на себя напускает!? В вид-мундире, знаете ли… Тут звезда… Владимир на шее, одет с иголочки… франт… раздушен… Сзади стоит чиновник… а ведь прежде… помните ли, когда он в Черногорске-то был?

— Но, может быть, в самом деле, у него места нет? — проговорила Марья Евграфовна и почему-то вдруг покраснела.

— У него-то нет!? Я узнавал, места есть… Да, захоти он, так, по его рекомендации, где угодно

место бы нашлось в другом месте, потому что Павлищев сила, правая рука министра… Вот кто он такой… А вы: «нет места»! Эх, как посмотрю, Марья Евграфовна, вы, кажется, и до сих пор думаете, что это человек… С вами-то как он поступил, а?.. Надо, ведь, быть великим, я вам доложу, негодяем, чтобы так поступить… А вы еще готовы за него заступаться!..

— Я не заступаюсь. Там, что было со мной, — это другое дело… Об этом нечего говорить… Так он стал важный? И верно постарел? — с любопытством спросила Марья Евграфовна.

— Какое!? прошипел Бугаев… — Совсем молодой… Жених, да и только!

— Разве он не женат?

— То-то нет… Верно подцепит какую-нибудь богатую невесту. Еще бы… Такая карьера. Выбирай кого хочешь с миллионом в придачу! А это вы напрасно, что не стоит говорить… Именно, стоит, Марья Евграфовна… И я считаю долгом честного человека сказать вам, — сердитесь там или нет, — что вам следует подумать хоть о своем сыне, если вы о себе не хотите подумать… Бились вы, всего переиспытали, знаете, как это сладко, так неужели вы хотите, чтобы и сын ваш мог рисковать тем же… Ходить, знаете ли, и клянчить

места… да еще, вдобавок, с позволения сказать, незаконный сын…

— Тише… тише, ради Бога! — взволнованно промолвила Марья Евграфовна. — Вы разбудите Васю!

И она пошла своей легкой, уверенной походкой взглянуть на мальчика. Тот крепко и спокойно спал.

— Я не понимаю, Евлампий Иванович, что вы хотите сказать?.. Уж не в первый раз я слышу ваши намеки, — проговорила Марья Евграфовна, возвращаясь к Бугаеву.

— Очень просто, что я хочу сказать, Марья Евграфовна. Вы можете обеспечить сына и должны это сделать. Отец его не смеет отказать в этом.

— Никогда я не обращусь к нему. И без него мы проживем! — промолвила Марья Евграфовна. — Пожалуйста, и не говорите об этом.

— А я буду говорить… Поймите, Марья Евграфовна, что вы из какой-то фанаберии так рассуждаете. Нынче, голубушка моя, фанаберия-то везде по боку, а ты, коли не желторотый галчонок, так пользуйся случаем! Все в наше время так живут, сударыня! Вы думаете, что ваш Вася поблагодарит вас потом, что вы его, по своей, можно сказать, простоте, пустите в жизнь

голяком, да еще незаконнорожденным. Держите карман! К тому времени люди еще, надо думать, злее станут и жизнь будет трудней… Так будьте уверены, что он не восхитится вашей незаботливостью… Скажет: нечего сказать, хороша мать!

Марью Евграфовну взволновало напоминание о том, что Вася незаконный сын. Это было ее больное место и часто удручало. Картина будущего Васи, нарисованная Бугаевым, произвела на нее впечатление. И она, несколько смущенная, сказала:

— Неужели вы думаете, что человек, бросивший раньше детей, теперь захочет что-нибудь сделать для сына?

— Конечно, не захочет добровольно, а если его пугнуть…

— То-есть, как пугнуть?..

— А так… Уж вы предоставьте мне… Я это обделаю. Я, знаете ли, деликатно уведомлю его, что если он не обеспечит сына, то вы подадите прошение на Высочайшее имя… Этого он испугается…

— Ах, какие вы нехорошие вещи говорите, Евлампий Иваныч!.. — промолвила, вся вспыхивая, молодая женщина и строго взглянула на Бугаева.

«О дура, дура!» мысленно обругал ее Бугаев и

проговорил:

— Да что ж тут нехорошего, Марья Евграфовна?.. Рассудите… Разве с таким человеком можно церемониться?.. Ну… ну… не сердитесь!.. Я вам даю совет, желая вам добра… Не хотите — так как хотите… Но уж исполните мою личную просьбу… Не откажите!..

— Какую?..

— Напишите Павлищеву… Попросите за меня.

— Евлампий Иваныч! Пощадите! Я не хочу ничем напоминать о себе Павлищеву. Пусть он не думает, что я… Господи! Да неужели вы этого не понимаете!? И почему у вас явилась такая странная мысль… Что ему моя просьба?

— Он ее исполнит. Я уверен.

— Но почему?..

— А потому, что я… Уж вы не сердитесь, дорогая… Сегодня, когда я просил у Павлищева места, я сказал, что вы знаете о моем ужасном положении…

— Зачем вы упомянули мое имя, зачем? — с укором прошептала Марья Евграфовна. — И тотчас же с живостью спросила:- Что же он?..

— Смутился. Всю рожу передернуло. Видно, испугался, каналья!

— Испугался? — грустно протянула Марья Ев-

графовна. — Чего ему меня бояться?..

— Значит, есть чего… И хотя сказал, что ему все равно, кто просит (вот, дескать, какой справедливый!) однако, я полагаю, что если б вы, Марья Евграфовна…

— Нет… нет… ради Бога, Евлампий Иваныч, — воскликнула молодая женщина умоляющим голосом.

— Мама! с кем это ты говоришь? — раздался в эту минуту слабый голосок ребенка.

И Марья Евграфовна, забыв всех на свете, бросилась к постели.

Бугаев посидел еще минуту-другую и вышел из номера, все еще не побежденный окончательно.

V

Хотя Васе видимо стало лучше, тем не менее Марья Евграфовна целый день была в тревожном настроении. Речи Бугаева взволновали мать и заставили сильно призадуматься.

В самом деле, права ли она, упорствуя в своем нежелании напоминать о себе Павлищеву? Не обязана ли она побороть свою гордость оскорбленной женщины, забыть о самолюбии и обратиться к Павлищеву с просьбой что-нибудь сделать для сына? Он теперь в таком положении, что ему не трудно обеспечить хоть немного Васю. Мало ли что может быть впереди? Теперь она, слава Богу, зарабатывает до тысячи двухсот рублей, но ведь практика может и уменьшиться. Положим, у нее есть пять тысяч для Васи, но эти деньги, в случае ее болезни, могут быть истрачены. И, наконец, если она умрет, не подняв Васю на ноги? Что будет тогда с несчастным, одиноким в мире мальчиком? За что же подвергать его всяким случайностям, если представляется возможность предотвратить их? И разве не обязанность отца позаботиться о своем ребенке, и не святой ли долг матери напомнить о такой обязанности… Ведь

она не для себя будет просить, а для сына!?

И материнское чувство пересиливало чувство обиды, гордости и брезгливости и нашептывало ее возмущенному сердцу всевозможные софизмы, рисовало всякие беды в будущем, убеждая, что она должна сделать хотя бы попытку… написать Павлищеву… Письмо будет самое деликатное, без каких бы то ни было упреков… Она просто напомнит ему о сыне и пошлет его фотографическую карточку.

А если он не захочет признать своего ребенка? Человек, молчавший десять лет, в состоянии отречься от сына. Где доказательства? разве эти два-три письма от него, омоченные слезами, которые она так бережно хранит вместе с двумя его фотографиями? Но он знает ее и, конечно, уверен, что она не поднимет истории, не будет ни жаловаться, ни угрожать…

Нет! Он не отречется! Это было бы совсем жестоко… Он мог и не знать, живы ли его дети! Наконец, он мог думать, что она вышла замуж… Тогда он был молод, у него не было средств… Мало ли, что могло быть…

И добрая Марья Евграфовна пыталась теперь найти какое-нибудь оправдание Павлищеву, чтобы не терять надежды, что Павлищев не

поступит жестоко, а, напротив, быть может, и захочет взглянуть на этого чудного мальчика… А как увидит его, то и полюбит… И тогда она была бы вполне вознаграждена в все свои прошлые страдания.

Так мечтала Марья Евграфовна, полная веры в людей, и решила, прежде чем предпринять этот шаг, посоветоваться с братом Марком и сказать ему, кто такой отец Васи. До сих пор брат этого не знает, никогда об этом не спрашивал и, вообще, избегал всяких интимностей. Давно уж они не видались друг с другом и только изредка обменивались письмами. Письма этого Марка были кратки, сухи и не особенно теплы. Он сам проходил суровую школу нужды и лишений, и в гимназии, а потом и в университете добывал средства уроками — вот все, что знала о нем сестра. Только на последнем курсе Марк однажды послал ей двадцать пять рублей и обещал посылать по десяти рублей в месяц, но Марья Евграфовна, тронутая этим вниманием, горячо благодарила брата и отказалась, объяснив, что у нее заработок хороший, и она не нуждается. Напротив, если брату нужно, то она свободно может с ним делиться. Но Марк, действительно еле перебивавшийся и сокративший свои потреб-

ности до последней возможности, чтобы только помочь сестре, — лаконически ответил, что ему «не надо», и продолжал раз в два месяца писать ей коротенькие, сухие письма и по-прежнему о себе ничего не писал.

И когда Марья Евграфовна приехала в Петербург и увидала брата, то была несколько даже сконфужена его превосходством. Такой он казался ей умный, образованный и и красивый, и так он говорил спокойно, уверенно, хотя и не выказывал особенной словоохотливости, и такая в нем чувствовалась сила. Однако, Марья Евграфовна стеснялась Марка и не решалась с ним говорить с тою откровенностью, на которую порывалась ее душа. Кому же открыться, кому же рассказать о своей неудачной жизни и пережитых горестях, как не единственному на свете близкому человеку, брату? И ей так хотелось этого. Она так надеялась сблизиться с Марком и найти в нем сочувственную, родную душу. Но с первого же свидания с этим спокойным, замкнутым в себе человеком, — который не обнаруживал ни малейшего желания узнать интимную сторону жизни сестры, и сам, в свою очередь, совсем не имел намерения рассказывать о своей прошлой жизни и о себе самом, — она почувствовала

какую-то робость перед младшим братом и в то же время прониклась к нему почтительным уважением.

Он заходил к ней почти каждый день на полчаса, раз сводил ее в театр, но говорил, по обыкновению, мало и больше о самых обыденных вещах, точно не снисходя до какого-нибудь более серьезного разговора. С Васей он не особенно дружил (он, кажется, вообще, детей не любил) и никогда не ласкал. И Вася не благоволил к дяде, тем более, что дядя как-то раз заметил, что мать его очень балует, и насмешливо прибавил:

— Видно, думаешь, что он герцогом будет?

После чего прочел коротенькую и вполне основательную лекцию о том, как портят матери детей, и какие от этого вырастают нюни.

Марья Евграфовна стала возражать, но Марк видимо слушал с снисходительным презрением ее доводы, что нельзя не побаловать ребенка, и вместо ответа только усмехнулся, обидев и сконфузив Марью Евграфовну.

— А ты не сердись, Маша, — проговорил, уходя, Марк, — и извини меня дурака, что вмешался не в свое дело и вздумал убеждать женщину да еще мать! Совершенно бесполезная трата слов и времени!

Не высказывая сестре ни своих взглядов, ни мнений, ни планов и надежд, что казалось столь странным в молодом человеке двадцати пяти лет, Марк оставался для Марьи Евграфовны несколько загадочным, хотя бесспорно выдающимся человеком. Ее удивляло, что он такой сдержанный, спокойный и, казалось, решительно ничем не увлекающийся. Все, что за все эти дни Марк сообщил о себе, относилось к его внешнему положению. Он служил и получал восемьсот рублей. Доволен ли он своим положением и заработком, Марк не проронил ни слова, точно говорил не о себе, а о ком-то постороннем. И еще была в нем одна черта, поразившая Марью Евграфовну: брат никого не бранил, никого не осуждал, а если и бранил, то равнодушно, скорее определяя явление, но не возмущаясь им, и ни на что не жаловался. Даже погоду петербургскую ни разу не обругал.

* * *

По обыкновению, Марк заходил к сестре по вечерам, часов около семи. И в этот вечер, в те же часы раздались его хорошо знакомые три удара, твердые и медленные в дверь, и, вслед за разрешением, в комнату вошел Марк Борщов.

Он был поразительно похож на Марью Евграфовну. Такой же пригожий и цветущий, ухитрившийся сохранить в Петербурге здоровый, пышный румянец на щеках, среднего роста с темно-русыми кудрявыми волосами, маленькой бородкой и шелковистыми усами. Тот же высокий лоб, тот же русский, слегка мясистый нос, те же карие глаза и большие широкие руки с короткими пальцами. Но выражение и лица и глаз у Марка было совсем другое — далеко не простодушное и кроткое, а строгое и уверенное, определенное и как будто несколько вызывающее. Что-то энергичное, сильное и упрямое чувствовалось и в красивом серьезном лице Марка, и в его сухощавой крепкой фигуре, и в твердой походке, и в манерах, слишком уверенных для молодого человека.

Одет он был с скромной простотой хорошего вкуса. В его костюме не было ничего крикливого, яркого. Темная жакетка, темный галстук, свежее белье. И сам он был свежий, чистый и опрятный — видно, что смотрел за собой.

Марк пожал руку сестры и присел на кресло, предварительно раздвинув полы жакетки, чтобы не смять ее.

— Ну, герцог наш, кажется, поправляется? —

спросил он.

— Ему сегодня гораздо лучше. Жар спал.

— И тебе, следовательно, нет причины волноваться?

— Я и не волнуюсь. Хочешь чаю?

— Нет… Некогда.

— Спешишь?

— Да, дело есть…

— А я, Марк, хотела с тобой поговорить об одном деле, — заговорила, после минутного молчания, Марья Евграфовна, робея и конфузясь… — Ты можешь уделить мне несколько минут?

— Сделай одолжение, Маша. Я могу десять минут, а то и все четверть часа уделить тебе.

— Видишь ли, я хочу спросить твоего совета…

— Чтобы, конечно, не исполнить его? — насмешливо ответил Марк, открывая ряд маленьких белых зубов. — Что ж, спрашивай…

— Ах, Марк… Ты все точно смеешься, — с сердцем проговорила Марья Евграфовна.

— И не думаю, Маша. Говорю совершенно серьезно… Из десяти человек, спрашивающих совета, девять, наверное, поступают по-своему… Так в чем же дело?

Марья Евграфовна взглянула на Васю и, понижая голос, начала рассказ о своем прошлом, о том,

как бросили ее с детьми, что она вынесла. Она говорила горячо, словно бы переживая прошлое.

Марк слушал очень внимательно, но никакого сочувствия не выражал. Лицо его, по обыкновению, было холодно и серьезно.

Увлеченная своим рассказом, Марья Евграфовна сперва не заметила безучастия брата. Но когда она, окончив исповедь, взглянула ему в лицо, ожидая слова сочувствия или взрыва негодования против человека, причинившего ей столько горя, то совсем смутилась и оробела…

Он молчал. И какой странный не то порицающий, не то насмешливый взгляд!

И, обнасенная до глубины души, она воскликнула:

— Марк! Что ж ты молчишь? Или ты оправдываешь этого человека и во всем винишь меня?

— И его не оправдываю, и тебя, Маша, не виню. Да и, вообще, что толку в обвинениях и в оправданиях! Твоя история одна из обыкновеннейших историй, и я только удивляюсь, что ты до сих пор продолжаешь возмущаться. Ты поступила легкомысленно, не заставив его жениться, а он воспользовался твоим легкомыслием. Называй его поступок, как хочешь, но от этого тебе не легче. Не так ли? — говорил Марк спокойным,

убежденным тоном.

— Но правда-то есть одна на свете?

— Правда?.. Об этом когда-нибудь поговорим в другой раз, Маша. Это вопрос очень деликатный… У всякого человека и в разные моменты бывает своя правда… а теперь рассказывай, к чему ты начала весь этот разговор.

— Я хочу просить этого человека обеспечить ребенка.

Марк взглянул на сестру, и снова в его глазах мелькнула улыбка.

— Гм-м! Отчего же не просить. Но какие ты имеешь шансы на успех?

— Во-первых, я верю, что он не совсем подлец.

— Ну, Маша, это шанс очень неверный… А во-вторых?

— А во-вторых, этому человеку ничего не стоит что-нибудь сделать для сына. Он не женат и получает большое содержание… Он теперь стал важный человек этот Павлищев.

— Павлищев? — воскликнул Марк.

— Что тебя так удивило. Ты его разве знаешь?

— Как не знать хоть по фамилии такого человека, как Павлищев. Но я его и встречал раза два у Трифонова… Есть такой богатый барин, железнодорожник, у которого я давал уроки сыну…

Удивляюсь, как такой умный и ловкий человек, как Павлищев, мог совершить такую неосторожность… Способный человек. Будущая звезда у нас! Только слишком большой юбочник… Об амурах много думает! — презрительно прибавил Марк.

— А ты, Марк, разве уж вовсе об амурах не думаешь? — спросила удивленная Марья Евграфовна.

— Я? — переспросил Марк. — Если б я занимал такое положение, как Павлищев, я не думал бы об амурах… У меня не было бы ошибок молодости…

— Будто ты застрахован?

— А на что сила воли у человека, Маша… как ты думаешь? — спросил Марк.

И в его лице, и в тоне его голоса чувствовалось, что этот рассудительный молодой человек говорит не праздные слова.

— Этот Павлищев, — продолжал Марк, — кажется, хочет жениться на дочери Трифонова… Брат ее мне говорил, что его превосходительство часто туда ездит. Но едва ли его превосходительству удастся. Барышня уж в годах и не из фефел… К чему ей сорокапятилетний генерал!.. Молодой интересней! — как-то загадочно протянул Марк…

Марья Евграфовна слушала брата с недоумением. Как он равнодушно отнесся к ее исповеди!

Какие у него странные взгляды на правду и как он странно говорит о Павлищеве!..

И брат ее становился еще непонятнее для простодушной Марьи Евграфовны. И инстинкт ей подсказывал что-то страшно жестокое, холодное и безотрадное в его словах.

Наконец, она спросила:

— Что ж, советуешь ты написать Павлищеву!

— Поручи мне сходить и переговорить с ним, Маша. Поверь, что я не унижу твоего самолюбия… И его ничем не оскорблю. Я буду лучший посредник. А кстати и познакомлюсь, с ним. Это для меня очень важно… Согласна? А я почти уверен, что Павлищев что-нибудь сделает для нашего герцога…

— Почему ты думаешь? Ты веришь, что он еще не совсем скверный человек? Не правда ли?

— Нет, Маша, я просто думаю, что он трус! Бугаев не даром предлагал тебе шантаж. Эта каналья понимает людей, хотя и не умеет ими пользоваться, да и сам слишком глуп со своими «патриотическими убеждениями»… Он уж мне успел рассказать у подъезда о своей неудаче у Павлищева! Ну, до свидания. Завтра же я буду у Павлищева.

И Марк, пожав руку сестры, ушел, оставив

бедную Марью Евграфовну в каком-то странном настроении подавленности и духовного одиночества.

«Что за странный человек этот Марк!» — подумала она невольно после его ухода.

VI

Марк рано остался круглым сиротой. Отец его из штундистов, сперва прасол и потом хлебный комиссионер, человек умный, решительный и энергичный, почитывавший книжки и мечтавший дать сыну образование, разорился на какой-то спекуляции перед внезапной смертью и оставил детей — девочку и мальчика — совсем нищими. Небольшой домишка и кое-какое имущество было продано за долги. Мать, дочь мелкого чиновника в захолустном городке на юге, умерла за год до мужа. Положение сирот было критическое. По счастью, нашлись сердобольные родственники, взявшие детей на попечение. Девочка попала к тетке, а мальчик — к дяде, брату матери, чиновнику полицейского управления в губернском городе, человеку очень способному, но горьчайшему пьянице и взяточнику.

Десятилетний Марк был помещен в гимназию, благодаря настояниям дяди и после большой стычки, которую он выдержал со своей женой, дамой весьма решительного характера и далеко не мягкой. Понятливый и умный мальчик учился превосходно и скоро сделался первым учени-

ком. Серьезный и рассудительный не по летам, он как-то держался особняком от товарищей и ни с одним из них не водил дружбы. Ни с кем, впрочем, и не ссорился. Его не особенно любили в гимназии, но уважали и даже несколько побаивались. Он был здоровый, сильный мальчуган и обиды никому не спускал.

Жизнь у дяди была для мальчика самая тяжелая и обидная, и он постоянно чувствовал свое сиротство и горечь чужих хлебов. Тетка положительно возненавидела Марка и отравляла его существование. Еще бы! И без того своя семья была не маленькая — трое детей — и кое-как перебивалась на маленькое жалованье да на грошевые взятки, которые брал, по мере возможности, муж, а тут еще прибавился новый рот! Было от чего возмутиться женщине, у которой и о своих-то детях забот было много, а теперь пришлось еще заботиться о чужом, благодаря глупости мужа, пожелавшего взять племянника.

И Марка держали, что называется, в черном теле. Ему отвели помещение в каком-то темном чуланчике, где он спал на жестком тюфяке, без белья, под тонким дырявым одеялом; ему за обедом давали куски похуже, тетка то и дело посылала его с поручениями, бранила его, упрекала и, слу-

чалось, взбешенная, колотила. Мальчик терпел, казалось, безропотно и только становился еще угрюмее и сосредоточеннее в себе, по-временам как-то смотрел на тетку и перед сном, лежа в своей каморке, нередко подолгу думал о своем положении и потихоньку плакал. Плакал и мечтал о том, как бы уйти от тетки и не жить на чужой счет. Эта дума гвоздем засела в его голову, а в сердце зрела ненависть.

Из гимназии Марк возвращался почти всегда в нервном настроении, ожидая какой-нибудь неприятности. В этом маленьком домике, окруженном садиком, на краю города, у спуска к реке, — в котором семья дяди занимала три комнаты, почти постоянно стоял кромешный ад. Ругань и крики не прекращались, особенно по будним дням, когда воевала тетка, не встречая никакого противодействия.

То она бранилась с кухаркой, то кричала на детей, то делала за обедом мужу сцены ревности и, не стесняясь присутствием маленьких детей, допрашивала, где этот «подлец» вчера пропадал всю ночь, с какой «шлюхой», то упрекала его за то, что он «рохля», не умеет пользоваться доходами, как умеют другие (шли указания на других), и не заботится о ней и о детях, причем в конце-концов

называла мужа мерзавцем и пьяницей и грозила, что она «бросит все» и уйдет… «Не-бойсь, есть люди, которые обо мне позаботятся!» — загадочно намекала она.

«Мерзавец», довольно невзрачный и совсем маленький и худенький человечек лет сорока, с болезненным лицом, с юркими, плутоватыми и в то же время добродушными глазами, казался совсем мизерным в сравнении со своей высокой, очень крупных форм, дебелой и видной супругой. По видимому, он несколько трусил ее, по крайней-мере, в будни и, вероятно, боясь раздражить ее, благоразумно отмалчивался на обвинения в неверностях и в знакомстве со «шлюхами», ожидая, пока жена, как выражался он, «не выкипит». Но упреки в том, что он не умеет пользоваться случаем, задевали его довольно чувствительно, и он объяснял, что он, слава Богу, не дурак и своего не упустит. Он не виноват, что по нынешним временам полицию меньше «уважают» и дают двугривенные, а не рубли, как, бывало, прежде. Однако никто не скажет, чтобы он когда-нибудь зевал, и, чуть возможно, и красненькую возьмет… Вот еще на прошлой неделе один пижон попался… свидетельство было нужно…

И шел довольно подробный, так сказать, оправ-

дательный рассказ о том, как ловко он нагрел «пижона»…

— Слава Богу, еще кое-как жить можно, — прибавлял невзрачный человек. — А вот, ежели меня сделают становым, как обещали — ну, тогда и не так заживем…

— Сделают тебя, пьяницу, жди! — обыкновенно отвечала жена и кидала на мужа уничтожающий взгляд.

В воскресенье и по праздникам положение дел в маленьком домике круто изменялось, и тетка, властвовавшая целую неделю, в такие дни трусила и притихала к большой радости Марка, ожидавшего таких дней не без злорадства. Наблюдательный, он зорко следил за всем происходившим в семье дяди и внимательно вслушивался во все эти разговоры, знакомившие его на заре жизни с грязью, подлостью и нуждой.

Обыкновенно дядя «закатывался» куда-нибудь под праздник и в воскресенье являлся домой совсем не прежним покорным супругом, а грозным, полным величия, судьей и мстителем за свои обиды и от жены, и, вообще, от людей. Худенький и маленький, он, казалось Марку, даже вырастал, когда, войдя в квартиру, подходил к жене и, глядя на, нее насмешливыми пьяными

глазами, говорил:

— Ну, вот я пьян, а тебя, подлой, не боюсь. Слышишь, мерзавка, не боюсь!?

Обыкновенно тетка старалась спрятаться от мужа в такие дни, но это не вело ни к чему и только раздражало пьяного дядю. Он ее разыскивал и начинал казнить словами с какой-то утонченной жестокостью человека, обрадованного, что может покуражиться над тем, кого еще вчера трусил.

Усадив жену против себя, этот маленький, худенький человек начинал «припоминать» все, разражаясь пьяными монологами, и в них, должно быть, было не мало горькой правды, потому что тетка нередко бледнела и с тупым страхом виноватого животного глядела на мужа, приходившего в бешенство по мере того, как он говорил, возбуждаясь своими же словами. И, бывало, Марк слушал, как дядя восклицал:

— Так я но-твоему мерзавец и пьяница, а ты у нас цаца? Распрекрасная благородная женщина… Скажите пожалуйста… И ты можешь мною помыкать по своему благородству… Еще бы! Я и подлец, и пьяница, я вот и двугривенные беру… А из-за кого я стал таким, как вы думаете, сударыня?.. Из-за какой-такой персоны, а? Не будь этой персоны, может быть, и я был бы другим

человеком. И был бы'! Кто тогда облестил меня, извольте припоминать? Кто обманул?.. Полицмейстерская любовница обманула! Надо было грех прикрыть, найти мужа, и нашли превосходного… Он простил, а ты опять распутничала… Он, мол, дурак… И еще теперь грозишься к кому-то уйти… И уходи! Слышишь, уходи!.. И своих детей бери… Думаешь я не знаю, чьи они все!? А я должен на чужих работать… Понимаешь ли, какая ты подлая тварь?.. Понимаешь?.. Можешь ты понять, почему я лишился того места и вот теперь двугривенные в полицейском управлении собираю. Все ты… ты, подлая!.. Ты уговаривала пользоваться случаем… Тебе нужны были шляпки, шлейфы, да по клубам… И я тоже хорош… гусь, нечего сказать… Ведь слушал тебя… Как же, раб покорный… Красавица, мое почтенье!.. Шлюха, с позволения сказать, но и мне, аки законному мужу, внимание оказывала… такому, с позволения сказать, низменному человеку… Ха-ха-ха!.. Очень вам благодарен… В ноги, каналья… Змея подколодная! Не то убью! — вдруг вскрикивал, весь бледнея, муж.

И Марк видел, как тетка кланялась в ноги дяде. И тот тогда торжествующе улыбался и, несколько успокоившись, декламировал:

— «Я царь, я раб, я червь, я Бог!»… И не смей ты мне Марка обижать… За что ты мальчика изводишь, злющая женщина?..

Дядя после этого обыкновенно ложился на кровать и философствовал сам с собой. А то подзовет Марка и скажет:

— Она, брат, больше не будет тебя грызть. Слышишь, Марк…

И, не дожидаясь ответа, продолжал:

— А знаешь, Марк, без подлости не прожить на свете… ни за что. И в ком более этой самой подлости и злости, тому и лучше… Вон тетка твоя и подлая, и злая, а что ей?.. Только толстеет… Ха-ха-ха… А ты ей не позволяй над собой командовать. Ни-ни!

Дядя засыпал, а Марк уходил из дому и долго бродил по берегу реки и припоминал слова дяди, стараясь вникнуть в их смысл и решительно не понимая, почему дядя, после этих пьяных вспышек, снова становился покорным и безответным перед теткой.

В такой обстановке, среди вечных ссор и криков, слушая одни и те же разговоры о том, где дядя «урвал» и т. п., преследуемый с каким-то упорством теткой, Марк прожил три года. Уж он со второго же года был освобожден от платы за

обучение, и директор, знавший, в какой атмосфере живет этот даровитый и способный мальчик, давно уже имел в виду как-нибудь устроить его иначе.

И вот в один день, вернувшись из гимназии и садясь обедать, Марк объявил дяде, что он от него уезжает.

— Как уезжаешь? Куда? — спросил дядя и бросил взгляд на жену, которая, видимо, обрадовалась такой новости.

— Буду сам по себе жить! — серьезно и не без гордости ответил Марк.

— Да как же ты в тринадцать лет сам по себе жить будешь? Тоже выдумал! Так я тебя и пустил.

— Мне наш директор урок нашел…

— Урок? Такому мальчику? — удивился дядя.

— И хороший, — продолжал Марк, — стол и квартира и десять рублей в месяц.

— И ты не врешь? У кого же это?

— У адвоката Нелюбимова… Знаете?

— Как не знать… Первый у нас в городе адвокат… Так детей его, что ли, учить?

— Да, буду заниматься с ними!

— Ну, Марк, поздравляю, брат… Дай тебе Бог. Там тебе будет лучше, чем у нас! — прибавил дядя

и слова взглянул на жену.

— Чем же ему у нас худо было? Кажется, делали, что могли! — заметила тетка. — Чего еще? Мы сами не богаты! — прибавила она.

Дядя замолчал.

— А надо бы Марку хоть новый костюмчик сделать, — робко заговорил он, обращаясь к жене. — И, знаешь ли, хоть белья немного…

— Дай денег, так сделаю! — резко сказала тетка.

— Я дам… Завтра же достану…

— Благодарю, дядя. Мне ничего не надо. Директор уже сделал мне все.

Дня через три Марк переехал в роскошную квартиру адвоката Нелюбимова.

* * *

После отвратительной жизни у дяди, жизнь в семье адвоката Нелюбимова показалась Марку настоящим раем. И Нелюбимов, веселый и жизнерадостный, свежий и круглый мужчина лет сорока с изрядным брюшком, и жена его, довольно красивая женщина не первой молодости, были люди очень добродушные, мягкие и обходительные и относились к Марку всегда ласково и приветливо.

Обязанности Марка были не трудные. Он должен был заниматься по два часа в день с двумя девятилетними мальчиками-близнецами — вот и все. Остальное время они находились под присмотром гувернера, молодого и необыкновенно скромного швейцарца, с румяными щеками и ослепительно сверкающими зубами, не говорившего ни одного слова по-русски. Оба мальчика охотно занимались с Марком, который умел приохотить их к своим урокам и в то же время, несмотря на свой возраст, пользовался у своих учеников большим авторитетом.

У Марка была своя отдельная маленькая комната; после жизни впроголодь у дяди, он теперь отъедался. Нелюбимов любил покушать, и стол у него был вкусный и обильный. Нечего и говорить, как Марк был доволен и как дорожил уроком у Нелюбимовых, у которых он вскоре сделался как бы членом семьи. Марк прожил у них до окончания гимназического курса, оставшись репетитором, когда его ученики поступили в гимназию.

Несмотря на благоприятную в материальном отношении обстановку Марка, жизнь у Нелюбимовых имела очень скверное влияние на мальчика. И здесь, как и прежде у дяди, он очень скоро увидал ту же ложь и гадость, но только не

в обнаженном виде, а прикрытую, услыхал те же разговоры и те же мнения, но, разумеется, не в столь грубой форме, а, напротив, в мягкой и даже утонченной. Нелюбимов, очень неглупый, но совершенно беспринципный человек, живший широко и далеко не щекотливый в делах, которые он брал, с добродушным смехом говорил, что он «адвокат для всех», и потому берет всякие дела, не разбирая, чисты ли они или нечисты. Он обязан подать юридическую помощь всякому, обращающемуся за ней. Это его долг, как адвоката, и, кроме того, такая терпимость дает ему хороший заработок. Если же разбирать, что чисто или нечисто, то останешься без дел.

И, он. действительно, «не разбирал», имел громадную практику, считался лучшим адвокатом, жил роскошно и был почти всегда весел, доволен и жизнерадостен.

Прислушиваясь к таким речам Нелюбимова, наблюдательный и умный Марк сперва возмущался и не понимал:, как это можно сегодня защищать то, против чего Нелюбимов восставал еще вчера. Его удивляла та легкость и беззаботность, с которыми говорил Нелюбимов о справедливости и о правде юридической и о справедливости, так сказать, нравственной… Отроку в пятнадцать

лет это было не совсем понятно. Но он видел, что Нелюбимов преуспевает, пользуется почетом и уважением и что, напротив, другой адвокат — знакомый Нелюбимова, более разборчивый, и беден, и ни во что не ценится, и Марк, не без логичной последовательности, выводил отсюда свои заключения, и сам мечтал быть когда-нибудь и значительным, и богатым. Это ведь так не трудно казалось ему. Стоит только захотеть…

Почти все многочисленные знакомые, бывавшие у Нелюбимовых, одобрительно слушали, когда хозяин после хорошего обеда за ликером рассказывал о каком-нибудь «фортеле», о какой-нибудь «ловкой штуке». Никто не возмущался, никто не протестовал, хотя нередко и «фортель», и «ловкая штука» имели самый мошеннический характер. Все находили, что это «умно» и «ловко».

И присутствовавший при таких разговорах Марк, жадно их слушавший, воспринимал, так сказать, эти лекции практической философии, которые как-будто отвечали его честолюбивым мечтам выдвинуться и отличиться в жизни.

Сдержанный и скромный, он, разумеется, всегда молчал и никому не открывал своих помыслов и мечтаний. А если б заглянуть в душу

этого отрока, то можно было бы ужаснуться. В пятнадцать лет в его юной душе уже зрело сомнение в необходимости того добра и той правды, о которых он слушал от некоторых учителей и о которых читал в книгах. И ум, и наблюдения., подсказывали, что только без них можно добиться серьезного успеха. Надо только понимать людей и уметь ими пользоваться…

Не мало поразила Марка и та ложь, какая существовала в этой, по видимому, хорошей и дружной семье. Нелюбимов и жена, казалось, жили душа в душу и пользовались самою безукоризненною репутацией. Необыкновенно привлекательная, спокойная и ровная, с скромногорделивым видом женщины, сознающей свои добродетели и права на уважение, любившая иногда говорить о долге жены и матери и бывшая, казалось, образцовой женой и матерью, — она возбуждала в Марке невольное благоговейное почтение, как единственное существо чистое и светлое, на котором нет пятен, и которое как будто опровергало его пессимистический взгляд на людей, вынесенный им из первых уроков жизни.

Но каково же было его разочарование и в то же время какое-то ужасное для пятнадцатилетнего отрока злорадное чувство, когда после двухлет-

него пребывания у Нелюбимовых, он однажды летом случайно увидал, что швейцарец-гувернер целует руку Нелюбимовой. Это было в саду, в деревне, где обыкновенно Нелюбимовы проводили лето. Пораженный и заинтересованный этим, Марк притаился за деревьями и подслушал такой разговор и такие поцелуи, которые не давали повода сомневаться в отношениях швейцарца и этой женщины.

И Марк, вернувшись в дом, несколько взволнованный от этого открытия, через час видел Нелюбимову за чаем, как ни в чем не бывало, такою же спокойною и величавою, так же любезно и, казалось, совершенно равнодушно бросившую несколько фраз гувернеру таким тоном, будто он ей совсем и не близкий человек.

Марк начал осторожно выслеживать любовников и скоро выследил, как раз ночью, когда Нелюбимов по делам был в городе, швейцарец пробирался к его жене.

И Марк словно торжествовал. И она такая же, как и тетка. И эта «святая женщина», какою считал он ее, обманывает мужа и лицемерит…

«Все, значит, такие!» — поспешно делал он обобщения, и втайне стал презирать Нелюбимову, сохраняя по-прежнему к ней самое почтительное

отношение и ни одним словом не обнаруживая, что знает эту тайну. И со швейцарцем Марк был в хороших отношениях, тем более, что занимался с ним французским языком и для практики часто разговаривал. Удивлялся он только тому, что этот скромный и тихенький швейцарец не извлекает, по видимому, никаких существенных выгод из этих отношений, и находил его достаточно глупым.

Почти одновременно Марк узнал, что и Нелюбимов, тоже разыгрывавший дома примерного мужа, имеет любовницу, какую-то заезжую певичку, и тратит на нее большие деньги. Это он находил уж совсем глупым…

Когда Марк окончил гимназию и, перед отъездом в Петербург, прощался с Нелюбимовым, тот, было, предложил ему денег, но Марк наотрез отказался. У него скоплены деньги. Он не нуждается.

— А как же вы, милый человек, будете в Петербурге жить… Много ли у вас-то денег?

— Двести рублей есть.

— Ну, положим, хватит на несколько месяцев, а после?

— Заработаю. Не пропаду, не беспокойтесь! — самоуверенно отвечал молодой человек.

— Во всяком случае, если будете нуждаться, помните…

— Благодарю вас, — перебил Марк, — но надеюсь прожить и без чужой помощи.

— Эка гордыня в вас, Марк! А ведь вы не пропадете — это верно. Характер в вас есть.

И Нелюбимова очень дружелюбно рассталась с Марком и просила подавать о себе вести.

Петербург дал окончательную шлифовку почти уже готовому молодому человеку. За четыре года студенческой жизни Марк вынес не мало лишений и нужды. Жил, он, случалось, впроголодь, но не падал духом, не сделал ни копейки долга и ни разу не обращался к Нелюбимову. Он закаливал себя, надеясь вознаградить себя впоследствии сторицей. Занимался он превосходно, вел самую аскетическую жизнь и не сходился близко ни с одним из товарищей. Но за то много думал, много наблюдал, много читал и приходил мало по-помалук самым безотрадным выводам. То, что пишут в хороших книгах, может быть, и недурно, но в жизни не годится и неприложимо. Он не чувствовал склонности быть хотя бы «героем», но страдающим. Что за радость, если таких героев и прославляют после смерти, когда при жизни их только гонят и ненавидят. Благодарю покор-

но! Его, напротив, привлекали торжествующие «герои», которыми так богата история и которые добивались успеха только силой и неразборчивостью средств. Вот таким героем стоит быть. Из-за этого стоит жить и стоит учиться.

Так нередко мечтал студент Марк в своей крошечной комнатке на Васильевском острове, и, не смотря на голодание, чувствовал себя бодрым и довольным, ощущая в себе ту силу, которая доставит ему все, что нужно.

И проходя полуголодный по улицам, взглядывая на витрины магазинов, на роскошные экипажи, на сановников и богачей — он не завидовал и не злобствовал, а с какою-то горделивой уверенностью думал:

«Все это и у меня будет! Всего я достигну, чего захочу! Стоит только хотеть сильно и ничего не бояться. В этом вся сила!»

Действительно, у него была эта сила. Когда он кончил университет, он ни во что не верил и ничего не боялся. Культ своего «я» был его мирозерцанием, его единственной верой. Успех — какою бы то ни было ценой — его идеалом. На остальное наплевать!

Его сдержанный, холодный темперамент как нельзя более отвечал его скептическому прак-

тическому уму. Вся грязь и пакость жизни, все обиды и несправедливости, вся глупость людская — все это Марк взвешивал и оценивал, но это не трогало его сердца. Сильным — дорога, а слабым… кто же виноват, что они слабы… В этой битве жизни или будь победителем, или побежденным — выбора нет!

И Марк с каким-то снисходительным презрением человека, понявшего, какие доблести требуются в данную минуту на житейском рынке, относился к тем, не потерявшим еще стыд, брезгливым людям, которые нет, нет — да и заявят о себе. Сильных из них он считал неразумными мечтателями, непонимающими бесполезности борьбы с жизнью, а слабых — дураками, которых и жалеть не стоит.

Подобные мысли не раз приходили Марку на помощь, когда в минуты раздумья внутренний голос шептал ему совсем другие слова, но он всегда выходил победителем.

Однако, когда этот бесшабашный молодой герой вышел из университета, ему еще целый год пришлось пробиваться уроками. И только благодаря богатому железнодорожнику Трифонову, у которого Марк давал уроки, он получил казенное место. Места на частной службе Марк не хотел.

Его честолюбивые мечты направлялись в другую сторону.

И Марк в скором времени обратил на себя внимание своего начальника отделения, и тот эксплуатировал его самым бессовестным образом.

Но Марк не протестовал и работал, как вол, за свои восемьсот рублей, выжидая «случая».

Предстоявшее свидание с Павлищевым являлось для Марка таким «случаем», и он надеялся воспользоваться им с блестящим успехом.

VII

В одиннадцатом часу утра на следующий день, когда Павлищев, после обычной своей ванны и тщательного туалета, свежий и румяный, гладкий и благоухающий, вышел в своем кургузом темно-синем вестоне в кабинет и подошел к письменному столу, справка об адресе Марьи Евграфовны лежала на кипе газет вместе с несколькими письмами.

Павлищев прочитал адрес, спрятал бумажку в жилетный карман, слегка поморщившись, и, взяв газеты и письма, направился в уголок кабинета, к небольшому столу, вокруг которого стояло несколько кресел, и усевшись, принялся за письма и газеты. В этом уголке он обыкновенно пил кофе и принимал приятелей и знакомых, желавших повидать Степана Ильича до службы.

В ту же минуту его камердинер, Викентий, молодой и представительный литвин, живший у Павлищева уже пятый год и в точности изучивший барина и его привычки, неслышно ступая по ковру, подал кофе, сливки и горячие тосты и, поставив поднос, проговорил:

— Изволили видеть справку?

— Видел. Спасибо.

«Верно, новая краля!» — подумал камердинер, хорошо знавший авантюры своего барина и любовь его к хорошеньким женщинам, и так же бесшумно вышел.

Пробежав письма, Павлищев принялся за кофе и стал просматривать газеты, начав, по обыкновению, с той, самой решительной и quasi-патриотической, у издателя которой он бывал на собраниях вместе с другими лицами, и где трактовались в известном духе всевозможные вопросы, касавшиеся общественных нужд России. Павлищев, конечно, очень хорошо понимал этого господина, разыгрывавшего роль влиятельного журналиста, ценил по достоинству и его богатое, разнообразное прошлое и нынешние добродетели, и все-таки считал необходимым бывать у него. Еще бы! У него бывают, к нему ездят и его нелепости и глупости слушают и не такие лица! И Павлищев, как умный человек, смеявшийся в глубине души и над проповедью обскурантизма и презиравший самого проповедника, добродетели которого ему казались более чем сомнительными и патриотизм взмыленным, — тем не менее искал в нем поддержки и был бы огорчен, если б журналист назвал Павлищева в своей

еженедельной газете недостаточно «истинно русским» и благонамеренным. Он отлично знал, как неудобно прослыть, хотя бы и без достаточных к тому оснований, «либералом». Все, что угодно, но только не это!

Павлищев, хорошо усвоивший себе эту мораль, проповедуемую газетою своего знакомого, не раз, однако, презрительно усмехался при ее чтении. Господи! Какими вздутыми казались все эти громы! Какими пошлыми и шаблонными все эти ламентации! Как быстро редактор разжаловывал из «гениев» в «узкие умы» людей, оставляющих, по воле Провидения, власть. Какими наглыми были все эти восхваления энергии и силы разных лиц, не стеснявшихся нарушать закон!..

Приход Викентия заставил Павлищева поднять глаза.

— Одна дама очень желает видеть ваше превосходительство! — проговорил своим негромким, мягким и вкрадчивым голосом Викентий.

— Кто такая? — недовольно спросил Павлищев.

— Вот-с ихняя карточка, — продолжал, нисколько не смущаясь, камердинер, подавая на маленьком серебряном подносе визитную карточку.

Павлищев взглянул на карточку, и недовольное выражение вмиг исчезло с его красивого лица.

«Не бойсь, обрадовался!» — подумал Викентий, получивший от дамы три рубля и заранее уверенный, что визит ее будет приятен барину.

— Просите! — проговорил весело Павлищев, невольно оживляясь, поглаживая русую, подстриженную бородку своей белой, выхоленной рукой, с крупной бирюзой на мизинце, и щуря свои серые лучистые глаза. — Да, к двенадцати часам, чтобы лошадь была готова! — прибавил Павлищев, вспоминая в то же время о предстоявшем неприятном визите к Марье Евграфовне.

— Слушаю-с, — ответил Викентий и ушел приглашать даму, которая ждала в гостиной.

Через минуту в кабинет вошла Анна Аполлоновна Рогальская, та самая пикантная блондинка с пенсне на носу, которая вчера в департаменте так настойчиво просила о назначении пенсии для своей мифической сестры.

Свежая, сверкавшая белизной лица, с искусно подведенными карими глазами, в изящном черном платье, обливавшем красивые формы ее роскошного стана, с крошечной шляпкой на маленькой голове, с вьющимися у лба кудерьками белокурых волос, небольшого роста, грациозная

и хорошенькая, она с самым скромным видом просительницы сделала несколько шагов к поднявшемуся к ней на встречу Павлищеву.

— Простите, ваше превосходительство. — заговорила она своим мягким, грудным контральто, — я опять к вам… Мы — женщины — упрямы, когда дело касается наших близких! — прибавила маленькая женщина, бросая на Павлищева тот детски-наивный, улыбающийся и беспомощный взгляд слабого ребенка, полный в то же время чарующей улыбки женщины, сознающей свою обворожительность, который госпожа Рогальская иногда не без успеха пускала в ход при начале своих деловых сношений с административными лицами.

— Я вижу, что вы упрямы и что, благодаря вашему упрямству, я имею удовольствие видеть вас у себя, — проговорил, стараясь быть серьезным, Павлищев и пожимая маленькую ручку в черной лайке крепче, чем бы, казалось, следовало в интересах служебного долга. — Прошу покорно присесть, вот сюда, на диван… Здесь вам будет удобнее.

И Павлищев указал на маленькую отоманку и, когда Рогальская опустилась, присел около нее, в благоразумном, однако, отдалении.

— Вы по вчерашнему делу, конечно?

— Да… Ах, если бы вы знали, как мне совестно быть такой назойливой, но…

Анна Аполлоновна не докончила и вздохнула. Вздохнул и Павлищев, любуясь хорошенькой просительницей. Вздохнул и покосил заискрившимися глазами на ее белую, словно выточенную, шейку и, все еще не теряя своего административного апломба, заметил:

— То, о чем вы просите, совершенно незаконно, Анна Аполлоновна…

— Я знаю это и прошу милости для сестры… Ее положение…

Она опять не договорила, и две-три крупных слезинки, скатившиеся по ее щекам, заставили ее вынуть батистовый платок и у тереть слезы, в то время, как в сердце ее играла надежда. Как женщина опытная, она понимала, что и это приглашение присесть на отоманку, и некоторая осовелость взгляда Павлищева, и это крепкое пожатие руки предвещают нечто утешительное.

И Анна Аполлоновна, знавшая мужчин в достаточной мере для своих двадцати семи лет, хотя и плохо знавшая законы Российской Империи, снова бросила на Павлищева такой умоляющий, полный ласки взгляд, что Павлищев невольно

взял ее руку и просил успокоиться…

— Я только потому и решилась беспокоить вас, — говорила маленькая женщина, — что слышала о вашей всегдашней готовности помочь несчастным людям… Не откажите, Степан Ильич… А я буду вечно поминать вас в своих молитвах! — прибавила она и, сдернув перчатку, протянула свою белую, маленькую, тонкую руку в кольцах и крепко пожала руку Павлищеву.

«Только-то!» — подумал про себя его превосходительство, задерживая на мгновение теплую руку в своей руке и глядя на хорошенькую просительницу в упор застланными, несколько поглупевшими глазами.

Положительно эта бабенка ему нравилась. И он готов был для нее хлопотать за ее сестру…

Но вместо этого Павлищев заметил:

— К сожалению, очень трудно сделать что-нибудь для вашей сестры, Анна Аполлоновна, несмотря на искреннее желание быть чем-нибудь полезным для такой хорошенькой женщины и иметь счастье пользоваться ее молитвами…

И Павлищев поцеловал ее руку.

— Будто трудно?.. Вам? Если вы захотите? — кинула Анна Аполлоновна, бросая на Павлищева лукавый, вызывающий взгляд. — Полноте, я вам

не верю. Вы просто не хотите ничего для меня сделать… Или вам мало моих молитв? — промолвила она с улыбкой, понижая голос.

— Конечно, мало, — ответил Павлищев, теряя свой серьезный вид административного авгура и делаясь похожим на шалого кота по весне.

— Вот вы какой… Чего ж вам еще?

Вместо ответа Павлищев охватил хорошенькую блондинку за талию и, прижав к себе, осыпал ее лицо и шею горячими поцелуями.

— Когда вас можно видеть? Где? Вы обворожительны, Анна Аполлоновна…

Анна Аполлоновна хорошо знала, что раньше или позже, а деловое свидание кончится подобным признанием. Немало было таких в ее практике! Но не такая она была женщина, чтобы давать свидания раньше того, как сделается дело. И она, оправив прическу и отодвигаясь от Павлищева, ответила, что муж ее ревнив, как Отелло, и что видеться с ней нельзя ранее двух-трех недель..

— Понимаю, — улыбнулся Павлищев… — Не раньше, как ваша сестра получит пенсион?

— Вы догадливы, Степан Ильич.

— Ну, так через три дня свидание за вами… И не одно… слышите ли?.. Вы совсем вскружили

мне голову…

И Павлищев хотел, было, снова привлечь к себе пикантную барыньку, как послышался электрический звонок.

Он, однако, поцеловал еще раз Анну Аполлоновну и, взволнованный и красный, проводил ее до дверей кабинета…

— Фу, какой, однако, я мальчишка! — проговорил он вслух, присаживаясь к столу. — А прехорошенькая, черт ее побери! — Из-за такой женщины стоит дать пенсион вдове, которой муж даже и не служил!.. — мысленно говорил Павлищев, предвкушая заранее удовольствие новой авантюры и не веря в ревнивого Отелломужа у такой покладистой женщины.

«Да, власть хороша еще и тем, что можно наслаждаться жизнью!» — подумал в заключение Павлищев.

— Ну, кто это там звонил? — спросил он, когда Викентий появился в кабинете.

— Господин Борщов. Просят беспременно принять.

— Борщов? — переспросил Павлищев, недоумевая…

— Вот-с карточка…

И только, когда Павлищев прочел на карточке:

«Марк Евграфович Борщов», он догадался, что это брат Марьи Евграфовны, о котором часто слышал от сестры. Это посещение брата не особенно понравилось его превосходительству. Что еще за визит? К чему он?

Павлищев несколько минут колебался: принять брата или нет? Того и гляди, еще нарвешься на какой-нибудь скандал?

— Зачем вы не сказали, что меня нет дома? — раздражительно проговорил он.

Тот молчал и, разумеется, не объяснил, что зеленая бумажка, полученная и от Марка, заставила его доложить о посетителе.

— Что это за господин? — наконец спросил Павлищев камердинера.

— Как следует, господин… И одеты хорошо…

— Просить его! — внезапно решил Павлищев и принял серьезный, внушительный вид, чувствуя, однако, что малодушно трусит.

VIII

При первом же взгляде на этого пригожего, вполне приличного молодого человека в безукоризненном фраке и свежем белье, у Павлищева отлегло от сердца.

«Как он похож на сестру!» — подумал он, внезапно охваченный воспоминаниями прошлого, и любезно протянул руку Марку.

— Прошу садиться, промолвил Павлищев, указывая на кресло по другую сторону письменного стола.

Оба они уселись и несколько мгновений внимательно оглядывали друг друга. Умное и спокойное лицо Марка, его приличные манеры, полные чувства достоинства, произвели на Павлищева хорошее впечатление, и он, почти успокоившийся, проговорил:

— Папиросы около вас… Курите, пожалуйста…

— Благодарю, я не курю, — ответил Марк и продолжал, отводя взгляд:- я пришел к вашему превосходительству по поручению сестры.

Его превосходительство слегка смутился и покраснел.

— Я только вчера и совершенно случайно

узнал, что Марья Евграфовна здесь, — заметил Павлищев.

— Сестра больше недели здесь. Она приехала сюда посоветоваться с докторами о своем сыне.

— Что с ним? — как-то нерешительно, испытывая смущение, спросил Павлищев.

— Века на одном глазе длиннее, чем следует. Надо сделать операцию…

— Она не опасна?

«Ишь выспрашивает, точно ему не все равно!» — подумал Марк и ответил:

— Окулист говорит, что пустяки. После операции сестра тотчас же уедет отсюда. Дело, впрочем, не в этом, а в том, что вчера Маша узнала от Бугаева, что он, помимо ее позволения, упомянул о ней, когда был и просил места, и даже сказал, что сестра приедет просить вас за него. Вся эта история была ей крайне неприятна. Неприятна, главным образом, потому, что вы могли иметь основание предположить, будто с ее стороны есть какие-либо притязания напомнить вам о себе… Таких притязаний, разумеется, нет, и я, по просьбе сестры, счел обязанностью сообщить вам об этом… Бугаев просто наврал… Положение его отчаянное, и он, как недалекий человек, вообразил, что имя сестры может ему помочь! — прибавил

Марк и усмехнулся.

Павлищев, признаться, никак не ожидал подобных речей. Он думал, что если не простоватая Марья Евграфовна, то, по крайней мере, брат сделает какую-нибудь попытку эксплуатировать его «ошибку молодости», а между тем, вместо этого, такое деликатное и гордое заявление. И это после его действительно скверного и жестокого поступка с бедной девушкой, беззаветно его любившей!..

«Этот брат видимо — порядочный человек!» — невольно думалось Павлищеву, когда он внимательно, опустив глаза, выслушивал Марка. В словах его, точных и обстоятельных, не слышно было ни одной нотки негодования и не чувствовалось ни малейшей неприязни, и это несколько удивило Павлищева. Верно, сестра не передала ему всего, не рассказала, как он бросил девушку с двумя детьми в нищете и даже не отвечал на ее умоляющие письма.

«Конечно, он ничего этого не знает!» решил Павлищев.

Казалось бы, что после такого категорического объяснения, Павлищев должен был бы вполне успокоиться и порадоваться, что все обошлось так мирно и хорошо. Прошлые грехи забыты, и

дело с концом! Но именно эта-то порядочность Марьи Евграфовны и ее брата подавляла его, и Марк, не без некоторого удивления, видел, что его превосходительство несколько смущен и как будто даже растерян.

«Не верит, видно, и боится!» — подумал Марк, никак не предполагавший в таком человеке, как Павлищев, возможности если не раскаяния, то хотя желания как-нибудь поправить свою вину, — «Или не хочет ли он разыграть для меня сцену благородства! Что ж! Пусть разыгрывает! Сестра только выиграет от этого!»

— Признаюсь вам, Марк Евграфович, — заговорил, наконец, Павлищев, — я очень рад случаю, благодаря которому я снова узнал о Марье Евграфовне после десятилетнего неведения об ее судьбе. Я искренно желаю быть чем-нибудь полезен ей и ее сыну. Я сам собирался быть у нее сегодня… Вот и справка об ее адресе! — прибавил Павлищев, вынимая из жилетки бумажку.

«Трус, однако же, ты порядочный!» — решил Марк.

— Надеюсь, Марья Евграфовна не откажется меня видеть?

— Полагаю, что нет… Напротив, я думаю, будет рада.

— Что, она замужем?

— Нет…

— Чем она занимается?

— По-прежнему акушерствует в Харькове и по прежнему наивна до святости…

— Прекрасная женщина ваша сестра! — серьезно заметил Павлищев и спросил: а вы здесь живете! Мне сдается, что мы с вами где-то встречались?

— У Трифоновых…

— Именно… Теперь вспомнил…

— Я там давал уроки молодому Трифонову…

— Вы не служите?

— Напротив, поступил на службу. Что же больше делать?

— Окончили университет?

— Как же, и даже магистрант! — прибавил Марк и усмехнулся.

— Ученая карьера не понравилась?

— Нет, не по мне она.

— Где же вы служите?

Марк назвал министерство.

— И довольны службой? — продолжал допрашивать Павлищев, видимо заинтересованный молодым человеком.

— Приходится быть довольным, когда нет ни-

чего лучшего.

— Что ж вы делаете?

— Пишу записки и доклады для своего начальника отделения, получаю восемьсот рублей жалованья, а он за мои доклады получает благодарности и говорит, что я очень хороший чиновник. Если ему улыбнется карьера, и я выдвинусь… Только вряд ли он сделает карьеру.

— Отчего?

— Без всяких связей, и сам недостаточно умен! — категорически отрезал Марк.

— Однако, вы решительны в приговорах! — улыбнулся Павлищев.

— И, кроме того, плохо приспособляется… Позволяет себе роскошь иметь свое мнение…

— Вы называете это роскошью?

— Еще бы! Особенно, когда его мнений никто не слушает!

— И вы не позволяете себе такой роскоши?

— Не позволяю. Я работаю — вот и все, а мнения свои держу про себя…

Павлищеву, который у себя в департаменте хотел видеть «свежие силы» и дельных работников, очень понравился этот спокойный, полный уверенности в себя, «трезвенный» молодой человек. Он поговорил с ним еще и, оставшись вполне

доволен своим экзаменом, весело проговорил:

— Хотите, молодой человек, служить у меня?

— С удовольствием!

— И при этом можете даже сохранить за собою роскошь своих мнений…

— Если ваше превосходительство их спросит? — подсказал Марк.

— Ну, разумеется, — улыбнулся Павлищев. — Для испытания я сперва вам дам маленькую работу. Вы знаете языки?

— Французский, английский и немецкий.

— И отлично… Вот вам английская книга, — продолжал Павлищев, доставая с письменного стола, заваленного книгами и брошюрами, объемистый том, — составьте из нее обстоятельное и небольшое резюме, и когда окончите, приходите. Если работа будет удовлетворительна, я беру вас к себе и, не бойтесь, — прибавил Павлищев с улыбкой, — я не оставлю вас на восьмистах рублей жалованья… Я умею ценить труды хороших работников. Я сам не белоручка!

С этими словами его превосходительство поднялся, давая знать, что аудиенция окончена, и, протягивая руку, проговорил:

— Очень рад, что с вами познакомился. Уверен, что будем вместе служить и ближе познакомим-

ся. Вы мне понравились.

Марк поклонился и вышел из кабинета с книгой в руке, по-прежнему холодный и спокойный, но внутренне торжествующий и счастливый.

Звезда его поднимается! Теперь он выдвинется и сделает карьеру во что бы ни стало. Павлищев умный человек и оценит его способности. Не даром же он сразу обратил на него внимание. И как все это скоро случилось! — Достаточно было одного свидания и еще какого щекотливого свидания!.. А с Павлищевым служить хорошо. Он высоко поднимется, а вместе с ним и Марк.

Так самоуверенно думал молодой человек, шагая по улице и уносясь далеко в своих честолюбивых мечтах о будущей карьере.

Он вошел на двор большого многоэтажного дома на николаевской, поднялся на самый верх и вошел в свою маленькую, необыкновенно чистую и опрятную комнатку, которую Марк нанимал у одной вдовы-полковницы.

В этой маленькой комнате обстановка была чисто спартанская. Кровать, два-три стула, клеенчатый диван и письменный стол. Но за то два шкафа и полки по стенам были полны книг и большею часть книг серьезного содержания.

Марк переоделся и торопливо съел свой обыч-

ный завтрак: два куска черного хлеба, круто посыпанные солью, которые он запивал молоком, снова вышел из комнаты, заперев ее на ключ, и отправился в департамент, захватив с собою туго набитый портфель.

В шестом часу он вернулся домой, съел свой скромный обед из двух блюд, который ему принесла кухарка, и засел за работу для Павлищева.

После нескольких ночей упорного труда работа была окончена, и Марк, через неделю после свидания с Павлищевым, в десять часов утра уже звонил в квартиру Павлищева и отдал пакет Викентию с просьбою немедленно передать его барину.

— А сами разве не зайдете к его превосходительству? Они дома.

— Нет, не зайду. Скажите только, что я был и принес вот эти бумаги. Нечего отнимать у него время! — прибавил Марк, удаляясь.

Прошло два дня, и Марк получил записку от Павлищева с приглашением быть у него на другой день в девять часов утра.

Облачившись во фрак, Марк отправился к Павлищеву настолько уверенный, что работа его понравится и что новое место у него в шляпе, что еще накануне намекнул, своему начальнику

отделения о том, что он, быть может, оставит службу, чем привел своего патрона в большое смущение и вызвал даже упреки в неблагодарности.

И действительно, когда Марк вошел в кабинет его превосходительства, Павлищев крепко пожал ему руку и сказал:

— Работа ваша, Марк Евграфович, образцовая… Я просто восхищен. Все, что нужно, самое существенное, и ни одного слова лишнего… Мастерская работа… И как скоро вы ее сделали!.. Как, это вы ухитрились в неделю?…

— Я довольно скоро работаю, ваше превосходительство!

— И с вашими собственными выводами я вполне согласен, вполне. Таков и мой взгляд на этот вопрос, — весело говорил Павлищев, не подозревавший, конечно, что Марк писал свои выводы не потому, что разделял их, напротив, он их считал неправильными, а потому, что приспособил их ко взглядам Павлищева на этот вопрос, о которых сумел предварительно узнать через одного своего знакомого, служащего у Павлищева в департаменте..

— И как талантливо изложено… Ну, батюшка, место за вами… Хотите быть чиновником по

особым поручениям, при мне?.. На первое время две тысячи жалованья?..

Признаться, такого благополучия и Марк не ожидал для начала и в первую минуту даже не находил слов.

— Ну что же, довольны?

— Очень, ваше превосходительство!

— Так подавайте докладную записку, и являйтесь ко мне в департамент. Весьма рад иметь такого дельного работника у себя, — прибавил Павлищев.

Скоро он распростился с Марком, ни одним словом не заикнувшись о свидании с его сестрой неделю тому назад.

IX

По некоторым соображениям, Марк не счел нужным предупреждать сестру о намерении Павлищева навестить ее. И для Марьи Евграфовны было совершенной неожиданностью его появление. Она страшно смутилась и заволновалась. Внезапно побледневшая, с замирающим сердцем, она смотрела во все глаза на человека, которого так любила, на этого, так мало переменившегося с тех пор «Степу», такого красивого и элегантного, тоже, в свою очередь, несколько смущенного и изумленного. И он не ожидал увидать перед собою такую хорошенькую, свежую женщину, казавшуюся совсем молодой девушкой, с этими большими, детски испуганными, широко раскрытыми глазами, с гибким станом и с роскошными темно-русыми волосами. Что-то невольно располагало к ней, и Павлищев, при виде этого взволнованного красивого лица, испытывал смешанное чувство жалости, виноватости и удивленного восхищения завзятого женолюба, понимающего толк в женской красоте.

«И как она выправилась. Как хорошо держит себя!» — невольно пронеслось у него в голове.

Около Марьи Евграфовны стоял прелестный мальчик с белокурыми вьющимися волосами и с недоумением и страхом переводил свой темный глаз с бледного, взволнованного лица матери на этого незнакомого красивого господина. Другой глаз мальчика был почти закрыт веком и и это придавало его личику какое-то грустное и меланхолическое выражение. Он был до поразительности похож на отца, и Павлищев почувствовал это с первого же мгновения. Почувствовала это и Марья Евграфовна.

— Вы не ожидали, Марья Евграфовна, что я осмелюсь прийти к вам, — заговорил, наконец, Павлищев тихим, мягким своим тенорком и робко протянул ей руку.

Она подала ему свою похолодевшую белую широкую руку. Павлищев поднес ее к губам и почтительно поцеловал. Марья Евграфовна как-то смущенно отдернула руку.

— Не ожидала, — чуть слышно проронила она, — после стольких лет…

И, стараясь подавить свое волнение, прибавила, опускаясь, на диван:

— Садитесь, Степан Ильич…

Мальчик тотчас же сел около матери, словно бы желая защитить мать против господина, ко-

торый, казалось ему, так напугал маму. И он с вызывающим и в то же время испуганным видом взглядывал на Павлищева.

А Павлищев, опустившись в кресло, между тем продолжал:

— Я не стану оправдываться. Я много, много виноват, перед вами, и вы меня, конечно, никогда не простите…

Голос его, гибкий и нежный, звучал, казалось, искренностью и пробирался к самому сердцу Марьи Евграфовны.

С каким-то инстинктивным кокетством когда-то любимой женщины, она оправила свои волосы и, вся краснея, ответила кротко и просто:

— Я давно простила.

— Давно простили!? Добрая вы! — вымолвил Павлищев, чувствуя, что не совсем еще потерял прежнее свое обаяние у этой женщины, и взглянул на Марью Евграфовну мягко и нежно, как умел глядеть на женщин, которых, хотел обворожить.

Почувствовала и Марья Евграфовна, что этот чарующий взгляд все еще действует, и сердце ее тревожно встрепенулось. Она поняла, что этот человек до сих пор не совсем чужой ей, и все хорошее в прошлом, эти три года их совместной

жизни, эти розы ее первой любви без, позднейших шипов и разочарований, все это невольно припомнилось ей при виде Павлищева… И в доброй душе ее уже готово было оправдание сильно любившей женщины для человека, которого никто бы не оправдал.

— Если б не Бугаев, я и не знал бы, что вы здесь..

— Но я не просила Бугаева говорить обо мне! — перебила с горделивым видом, молодая женщина. — Я не рассчитывала когда-нибудь с вами встретиться и чем-нибудь напомнить вам о себе.

— Знаю, знаю. К чему вы это говорите? Вы все такая же, как были десять лет тому назад… И как же мало вы переменились!?.. Только еще более расцвели и… похорошели.

Марья Евграфовна вспыхнула и нахмурила брови, точно недовольная этим комплиментом, хотя в душе и бесконечно была рада, что Павлищев сказал ей это. Но гордость не позволяла ей показать этой радости. Пусть он ничего не знает.

И она с строгим видом, как будто не обращая никакого внимания на последние слова, проговорила:

— Я, конечно, не виню Бугаева… Семья его, действительно, в отчаянном положении, и он…

— А я теперь положительно благодарен Бугаеву. И в доказательство дам ему место… Скажите ему об этом, — перебил Павлищев, испытывая желание явить перед Марьей Евграфовной свое великодушие, — пусть приходит ко мне в департамент…

Молодая женщина промолвила:

— Вы делаете большое благодеяние для его семьи…

— Я это делаю ради нашей встречи, Марья Евграфовна… Верьте, я никогда не сомневался в вашей гордости… Сегодня еще был у меня ваш брат и говорил, что вы никогда и не думали дать весть о себе… Я вас понимаю. Я так тяжко виноват… И какой славный ваш брат и как он похож на вас наружностью… Так же, как вот этот бедный мальчик на своего отца! — прибавил вдруг тихо Павлищев, взглядывая на Васю.

— Да, он похож, — прошептала Марья Евграфовна и задумалась.

— Я слышал, вы хотите делать ему операцию.

— Не решаюсь еще…

— Позвольте мне помочь в этом… Я приглашу лучшего хирурга…

— Благодарю вас, не надо…

— Вы не хотите принять даже такой услуги?

— Я уже была у хирурга, у профессора, и уже уговорилась с ним… На-днях надо решиться…

— Говорят, операция пустая.

— А все-таки…

— А ты, Вася, не боишься операции? — вдруг обратился Павлищев к мальчику.

— Не боюсь, если мама будет со мной.

— Буду, всегда буду! — нежно проговорила мать и с какой-то особенною порывистостью поцеловала его.

— Молодец, что не боишься! — похвалил Павлищев и ласково поманил ребенка к себе.

Но тот, по видимому, не имел ни малейшего желания подойти к незнакомому человеку, да еще напугавшему мать. И он не отвечал на зов.

— Не бойся, Вася. Этот дядя добрый! — взволнованно проговорила Марья Евграфовна.

Несмотря на слова матери, мальчик не трогался с места и еще крепче прижался к ней.

— Он в меня… застенчивый! — вымолвила мать, точно извиняясь за сына.

И странное дело! Хотя Павлищев и не испытывал в эти минуты никакого нежного отцовского чувства и, вообще, не особенно любил детей, тем не менее этот ребенок, столь похожий на него, возбуждал в нем невольное участие. Ему хоте-

лось приласкать этого сироту без отца.

Вообще его превосходительство как-то размяк и был в великодушном настроении духа, чему, надо думать, не мало способствовало и успокоение относительно возможности какого-либо скандала, и все еще тлевшая привязанность Марьи Евграфовны — он это видел — и ее красота.

Положительно, она хорошенькая — эта небольшая женщина с крепкими упругими формами, с девической талией и ребяческой робостью. А главное, в ней есть эта свежесть, этот аромат южных степей и какая-то девственная целомудренная стыдливость неиспорченной женщины. И столько глубины в этих больших кротких глазах, опушенных длинными ресницами. И в то же время какая наивность! Видно было, что жизнь со всеми ее лишениями нисколько не загрязнила ее и оставила чистой, чего Павлищев никак не предполагал.

Давно уж он не встречал ничего подобного в своих любовных петербургских авантюрах и с дамами полусвета, и с дамами, так называемыми, «порядочными» ничего подобного.

И в голове Павлищева внезапно явилась шальная мысль:

«Не начать ли с ней опять!? Отличная была

бы любовница. Преданная, любящая и простоватая!»

Но ему вдруг стало самому совестно этой мысли. Ведь тут должна быть одна любовь, и к чему может привести эта связь!? Невозможно же ему жениться на Марье Евграфовне. Не такая ему нужна жена в его положении! Он женится на Трифоновой с миллионом в придачу!

Но он все-таки решил поразить Марью Евграфовну и уже в голове его был определенный план того, что он для нее сделает.

С особенным интересом стал он расспрашивать об ее прошлой жизни, об ее настоящем и надеждах на будущее, и Марья Евграфовна, подкупленная ласковостью Павлищева и, главное, воспоминанием о своей прежней любви, с кроткой доверчивостью стала рассказывать свою историю, деликатно опуская в ней те ужасы лишений, которые она перенесла, чтобы не смущать Павлищева.

Сперва ей было трудновато, но потом ничего, легче. Она получила место и живет теперь, не нуждаясь, в Харькове. Спасибо добрым людям, устроили ее.

— А я думал, что вы вышли замуж! — заметил Павлищев.

— И не собиралась.

— Но женихи, конечно, были? Должны были быть!

— Положим, были, — застенчиво краснея, говорила Марья Евграфовна, — но я не рискнула выйти замуж.

— Отчего?

— Отчего? — переспросила молодая женщина и удивленно повела взглядом на Павлищева, словно изумляясь, что он не понимает «отчего». — Я не хотела делить привязанности между мужем и… вот им!.. — прибавила она, указав движением головы на мальчика. — И, наконец…

Она на секунду остановилась и промолвила:

— И, наконец, мужчины не всегда прощают прошлое… Ребенок мог быть живым укором…

Павлищев слушал, опустив голову. Сколько самоотвержения было в этой женщине. Сколько сделал он ей зла. И ни одного упрека, ни единого слова негодования, и никаких притязаний!

— Послушайте, Марья Евграфовна, — заговорил он, — поправить прошлого, разумеется, нельзя, но искупить его никогда не поздно…

— Чем искупить?.. Я ничего не прошу…

— Но я прошу вас позволить мне исполнить хоть долю своих обязанностей. Позвольте мне

быть полезным вам?..

— Мне ничего не надо! — строго, почти брезгливо, вымолвила Марья Евграфовна.

— Но ему…

Чувство матери взяло верх над гордостью женщины, и она ничего не сказала.

— Я пока могу положить на имя мальчика десять тысяч и доставлю билет вам… И кроме того, не лишите меня возможности примириться с совестью и позвольте взять заботу об его воспитании на себя… Я буду высылать вам для этой цели тысячу двести рублей в год, по сто рублей в месяц… И еще просьба: разрешите мне иметь когда-нибудь вести о вас и о нем…

— К чему?

— Чтоб я не терял больше вас из виду…

Марья Евграфовна была переполнена благодарностью за сына и с глазами, полными слез, протянула руку Павлищеву. Тот ее крепко пожал и поцеловал.

— Я не ошиблась в вас… Вы добрый человек! — проговорила, вся умиленная, Марья Евграфовна.

И это выражение чувства необыкновенно тронуло Павлищева.

Прощаясь, он получил разрешение навещать Марью Евграфовну, пока она будет здесь, и по-

целовал Васю, обещая ему в следующий раз привезти игрушек.

Когда его превосходительство ехал от Марьи Евграфовны в департамент на своем рыжем рысаке, он был в самом умиленном настроении и сознавал себя вполне добрым и порядочным человеком, совершенно загладившим свою «ошибку молодости».

«В самом деле, многие ли поступили бы так благородно и великодушно, как он?»

«И что за свежесть в этой женщине и как она хороша!» — мысленно проговорил он, подъезжая к, департаменту.

X

В департаменте Павлищев пробыл, по обыкновению, до седьмого часа вечера и, разумеется, не имел ни одной свободной минуты времени. То он принимал по спешным делам просителей, радовавшихся, если могли урвать у него пять, десять минут свидания, то выслушивал доклады начальников отделений, то пробегал разные заказанные им записки и проекты, то подписывал бумаги, то его требовали к министру, то звали в комиссию.

И департамент со времени назначения Павлищева был просто неузнаваем. Прежнее сонное царство вдруг, казалось, ожило и в нем закипела захватывающая дух деятельность, точно господа чиновники со своим энергичным директором во главе вдруг решили наверстать целые годы бюрократической лени и показать всепожирающую деятельность. Все в этих высоких комнатах, где — давно ли? — больше занимались разговорами и куреньем папирос — суетились, спешили, словно бы находясь на военном положении. Всем было «некогда», все имели возбужденный, слегка, ошалелый вид, далекий от того бюрократическо-

го равнодушие, которое говорило, что дело — не волк, в лес не убежит… Одним словом, в департаменте, как свидетельствовали в те отдаленные времена многие газеты, «царило оживление и кипела неустанная работа, говорившая о том, насколько вносит дух живой такая молодая и свежая сила, как недавно назначенный на видный пост директора департамента С. И. Павлищев».

После этих оптимистических строк прибавлялось следующее задушевное желание либерального автора:

> «Ах, побольше бы таких образованных, энергичных, молодых сил, — и, с Божьей помощью, Россия зашагает могучими шагами. Довольно нам иметь директоров департаментов, хотя и благонамеренных, но геморроидальных, косноязычных и тугоухих стариков, не всегда разбирающих „нам пишут“ или „мы пишем“. Пора давать дорогу, молодым, полным жизни людям, которые сумеют внести и свет, и дух живой в наш заржавленный бюрократический механизм и отлично знают не книжные теории, а жизнь».

Оставим гиперболические красоты и несколько

либеральный тон дифирамба на ответственности редакторов, похваливших на своем веку, глядя по обстоятельствам, и «маститых мужей, умудренных опытом», и «молодые, свежие силы», и не станем разбирать, насколько ошалелый вид департаментского чиновника и его внезапное превращение из человека 20 числа в какого-то самоотверженного раба всепожирающей деятельности, принес в эпоху нашего рассказа существенную пользу той многомиллионной массе, которая пребывала в невежестве. Но справедливость летописца обязывает, однако, заметить, что к седьмому часу вечера, после дня беспрерывной спешки, суеты и беготни, и сам виновник этого «оживления», его превосходительство, Степан Ильич Павлищев, и его два помощника, и все подчиненные по справедливости чувствовали себя вполне исполнившими свой долг перед отечеством и были утомлены и голодны. Особенно радовались концу занятий те маленькие чиновники, для которых «могучие шаги» газетчиков, как это ни предосудительно, не представляли ни малейшего интереса ни относительно карьеры, ни относительно увеличения оклада. И они с веселой стремительностью бросились из департамента, когда, наконец, Павлищев уехал

обедать к Донону, отправив курьера к себе домой с туго набитым портфелем, в котором лежало довольно-таки будущего счастья для отечества в виде разных проектов и мероприятий из недр департамента…

Павлищев сидел на своем обычном месте, за столом, у окна в общей комнате, и, проглотив маленькую рюмку померанцевой, с удовольствием закусывал свежей икрой, озирая несколько человек, так же поздно обедавших, как и он. Знакомых никого не было, и он не рассчитывал их встретить, так как знал, что большинство таких же, как он, холостых видных представителей администрации имеют свое гнездо в другом ресторане. Павлищев нарочно не ходил туда. Здесь ему казалось и приличнее, и солиднее, и не нужно ни с кем говорить, да и к кухне он привык. И в те дни, когда Павлищев не бывал никуда приглашен, он всегда обедал у Донона.

— Биск или крем д'асперж? — спросил пожилой татарин Ибрагим, обыкновенно прислуживающий Павлищеву.

— Дайте биску…

— А вино?.. Ваше обыкновенное… вужо?

Павлищев утвердительно кивнул головой и с серьезным видом заложил салфетку за галстук.

На лице его появилось то плотоядное выражение, которое бывает у гурманов, и он словно собирался не просто обедать, а, так сказать, священнодействовать.

Когда татарин подал биск, Павлищев стал его есть не спеша, видимо смакуя и суп, и пирожки, и занятый в это время, казалось, одной едой. Несколько утомленный от дневной сутолоки и работы, он жаждал отдыха от всех этих проектов, мер и предположений, над которыми трудился вместе со своим патроном, и находил его в культе чревоугодия. По крайней мере, обед хоть отвлекал его от дел. И без того до поздней ночи придется сидеть за работою…

С загоревшимися глазами накладывал он на тарелку гатчинскую форель и поливал ее пикантным соусом.

Съевши кусок дикой козы и запив чуть-чуть тепловатым красным вином, Павлищев утолил свой голод и и остальные блюда ел уже ленивее.

Когда подали кофе с fine champagne, Павлищев закурил душистую сигару, чувствуя несколько приятное и игривое настроение после вкусного обеда и нескольких стаканов вужо. Ему теперь вместо десерта хотелось бы общества веселой и хорошенькой женщины.

Образ этой пикантной блондинки Рогальской мелькал в воображении его превосходительства. Отлично бы теперь к ней поехать и сказать ей, что сегодня он докладывал министру, и сестра ее получит пенсию. То-то она обрадуется и, быть может, заплатит свой долг. «Препикантная бабенка!» — мысленно подхваливал Павлищев, воспламеняясь все более и более и готовый сейчас же на рискованное посещение.

И, расплатившись за обед, Павлищев вышел из ресторана, отпустил кучера домой, а сам взял извозчика и отправился к Рогальской, веселый и радостный, как школьник.

Когда извозчик остановился у подъезда большого дома на Фурштадской. где жила Анна Аполлоновна Рогальская, Павлищев был в некоторой трусливой нерешительности. Несмотря на видимую «проблематичность» пикантной блондинки, этот визит к ней, к женщине, которую он видел всего два раза, показался теперь ему несколько рискованным и, главное, мог поставить его в смешное положение. Что, если его встретит муж и если вообще она будет не одна? Какую глупую роль он должен будет разыграть, и какие могут пойти о нем по городу слухи. Скажут, что Павлищев, директор департамента, ворвался

в чужую квартиру, как какой-нибудь сумасбродный юнкер.

Все эти соображения значительно расхолодили его превосходительство и внушили ему благоразумную осторожность, и он вошел в подъезд, приподняв воротник шубы и надвинув на лоб свою бобровую шапку, имея в виду сделать предварительные разведки.

Швейцар дремал в кресле и на вопрос: здесь ли живет г. Рогальский? отвечал, что здесь, в четвертом этаже.

— Он дома?

— Никак нет. В Москву уехали.

— В Москву? — переспросил Павлищев, ощущая прилив веселого чувства. — И давно уехал?

— Три дня тому назад.

— Когда он вернется?

— Обещали на будущей неделе.

— Экая досада, что его нет! — промолвил Павлищев, взглядывая на швейцара, который, в свою очередь, пытливо посматривал на господина, интересовавшегося не барыней, а барином. Это было что-то диковинное.

— Ну, спасибо тебе, братец, что сказал, когда барин вернется… Мне нужно его видеть…

С этими словами он подал швейцару рублевую

бумажку, вызвавшую горячую благодарность, и как бы мимоходом кинул:

— А супруга его, Анна Аполлоновна, у себя?

— И их нет. В театр уехали.

— Не знаешь ли, братец, в какой?..

— Нанимали извозчика в Малый театр.

— Одна уехала?

— Нет-с, с сестрицей… А как прикажете о вас доложить?

— Не нужно, братец, докладывать. Я завтра приеду. Когда удобнее всего застать барыню?

«Вот оно что. Барин-то был для отвода глаз!» — подумал швейцар, стараясь определить по виду положение Павлищева.

— Около двенадцати утра, когда только что вставши… Тогда они дома и одни, — как-то значительно почему-то подчеркнул швейцар. — Или в шесть часов после обеда… А в другое время барыня редко бывает дома. В разъездах все больше.

Павлищев вышел, сопровождаемый швейцаром, и направился пешком к Литейной. На углу Сергиевской он нанял на всякий случай двухместную карету и велел везти себя в Малый театр, окрыленный игривыми надеждами на ужин в отдельном кабинете с хорошенькой блондинкой, после спектакля.

Через четверть часа его превосходительство, солидный и серьезный, чуть-чуть приподняв свою белокурую голову, пробирался в четвертый ряд кресел и, скромно усевшись, принялся слушать оперу, нетерпеливо ожидая антракта.

Антракт наступил скоро. — Павлищев приехал к концу первого акта. Поднявшись, его превосходительство оглядывал жадными глазами в бинокль ложи и партер и, наконец, увидал свою блондинку. Она сидела в седьмом ряду рядом с сестрой, тоже недурненькой женщиной, элегантно одетая и хорошенькая. Павлищев весело усмехнулся и, встретив ее взгляд, слегка наклонил голову, получив в ответ самую милую и обворожительную улыбку. Вслед затем она встала и направилась к выходу, что-то шепнув сестре. Павлищев тотчас же пошел за ней.

— Анна Аполлоновна, здравствуйте! — проговорил он, пожимая ее крошечную руку… — Догадываетесь ли вы, зачем я сюда попал? — тихо прибавил он, останавливая ее в коридоре.

— Слушать оперу, надеюсь?

— Вас видеть, вас, и сообщить вам кое-что интересное…

Анна Аполлоновна обдала его превосходительство чарующим взглядом и шутливо заметила.

— Будто меня видеть?.. Как вы могли знать, что я здесь?

— Как видите, узнал… Мне так хотелось видеть вас сегодня, что я поехал к вам.

— Вы были у меня? — воскликнула Анна Аполоновна, видимо приятно польщенная этим посещением.

— То-то был и, узнавши, что вы здесь, приехал сюда…

— Я никогда не смела бы ожидать такой любезности с вашей стороны… Это слишком льстит мне…

— Да разве вы не видите, что совсем свели меня с ума? С первого же раза, как были у меня в департаменте…

— Будто?

— Я правду говорю. Еще бы! Вы такая хорошенькая… Такая…

Очарованный Павлищев не находил слов.

— Какая еще?..

— Одним словом, прелесть, что такое… Вы одна из тех женщин, ради которых даже и я покривил душой! — шептал Павлищев, пожирая Анну Аполлоновну влюбленными глазами.

И пикантная блондинка, хорошо знавшая цену этих мужских взглядов, весело улыбалась, слушая

эти речи. Она хорошо понимала, что понравилась его превосходительству (не даром он так скоро исполнил ее просьбу, в этом, разумеется, и было то «интересное», о чем он торопился сообщить ей), и втайне радовалась, что ей придется «благодарить» не какого-нибудь расслабленного, отвратительного старого развратника, а такого моложавого, свежего и красивого, каким был Павлищев. И — кто знает? — не увлечется ли он ею серьезнее после интимного знакомства?.. Эти мужчины ведь такие капризные и такие свиньи!

— А что же интересное вы хотели мне сказать, Степан Ильич?

— Не догадались разве? Ваша сестра получит пенсию.

— Милый, добрый, — радостно шепнула Анна Аполлоновна, сжигая Павлищева многообещающим быстрым взглядом.

— Я сегодня докладывал министру. Торопился, чтобы поскорей заслужить вашу благодарность, — чуть слышно промолвил Павлищев.

— И заслужили… Я держу свое слово, когда даю его такому милому и интересному человеку, как вы, — значительно произнесла молодая женщина. — С другими можно нарушить слово, а с вами — нет! — прибавила она с очаровательной

улыбкой.

Павлищев совсем растаял от этого комплимента и сказал:

— Так знаете ли что?.. Не будем откладывать в долгий ящик обещанного свидания… Едем после спектакля ужинать… Поболтаем наедине… Вы мне расскажете о себе… о вашем муже…

— Однако, вы нетерпеливый, как посмотрю! — усмехнулась молодая женщина. — Сегодня я не могу…

— Анна Аполлоновна!.. За что же такая немилость?.. А я так надеялся! — произнес упавшим голосом Павлищев с растерянным видом кота, от которого улизнула мышка.

— Со мной сестра… Если хотите, поедем втроем? — лукаво спросила Рогальская.

Черт бы ее побрал, какая она соблазнительная, эта блондинка, с ослепительно-белой шеей и этой роскошью бюста! И сколько неги в ее лукавых черных глазках! — думал Павлищев. Он уже заранее предвкушал удовольствие ужина с шампанским в тиши уединенного кабинета, с бойким и оживленным разговором этой несомненно умной женщины, прерывающимся поцелуями… и вдруг: «не хотите ли ехать втроем?»

— Анна Аполлоновна… Ради Бога… Требуйте от

меня, что хотите, но только едем сегодня, — почти молил Павлищев страстным, взволнованным тоном, озираясь, однако, по сторонам.

На счастье его, в том месте коридора, где они стояли, публики не было, и только старик-капельдинер мог наблюдать излияния влюбленного статского генерала.

— А что же мы будем делать с сестрой? — спросила молодая женщина.

— Отправьте ее домой… Возьмите мою карету… Скажите, что вы едете куда-нибудь на вечер…

— Разве что так… Ну, будь по вашему!.. Я еду с вами! — шепнула Анна Аполлоновна…

Они условились, что выйдут из театра до окончания спектакля, чтоб при разъезде их не заметили. Павлищев крепко пожал руку молодой женщине и отправился, веселый и радостный, в фойе.

— Вы как сюда попали, ваше превосходительство? — обратился к нему с веселым хохотом господин Яновский, хлопая Павлищева фамильярно по плечу, тоже один из видных молодых представителей «свежих сил», веселый и способный малый, известный прожигатель жизни, враль, циник, бесшабашный оппортунист (как он себя называл) и постоянный посетитель всех

публичных мест. — Вас нигде не видно — вы ведь анахоретом живете и грешите при закрытых дверях — и вдруг… в Малом театре! Что сие обозначает? — любопытно посматривая на Павлищева, допрашивал Яновский, после дружеского пожатия.

— Ничего не обозначает… Просто захотел послушать музыки, — отвечал Павлищев, не особенно довольный встречей с этим болтуном и сплетником.

— И отвратительных певцов!? Та-та-та!.. Рассказывайте, кому хотите, только не мне! — расхохотался Яновский, подмигивая глазом…

— Предоставляю вам верить или не верить, как знаете… А вы зачем здесь?

— Я по обязанности… Моя певичка поет… Слушаю ее отвратительное сопрано и после повезу ужинать… Qué taré. Сложена восхитительно и постигла все тайны очарования. Свинка, я вам доложу, первого сорта! — не стесняясь, громко, по своему обыкновению, говорил Яновский, не переставая хохотать. — А новость слышали?

— Какую?

— Иртеньева назначают на высокий пост… Это верно. На-днях будет приказ…

— Не может быть? — усомнился Павлищев.

— Все может быть, что бывает… А бывает, сколь вам известно, и то, чего не предвидел и друг Горацио… Ну, до свидания. Моей певичке похлопайте! — говорил Яновский вдогонку, когда Павлищев уходил от него. — Ее фамилия театральная: Престини, хотя она просто-на-просто Акулина Ивановна Пискунова… Bonne chance! — крикнул, смеясь, вдогонку Яновский.

С нетерпением ожидал в этот вечер Павлищев окончания спектакля, и когда, наконец, он близился к концу, вышел из театра. Вслед за ним вышла и Рогальская.

«Вот для кого приезжал коллега мой!» — подумал Яновский, заметивший их почти одновременное удаление, и уже решил на следующее утро поведать об авантюре Павлищева за завтраком у Дюссо.

А Павлищев, счастливый и веселый, ехал в карете с блондинкой и осыпал ее поцелуями…

Вернулся Павлищев домой поздно — в третьем часу утра, возбудив удивление в Викентии. Обыкновенно его превосходительство никогда так поздно не возвращался.

— Разбудите меня в десять часов и никого завтра не принимать! — приказал он камердинеру.

На следующее утро Степан Ильич отвез Марье

Евграфовне билет на десять тысяч, вручил ей за месяц 100 рублей и подарил много игрушек Васе. Просидев у Марьи Евграфовны четверть часа, Павлищев поехал к Рогальской и явился к ней с бриллиантовым кольцом, которое сам одел на ее крошечный мизинец в память вчерашнего свидания.

XI

Василий Захарович Трифонов был хорошо известный в те времена железнодорожный туз и миллионер, наживший большое состояние по постройке железных дорог. Бывший скромный армейский офицер, он начал с небольших подрядов, полученных по знакомству с одним инженером, и кончил тем, что лет через десять после того получил концессию и выстроил дорогу в шестьсот верст, — заслужив репутацию относительно добросовестного строителя. Когда притихла концессионная горячка, Трифонов, как человек деятельный, энергичный и умный, умевший проводить всякие дела, занялся другими предприятиями и в описываемое нами время имел «чистеньких», как он говорил, три миллиона. Кроме наличных денег, у него было два завода. Пользуясь репутацией умного дельца, он был председателем правления и воротилою в одном из крупных банков и одним из видных благотворителей. За подвиги благотворения он давно уже был награжден генеральским званием и приобрел связи. На его знаменитых обедах, которые он давал раз в месяц, собирались выдаю-

щиеся и влиятельные лица административного и финансового мира.

Жил он с женой, дочерью и сыном в роскошном своем доме на Английской набережной. Небольшая, но хорошо подобранная картинная галерея Трифонова и его собрание редкостей, занимавшее большую комнату, были так, же хорошо известны, как и его лукулловские званые обеды и его простая и обходительная приветливость и крайне скромные потребности. Лично он довольствовался самым простым столом и сохранил прежние свои скромные привычки и если и жил в роскоши, то потому только, что находил это нужным для «дел» и хотел доставить удовольствие жене и детям. Он не кичился богатством, хотя и любил деньги, любил самый процесс наживы и, по примеру разбогатевших людей, не лез в свет и не скрывал своего скромного происхождения. Знакомство водил разнообразное, не делая никакого подбора, и на его «четвергах», когда по вечерам у него запросто собирались в доме более близкие знакомые, общество было смешанное. Рядом с блестящими офицерами, товарищами сына, охотившимися за богатой невестой, в гостиной Трифоновых можно было увидать маленького чиновника-родственника или незна-

чительного служащего из банка, почему-либо понравившегося Трифонову и приглашенного на четверги. Среди элегантных дамских туалетов попадались самые скромные черные шерстяные платья приятельниц и бывших товарок дочери Трифонова. На этих «четвергах» играли в карты, болтали и слушали пение артистов. Трифонов был большой меломан и водил знакомство с певцами и певицами.

Вставший, по обыкновению, рано и выпивший два больших стакана горячего чая с булкой, Трифонов в это утро сидел в большом, скромно убранном кабинете у письменного стола, в своем довольно стареньком сером байковом халате и, посасывая дешевую сигару, хотя тут же на столе у него стоял ящик сторублевых регалий, — внимательно штудировал с очками на глазах лист, исписанный цифрами и представлявший собой смету на постройку нового завода на Урале на недавно приобретенной им почти за бесценок земле. Итог был подведен весьма почтенный, и Василий Захарович несколько раз покачивал в раздумье своей широкой и большой седой головой.

Это был внушительных форм, крепкий и здоровый, широкоплечий мужчина, которому никто

не дал бы его шестидесяти четырех лет — до того он сохранился и был моложав. Его с крупными чертами лицо, отливавшее здоровым румянцем, было свежо и почти без морщин. В зорких небольших темных глазах светилась жизнь; взгляд был молод, энергичен и немножко лукав. Большой лоб, мясистый, чисто русский нос и толстые губы не отличались ни красотой, ни изяществом форм, и лицо Трифонова было не из красивых, но в нем чувствовались энергия и сила. Большая заседавшая борода и густая грива седых волос, зачесанных назад, придавали его лицу несколько артистический вид, и с первого взгляда Трифонова можно было принять за художника или музыканта.

«И чего он затевает новое дело. Точно мало дел и точно мало у него денег. К чему? Для кого?» проносилось в голове у Трифонова, когда он просматривал смету.

— Одни только лишние хлопоты! — проговорил он вслух и сам усмехнулся, зная, что именно эти хлопоты, новое дело и какое-то неодолимое влечение к наживе, хотя бы и бесцельной, и составляют главную для него приманку и что, несмотря на колебания, он, разумеется, построит завод, затратив на него громадные деньги. Зато

впоследствии это дело будет приносить громадные барыши.

И Трифонов снова погрузился в соображения и с карандашом в руках проверял цифры, не заметив, как в кабинет вошел, слегка позвякивая шпорами, его сын, молодой человек лет двадцати трех, очень похожий и фигурой, и лицом на отца. Этот коротко-остриженный офицер в длинно-полом сюртуке, с золотым браслетом на руке и с добрым взглядом несколько красных глаз, свидетельствовавших о кутеже, был некрасив и имел несколько взволнованный и растерянный вид, который он напрасно старался скрыть.

— Здравствуй, папа, — проговорил усиленно развязным тоном молодой человек, подходя к отцу и громко целуя его в щеку.

— Здравствуй, Боря… Здравствуй, голубчик! — нежно промолвил отец. — Что ты сегодня такая ранняя птичка… Еще и девяти нет, а ты уже встал? Или сегодня дежурный? — говорил отец, любовно взглядывая на сына.

От его глаз не укрылось помятое лицо молодого человека и возбужденный его вид.

«Верно, кутнул вчера!» подумал он.

— Нет, папа, я не дежурный… Я пришел к тебе с просьбой.

— Что такое? Нужно денег?

— Много нужно…

— Много?.. Зачем? — спросил старик, не любивший, чтобы сын выходил из своего довольно широкого бюджета. И лицо его сделалось серьезно.

— Не сердись и прости, папа, — заговорил дрогнувшим голосом Борис, не смотря на отца… — Я вчера проиграл в клубе…

Старик, который терпеть не мог азартных игр и сам игравший в винт по небольшой, еще серьезнее и строже взглянул на сына и несколько мгновений молчал. Его большой лоб сморщился, в лице появилось суровое выражение, и маленькие глаза сделались злыми.

— Что значит много по твоему счету? — наконец спросил он.

— Двадцать тысяч, — проронил упавшим голосом Борис.

— Двадцать тысяч проиграть в один вечер!? воскликнул в изумлении старик, не ожидавший такой крупной цифры и никак не предполагавший, что сын его, казавшийся рассудительным молодым человеком, мог сделать такую глупость.

— Играли в макао… Я зарвался и… проиграл на

честное слово.

Старик Трифонов с каким-то презрительным сожалением поглядел на сына и, после паузы, проговорил:

— Не ожидал, признаться, от тебя такого сюрприза… Не ожидал. Не для того я горбом наживал деньги, чтобы сын мой проигрывал в ночь по двадцати тысяч. Я, разумеется, дам тебе эти деньги, но помни, Борис, что это в первый и последний раз!.. Ты знаешь меня и знаешь, что я держу свое слово! — прибавил внушительно старик.

И с этими словами он достал из письменного стола чековую книжку и, написав чек, подал его сыну.

Тот, было, стал благодарить, но отец строго остановил его:

— Не благодари, Борис. Ты лучше сделаешь, если впредь не будешь играть. Карточных долгов я платить не буду — помни… Я не привык бросать денег на ветер… И вообще соразмеряй свои расходы… Кажется, тысяча рублей, что я тебе даю, на всем на готовом, при экипаже и лошадях, которые в твоем распоряжении, — более чем достаточна на кутежи?.. Смотри же, не злоупотребляй моей любовью, Борис! — прибавил, смягчая тон, старик, глядя на смущенное лицо сына.

— Больше этого не будет, папа. Даю тебе слово!

— Даешь? И сдержишь?

— Сдержу.

— И отлично. Спасибо тебе. И я даю слово не сердиться и забыть твой глупый проигрыш.

С этими словами отец протянул руку сыну и тот поднес эту широкую, большую волосатую руку к своим губам.

— Ну, ну, не благодари, не за что, — проговорил отец, отдергивая руку. — С кем греха не бывает. Кто глупостей не делает! Но умный человек их не повторяет, вот в чем дело. И я уверен, что ты этой глупости не повторишь больше… Ну, ступай, отвози свой проигрыш… Кому это ты проиграл такую уйму денег? — спросил он.

— Ртищеву…

— Хорош гусь! Выигрывать с юнца двадцать тысяч! Порядочный человек не допустил бы до такого проигрыша…

Борис удалился, и Трифонов достал свою расходную книжку, вписал в нее: «Сыну Борису 20,000» и снова поморщился и мысленно обругал весьма энергически и резко Ртищева, вытащившего у него из кармана, здорово живешь, такой куш денег.

Уж Василий Захарович собирался, по своему

обыкновению, ехать в одиннадцатом часу в свой банк, как на пороге появилась его любимица — Ксения.

Это была высокая и стройная, с тонкой и гибкой талией блондинка, поразительной белизны, с умным и оживленным, довольно миловидным и насмешливым лицом, тех лет, когда девицы начинают обыкновенно увядать и скрывать свои года. Но, несмотря на свои двадцать восемь лет, Ксения Васильевна не увядала и не скрывала лет и не без кокетства называла себя «старой девой», подчеркивая свои годы и не торопясь выходить замуж, не смотря на множество самых блестящих предложений.

Одета она была совсем просто, в черном шерстяном платье, и видом своим и манерами походила скорее на англичанку, чем на русскую. Эта иностранная складка дана ей была воспитанием заграницей, где она пробыла с матерью несколько лет и где училась в одном английском пансионе… Вернувшись в Россию, она поступила на высшие женские курсы, блистательно окончила курс по математическому отделению и, несмотря на свое богатство, не особенно любила свет и не расположена была отдавать свое сердце многочисленным претендентам на ее миллион

приданого. Умная и большой скептик по натуре, она не доверяла людям и, главное, не находила «интересным» и, таким образом, дожила до двадцать девятой весны, никем серьезно не увлекаясь, хотя и кокетничая с мужчинами и дурача их, что ей доставляло не малое развлечение. Жизнь и общество, в котором она вращалась, не удовлетворяли эту девушку-скептика и притом самостоятельного характера. Она читала, училась, занималась благотворительными делами, рисовала по фарфору и по временам хандрила, чувствуя, что все эти занятия не наполняют жизни, и довольно трезво понимая причины этой беспредметной хандры, пошаливания нервов, беспричинных слез по ночам и каких-то томительно-сладких грез и мечтаний.

«Пора замуж выходить!» — нередко думала она и не знала только, на ком остановить ей свой благосклонный выбор и осчастливить своей характерной и независимой особой с миллионом в придачу. При этом предстояло не нарваться на какого-нибудь пошляка, с которым будет очень скучно, или на непорядочного человека, от которого придется убежать. Вообще всех возможных кандидатов в мужья, бывавших у них в, доме, возивших ей цветы, конфеты и разыгрывающих

влюбленных, она ценила не особенно высоко и находила их скучными, лживыми и не интересными. Однако, кокетничала с ними и, чувствуя потребность если не настоящей любви, то хотя бы ее суррогата, все-таки медлила, сокрушая этим мать, добродушное и бесцветное существо, и заставляя не раз задумываться боготворившего ее отца.

Как ни рад был он видеть дочь около себя, а все-таки находил, что его умнице «Сюше» давно пора замуж, не даром «эти нервы» в последнее время начинали пошаливать же более и более, и ни поездки в Крым и на Кавказ, ни обливания холодной водой, по совету модного доктора, не помогали и не избавляли Ксению Васильевну от хандры и, по временам, раздражительности.

И старик Трифонов приискивал подходящих, по его мнению, женихов и звал на свои «четверги». Однако, к крайнему его удивлению, никто из этих розовых и откормленных представителей хорошей мужской породы в виде красивых поручиков и штатских молодых людей не пленял сердца «Сюши». Она их находила и слишком глупыми и бессовестно молодыми. Тогда Трифонов привез Павлищева. Это был сорокапятилетний моложавый и румяный красавец, и умен, и ин-

тересен, и сиял яркой восходящей звездой на административном небосклоне.

И Ксения, по видимому, несколько заинтересовалась им.

Трифонов просветлел при виде своей любимицы.

Она приблизилась к нему своей быстрой, грациозной походкой и, звонко целуя отца, проговорила:

— Проспала — вчера зачиталась… А уж ты собираешься ехать? Я тебя не задержу…

— И задержишь — не беда. Присядь-ка… Здорова, Сюша? — спрашивал, любуясь дочерью, Трифонов.

— Как видишь, папа! — с веселой улыбкой отвечала Ксения и прибавила:- а я к тебе за деньгами; дай мне двести рублей, надо помочь одной барышне… Славная…

— Вот тебе, родная…

И Трифонов, вынув из бумажника деньги, подал их дочери и спросил:

— А у тебя самой есть деньги?

— Есть… Еще пятьдесят рублей есть… Остались от твоего жалованья…

— Так бери еще.

— Зачем? Мне не надо. Тратить не на что.

— Ишь ты какая бережливая у меня! — с нежностью заметил отец и прибавил:- а я, Сюша, новый завод собираюсь строить…

— Где? Здесь?

— На Урале. Большой механический завод. Будем рельсы катать и машины строить. Одобряешь?

— Конечно, одобряю. Тебе ведь скучно без какого-нибудь нового увлечения и новых хлопот! — улыбнулась Ксения.

— Именно. А это дело совсем новое, интересное. Вот летом съезжу на Урал. Начнем работы. Хочешь прокатиться со мной, Сюша?

— А с мамой кто останется? Борис уйдет в лагерь.

— А мисс?..

— Мисс Эмми? Ты разве не знаешь, какую нагоняет она тоску, эта мисс Эмми, когда старается занимать… Превосходная девушка, но скучна…

— И то правда, разумница… Ну, а вы с мамой куда летом?.. Еще не решили? Быть может, заграницу прокатитесь?

— Ох, папа! — заметила Ксения с кислой гримасой. — Надоело. Уж лучше на дачу.

— И там надоест.

— Куда-нибудь подальше, чтоб не встречать

петербургских знакомых… Тогда ничего.

Трифонов усмехнулся.

— Разборчивая ты, Сюша… Люди везде люди… Неужто так-таки тебе никто не нравится из наших знакомых?

— Ты, конечно, про мужчин спрашиваешь? — хитро улыбнулась Ксения.

— Хотя бы и про мужчин…

— Никто… Очень уж неинтересны, папа…

— То-есть, как неинтересны?

— Так. Все на один лад.

— А Павлищев?

— Твой Павлищев как будто любопытен. Не глуп и не ординарен… Он, ведь, кажется, твой кандидат, папа?

— Кандидат? — переспросил, несколько смущаясь, старик. — Что ты хочешь этим сказать, Сюша?

— Не хитри, пожалуйста, папочка. Точно ты не знаешь, что Павлищев твой кандидат в мои мужья, как этот красавец Сицкий — мамин!.. — рассмеялась Ксения. Я, ведь, поняла, зачем ты привел к нам Павлищева. Ну, однако, прости. И то тебя задержала! — прибавила она, поднимаясь с кресла.

— Нет, подожди, не уходи, Сюша… Поговорим,

уж если ты сама начала.

— Поговорим, папа… Я всегда рада с тобой говорить.

И Ксения снова поцеловала отца и опустилась в кресло.

— Положим, что ты, моя умница, и не ошиблась, — начал Трифонов.

— И не положим, а «скажем»!..

— Ну, скажем, будь по твоему, — весело подхватил отец:- разве Павлищев уж так и не достоин быть кандидатом?

— Ты что же торопишь меня замуж выдать.

— Пора бы, кажется, Сюша, — промолвил тихо старик и, после паузы добавил:- надеюсь, что и ты не собираешься остаться в старых девах?

— Не собираюсь, — ответила Ксения, и внезапно кровь прилила к ее ослепительно белой коже…

— А Павлищев, на мой взгляд, подходящий человек… Умный, дельный и…

— Будущий министр, папа… А я супруга министра? — перебила Ксения, и глаза ее заискрились насмешливым огоньком.

— Положим, и это не порок… Но я не то хотел сказать… Я хотел сказать, что Павлищев и добрый человек… Так, по крайней мере, мне кажется… И

ты ему, видимо, нравишься…

— Не заметила, чтобы очень, папа… Стану примечать и буду ждать объяснения! — рассмеялась Ксения… — Не отрицаю его достоинств и не отвергаю безусловно его кандидатуры, но прежде надо хорошо его узнать, а я, ведь, его так мало знаю!..

— Ну, ты скоро раскусываешь людей, Сюша.

— А вот Павлищева еще не раскусила… Что, он будет у нас сегодня вечером на «четверге»?

— Собирался. Я его видел вчера. Был у него в департаменте. Вот-то работает, не то, что наши чиновники… А знаешь, Сюша, Борщов у него место получил… чиновником по особым поручениям. Я очень порадовался… Что, был он у вас?.. Что-то давно его не видать?

— Давно не был! — промолвила Ксения и чуть-чуть покраснела.

— Вот этот молодой человек так совсем непохож на других! — заговорил Трифонов, чувствовавший слабость к Марку. — И умница, и работяга, и железного характера… Он пробьет себе дорогу в жизни… Вот уж и теперь очаровал Павлищева. А Павлищев умеет ценить людей… Надо бы послать за Борщовым, а то пропал совсем…

— Зачем посылать? — с живостью подхватила Ксения. — Он ведь знает, что все у нас к нему

хорошо относятся, и мог бы без зова прийти… Не идет, значит не хочет.

— Просто, занят… Ты, кажется, Сюша не очень-то долюбливаешь этого юношу?

— С чего ты взял? — несколько раздраженно отвечала Ксения. — Напротив, я его уважаю… Он очень оригинален и…

— И что еще?

— И несколько загадочен… Несмотря на свою юность, совсем не высказывается… Молчалив и, кажется, через чур много о себе думает… Гордыня в нем большая.

— И имеет право думать о себе! Я знаю его… Живет, как отшельник, работает, как вол, и аккуратен, как хронометр… Я как-то был в его келийке… Спартанская обстановка… За то книг…

— Много? — любопытно спросила Ксения.

— Много… Ты знаешь, что я ему давно предлагал хорошие место у себя?

— В первый раз слышу, папа. И он отказывался?

— Отказывался, предпочитая сидеть на 800 рублях казенного жалованья.

— Почему?

— Говорит, что предпочитает казенную службу, а за деньгами не гонится. Честолюбив!.. И поверь,

что скоро выдвинется. Я знаю, как он работает. Когда он был учителем у Бориса, я ему дал одну работу, и как он ее сделал… Восторг!.. Деловитый парень. Люблю таких… Редки они по нынешним временам… Ну, пора и ехать! — закончил Трифонов. — До свидания, Сюша.

Трифонов вышел из кабинета вместе с дочерью и спустился вниз.

Ксения отправилась к себе и заходила по своему кабинету. К крайнему своему удивлению, мысли ее заняты были Марком и ей почему-то было досадно, что он давно не был у них и не обращает, по видимому, ни малейшего внимания на нее, на эту избалованную общим поклонением девушку, которую все считают и умной, и остроумной и несколько боятся ее колкого языка.

А Марк, несмотря на видимое желание Ксении сблизиться с ним, стать на дружескую ногу и осчастливить юношу своими умными разговорами, не только не просветлел от такого счастья, но систематически и упорно уклонялся от всякой интимности и словно игнорировал девушку и два года назад, когда готовил Бориса, будучи студентом, и потом, когда изредка иногда заходил к ним. Постоянно холодно вежлив, приличен и ни малейшего желания хоть когда-нибудь вы-

сказаться, поговорить с ней, обратить на себя ее милостивое внимание!

Это, признаться, сперва удивило, а потом раздражило самолюбивую, гордую Ксению, искавшую «интересных» людей и не находившую их у себя в доме, раздражило и как девушку, считавшую себя умной и бесконечно выше окружающих, и как женщину, инстинктивно желавшую нравиться. И она, в свою очередь, стала относиться к Марку с полнейшим равнодушием, словно бы в ее глазах он был какая-то «мебель», и втайне, признаться, рассчитывала, зная хорошо мужчин, что это, наконец, заставит Марка хоть сколько-нибудь заинтересоваться ею и узнать, что она за человек.

Но, к изумлению и — надо правду сказать — к досаде Ксении Васильевны, этот загадочный и молчаливый юноша, лаконический и несколько решительный в своих редких приговорах, видимо уверенный в себе, нисколько не изменился и после перемены обращения Ксении, точно ему было совершенно безразлично, как она к нему относится.

Чувствовалась какая-то сила в этом человеке, и его самоуверенность, сдержанность и его полное равнодушие невольно импонировали и

разжигали в Ксении любопытство. Среди разных пошляков он действительно казался «интересным», этот серьезный, замечательно красивый Марк со своим спокойно-ироническим взглядом больших черных глаз.

В последнее время Ксения иногда о нем думала и с досадой ловила себя на мыслях о нем. Разумеется, и в помыслах она не представляла себе возможности выйти замуж за такого мальчишку. Но этот «мальчишка» словно дразнил ее, и в минуты, когда пошаливали ее нервы, никто другой, кроме Марка, не появлялся в ее не всегда целомудренных мечтах… Это ее злило… Она старалась не думать о нем и все-таки думала… И все ее существо трепетало в какой-то сладкой истоме, когда этот румяный и кудрявый юноша сжимал ее в своих объятиях во время томительно жгучих грез бессонных ночей и беспричинных слез, тихо, слеза за слезой, скатывающихся по заалевшим щекам девушки.

После таких «шалостей нервов», как называла Ксения эти грезы, она, при встрече с Марком, бывала еще холодней, чем обыкновенно, словно негодуя, что этот «мальчишка» смел хоть и втайне обеспокоить ее великолепную, уравновешенную и трезвую особу.

И теперь, разгуливая по комнате и думая о Марке, о котором напомнил отец, она должна была сделать усилие над собой, чтобы изгнать его из своей головы, и, надменно прищурив глаза, прошептать вслух не без раздражения:

— Слишком много чести!

«Пора, однако, выбрать мужа!» — подумала она и решила сегодня вечером серьезно наблюдать Павлищева и основательно пококетничать с «будущим министром».

Взглянув на часы, она подавила пуговку звонка, и когда явилась горничная, попросила ее принести шляпку и перчатки и приказать подавать карету. Она обещала быть до двенадцати у девушки, для которой взяла у отца деньги, и, аккуратная, боялась опоздать.

XII

Через месяц, после удачно сделанной операции, Марья Евграфовна уехала с сыном в Харьков, вполне простившая Павлищеву, примиренная и успокоенная. Будущность сына уже не пугала ее. У него, благодаря Павлищеву, будет кое-что на черный день и кроме того будет человек, который впоследствии о нем позаботится и поможет ему устроиться в жизни. Чувство отца все-таки сказалось и скажется впереди. Разумеется, эти сто рублей, которые Павлищев обещал давать ежемесячно, она будет тратить исключительно на Васю, на его образование, на учителей… Она даст отличное образование своему мальчику, посоветовавшись с знающими людьми. О себе, о своей разбитой личной жизни Марья Евграфовна совсем и не думала, охваченная вся любовью к сыну, и, уезжая из Петербурга, сохранила в своем добром сердце искреннюю благодарность к Павлищеву и, быть может, даже большее чувство. Он все-таки, хоть и поздно, но сознал свою вину и постарался ее загладить, и за то дай Бог ему счастья в жизни.

И Марья Евграфовна, растроганная и благодар-

ная, с глазами, полными слез, горячо пожимала руку Павлищеву, приехавшему к ней проститься, выражая ему добрые пожелания и благодаря за сына. Тронутый ее благодарностью и этим полным забвением его вины, Павлищев невольно подумал, что изо всех женщин, с которыми он встречался, только одна эта его искренно любила и, кажется, готова снова полюбить, сделай он только попытку. При взгляде на ее хорошенькое лицо, дышавшее свежей, здоровой красотой и выражением чистоты и целомудренности, у Павлищева в голове, как и в первое свидание, пробежала мысль: «не оставить ли ее в Петербурге?»

К тому же и увлечение Павлищева пикантной блондинкой после месяца частых свиданий стало остывать. Слишком оно дорого ему уже стоило и грозило дальнейшими тратами. И то за месяц она перебрала не мало денег и надоедала разными просьбами о сестрах и братьях, которых у нее оказалось подозрительно много. И вообще она была «проблематическая» дама, и, конечно, не один Павлищев пользовался ее благосклонностью. Он это понимал. Сделать же ее своей содержанкой, — для этого нужны не такие средства, какими он располагал. И этот странный, почти отсутству-

ющий муж-чиновник, и роскошь обстановки ее квартиры, и эти постоянные какие-то «дела», которыми она занималась, — все теперь казалось Павлищеву не совсем понятным и довольно странным. Эта очаровательная женщина уж через чур была деловита, юрка и таинственна и в качестве вакханки была такой же умелый и ловкий делец, каким была, казалось, и в жизни. Она умела «подать себя», умела «заинтересовать» самого развращенного мужчину, но во всем этом цинизме было что-то расчетливо отталкивающее. Павлищеву хотелось в «амурах» немножко поэзии, немножко любви или, по крайней мере, иллюзии…

А когда он заговаривал об этом с Анной Аполлоновной, та посмеивалась и говорила, что такая «роскошь» слишком дорого стоит для желающего ее безраздельной любви. Надо «вознаградить» мужа, удалив его куда-нибудь подальше в провинцию на порядочное место, надо предварительно «обеспечить» ее (она готова половину наличными, а половину векселями с каким-нибудь надежным бланком) и давать ей приличные средства.

— Видите, я откровенна, Степан Ильич, и на таких условиях охотно любила бы вас одного,

рискнув репутацией, — прибавляла, лукаво щуря глаза, молодая женщина…

Павлищев только пожимал плечами. Даже и его коробил этот цинизм Анны Аполлоновны. Она ведь не обыкновенная кокотка, а женщина с известным образованием и воспитанием. Отец ее был штатским генералом и, как знал Павлищев, не прерывал с ней сношений, был с ней в дружбе. Не знал только Павлищев, что этот папенька и место хорошее получил недавно, исключительно благодаря хлопотам дочери, и, конечно, понимал, стоимость этих хлопот.

— Что вы пожимаете плечами? Не довольны такими взглядами, Степан Ильич? Находите их, быть может, смелыми?

— Немножко смелы…

— Ну, а вы, господа мужчины, разве лучше нас и разве не такие же смелые, когда добиваетесь карьеры?.. И не такие же продажные, как и мы, грешные?.. Хоть бы, вот, пенсион моей сестры… Ну, полно, не хмурьтесь, Степан Ильич… Все мы хороши! Все мы продаем и душу, и тело ради благ земных. Только я откровеннее говорю об этом — вот и вся разница! — прибавила Анна Аполлоновна, громко расхохоталась и подарила Павлищева жгучим взглядом, от которого он

совел и впадал в мечтательно минорное настроение человека, задетого за живое женщиной.

— Странный вы человек, Анна Аполлоновна… И большой хищник… Смущаете вы нашего брата… Скажите откровенно: любили ли вы когда-нибудь… бескорыстно… были вы влюблены?

— А вы, Степан Ильич? — насмешливо спросила молодая женщина.

— И любил, и был влюблен! Всего было.

— Ну, признаться, я сомневаюсь, чтоб вы могли любить…

— А вас?..

— Полно глупости врать. Точно я не понимаю, что вы во мне любите. Вы такой же свинья, как и другие мужчины — простите за выражение.

— Ну, положим, вы правы. В вас я только люблю прелестную женщину… Но вы не ответили на мой вопрос: любили ли вы кого-нибудь?

— Любила.

— Любили, а теперь никого не любите?

— Люблю себя, люблю блеск, роскошь и богатство. Кто мне доставит все это, того и я полюблю…

— Вы клевещете на себя, Анна Аполлоновна, — заговорил Павлищев, впадая в тон человека, удивленного таким цинизмом. — Разве можно

так рассуждать и разве можно в ваши годы быть такою материалисткой? Вы, ведь, женщина, и разве сердце ваше…

— Да бросьте этот тон проповедника, — со смехом перебила молодая женщина. — Ни вам говорить, ни мне слушать… И не представляйтесь обиженным… Я знаю причину вашей обиды — я не еду сегодня с вами ужинать… Не могу, мой милый проповедник… А насчет того, что я женщина и что любить мне, как вы говорите, хочется, так, ведь, этому горю легко помочь… Всегда можно найти объект для такой любви… какого-нибудь неопытного, краснощекого юношу без гроша в кармане, но с горячей любовью — со смехом прибавила Анна Аполлоновна.

— Вы невозможны! — воскликнул Павлищев и любопытно спросил:- и у вас есть такой юноша?

— А вам зачем знать?

— Любопытно.

— Ну, так я вам не скажу. Быть может, есть, а быть может, и нет…

* * *

Все эти воспоминания невольно пронеслись у Павлищева в то время, когда он сидел в маленькой меблированной комнате у Марьи

Евграфовны. И он снова задал себе вопрос: «Не оставить ли ее в Петербурге?» Но что-то ему внутри подсказало, что эта скромная женщина не сделается его любовницей и согласится быть лишь его женой. Он знает ее гордость. Да и мысль о брате ее, Марке, несколько смущала его. И его превосходительство не без некоторого сожаления расстался с этой мыслью и, прощаясь с Марьей Евграфовной и долго целуя ее руку, проговорил не без чувства:

— Помните же, мой друг, что я всегда к вашим услугам… Давайте вести и о себе, и о Васе…

Он расцеловал мальчика и ушел, сознавая, что расстается с единственной женщиной на свете, которая его горячо и искренно любила, и жизнь которой он так бесчеловечно разбил.

Почти одновременно с Марьей Евграфовной выехал из меблированных комнат и Бугаев с женой и детьми, получив порядочный куш подъемных и за три месяца вперед жалованье. Эти деньги позволили ему расплатиться с петербургскими долгами, обшить семью и, кроме того, оставалось еще на дорогу и на первое обзаведение в далекой Сибири, где он получил место. Нечего и говорить, как была рада эта бледная, истомленная, болезненная жена Бугаева за окончание

петербургских мытарств и как она благодарила Марью Евграфовну, не сомневаясь, что муж получил назначение, благодаря лишь ей. Сам Бугаев ходил гоголем и давал слово жене попасть теперь в «точку», настоящую «петербургскую точку» и служить, как требуется «петербургским начальством», и особенного «патриотизма» не обнаруживать. Бугаев тем охотнее обещал это, что сам Павлищев, давая ему назначение и относительно довольно приличное (три тысячи) жалованье, предупредил его, что малейшее злоупотребление или превышение власти с его стороны, и он будет уволен…

— Советую вам, господин Бугаев, помнить это хорошенько! Мне, ведь, известно, из-за какого «патриотического образа мыслей» вы были уволены, — прибавил его превосходительство внушительно и несколько брезгливо, подчеркивая слова: «патриотический образ мыслей». — Под этой вывеской нынче много творится безобразий, и я их не потерплю.

Бугаев старался уверить, что он теперь «уразумел в горниле испытаний свою, так сказать, бестактность и впредь надеется оправдать лестное доверие его превосходительства».

Это уверение не мешало, однако, господину

Бугаеву думать о «поправке», которую можно сделать в далеком и захолустном крае. Слышал он, как там наживаются умные люди. Надо только не очень накидываться и действовать осторожно. И все будет шито да крыто. Сибиряки народ смирный, привыкший ублажать чиновников!

Пора, в самом деле, ему стать на ноги и кое-что прикопить.

Так приятно мечтал господин Бугаев, выходя из департамента веселый и радостный, с твердым намерением не пострадать более за свой «патриотизм».

XIII

В этот «четверг» в роскошных апартаментах Трифонова собралось, по обыкновению, довольно большое и пестрое общество. Кто приехал повинтить, кто — специально поужинать, кто просто не знал, куда деваться, и отправился к Трифоновым. Люди молодые и холостые, рассчитывающие, что имеют какие-нибудь шансы понравиться Ксении, приезжали исключительно для нее. Два-три дельца завернули к Трифонову внимания ради и в надежде встретить кого-нибудь из административных звезд или звездочек, которые, случалось, приезжали на часок, на другой.

В одной из комнат играли на двух столах в карты, а в большой голубой гостиной, куда гости перешли после чая из столовой, шла обычная «жур-фиксная» болтовня. Сама Трифонова, белокурая, с вялым и болезненным лицом пожилая женщина, сидела на диване рядом с двумя пожилыми дамами, видимо тяготясь и ролью хозяйки, и обязанностью занимать этих дам. Ксения с одной скромной на вид барышней сидела в дальнем уголке за трельяжем, окруженная несколькими кавалерами, среди которых выдавался своей

красотой и сверкающими зубами князь Сицкий, кандидат в мужья, покровительствуемый матерью. Остальные гости маленькими группами рассеяны были по гостиной. Разговор то затихал, то оживлялся, если кому-нибудь из гостей вдруг удавалось выдавить из себя хоть что-нибудь похожее на остроумие или сообщить что-нибудь более интересное газетных известий и театральных сплетен. Впрочем, все это уже было сообщено за чаем, и «жур-фикс» был в том периоде, когда для оживления удрученных горстей требуется певец или певица… Но ни того, ни другой не было. Ждали известного тенора Кашкина и новую певицу Аркадьеву, новую, по крайней мере, для Петербурга, хотя и известную в провинции, ту самую, которая жила в меблированных комнатах, рядом с Бугаевым, и была «открыта» каким-то знакомым Трифоновых, обещавшим ее привезти.

В этой гостиной были, разумеется, и те «безмолвные» гости, «статисты» жур-фиксов, которые во весь вечер не проронили ни одного слова и только напряженно улыбались, словно в ответ на вопрос: зачем они явились сюда? И, однако, это были самые упорные посетители; один старичок и один молодой, скромного вида человек, который весь вечер играл своим пенсне и добро-

совестно отсиживал, уходя последним.

В кабинете у хозяина беседа шла оживленнее. Слегка фрондировали, слегка удивлялись «положению вещей» и бранили господ чиновников. И при этом приводили анекдоты невероятного характера. Рассказывали о каком-то деятеле, не знавшем, что такая-то река судоходна, и потому отказавшем в ходатайстве об устройстве пароходства, говорили о легкомыслии другого, хихикали и посмеивались.

Особенно горячо нападал Трифонов, доказывая, что чиновники губят всякое дело. Низенький, маленький, волосатый грек Зунди, известный богач, довольно ухмылялся своими глазами — черносливами, а высокий худой блондин, директор какого-то завода, от удовольствия потирал свои длинные и костлявые руки… Только один старый инженер, слегка оппонировал, когда уж слишком нападали на канцелярии…

— Нельзя без них, господа… Право, нельзя, Василий Захарович. Ты, брат, слишком увлекаешься…

— А я скажу, что если б их вовсе не было, то все бы вздохнули! — горячился старик.

Ксения, видимо, была не в духе и, в ответ на комплименты князя Сицкого, говорила колкости,

словно бы щеголяя мастерством говорить их в очень изящной форме. Сегодня не было никого, сколько-нибудь интересного. Эти «болваны», как она мысленно называла окружавших ее кавалеров, порядочно-таки надоели.

По счастию, приехал тенор, и его скоро засадили петь.

Все облегченно вздохнули, что можно перестать говорить, и слушали действительно мастерское пение певца. Пришел слушать и Трифонов.

После громких рукоплесканий, певец, по просьбе Ксении, стал петь еще романс…

Ксения слушала в восторге, и когда он кончил, она (подняла голову. В гостиную входил Павлищев и за ним Марк.

Глаза Ксении радостно блеснули, и голос ее зазвучал как-то весело, когда она проговорила Павлищеву:

— Очень рада вас видеть, Степан Ильич!

И вслед затем сухо и холодно протянула руку Марку.

Несколько слов приветствия хозяйке дома, любезные рукопожатия направо и налево, минут пять дружеского разговора с Трифоновым, и его превосходительство, ловко, увильнувши от миллионера Зунди, хотевшего, было, завести

деловой разговор, подошел к Ксении и присел около, как-то особенно дружески пожав руку князю Сицкому.

С появлением Павлищева, молодые люди, бывшие около девушки, незаметно отошли. Оставался только князь Сицкий, молодой, стройный и изящный офицер, ослепительный брюнет, с большими черными глазами, слегка на выкате, сверкающими белизной зубами и свежим румяным лицом, черты которого были классически правильны и тонки. Он уже более года охотился за «красным зверем» с упорством человека, рассчитывавшего женитьбой разделаться с долгами, поправить свои дела и иметь возможность вести широкий train жизни, и не без увлечения разыгрывал упорно влюбленного, надеясь обаянием своей красоты увлечь эту «ученую» миллионершу «зрелых лет». Не даром же его звали «le beau Сицкий», восхищались им, и многие дамы баловали его своим исключительным вниманием. Слегка кокетничала с ним и Ксения, хотя и находила его не умным и банальным. Кокетничала и третировала его, не доверяя искренности его чувств, и несколько удивлялась его долгому и упорному ухаживанию, словно он надеялся в конце-концов победить ее сердце своим посто-

янством и своей несколько наглой красотой. Он еще не решался делать предложения, но Ксения чувствовала, что это скоро будет. Она видела, что и мать и брат покровительствуют ему, то и дело нахваливая его Ксении и указывая на его искреннюю привязанность.

Сицкий заметил и радостную улыбку Ксении при появлении в гостиной Павлищева, слышал, как она сказала, что очень рада его видеть, и принял несколько сосредоточенный мрачный вид ревнивого влюбленного и в душе готов был перервать горло Павлищеву, чувствуя в нем конкурента и, пожалуй, опасного.

«Сорокалетние» нынче в моде. Этот выскочка и «проходимец», каким считал Павлищева молодой офицер по праву своего происхождения чуть ли не от Рюрика, занимает высокое положение и, черт его знает, того и гляди будет министром. И вдобавок, вполне приличен, умеет держаться в обществе и говорит так красноречиво, что ему, князю Сицкому, нечего с ним и тягаться. За князем остается молодость и красота, и если Ксения не «рыба» по темпераменту, то, разумеется, должна предпочесть его… На кой черт ей выходить замуж за человека второй молодости? Она богата… Ей гораздо лучше быть княгиней

Сицкой, породнившись с такими людьми, к которым этого Павлищева и не пустят, несмотря на его административное положение…

Такие мысли пробегали в голове красавца-князя, когда Ксения, не обращая на него ни малейшего внимания, словно его и не было, занялась исключительно Павлищевым и весело и оживленно, с какою-то нервной приподнятостью, болтала с ним, щеголяя и блеском фразы, и насмешливым скептицизмом. В то же время она, по временам, бросала быстрые взгляды на другой конец гостиной, где сидел Марк и с обычным своим равнодушным спокойствием слушал одного из гостей, не обращая, по видимому, никакого внимания на остальных. Однако, Марк незаметно перехватил один из взглядов Ксении и про себя усмехнулся, точно записал в своем уме что-то, подтверждавшее его предположения, и, в свою очередь, раз или два взглянул на оживившееся умное лицо своего патрона, о чем-то горячо говорившего Ксении. В шуме разговоров в гостиной до Марка долетали только отдельные слова.

«Обрабатывает барышню!» — подумал Марк, и на его лице скользнула насмешливая улыбка.

Действительно, Павлищев был сегодня в ударе. Сперва он заговорил, было, с Ксенией с той почти-

тельною любезностью и тем, слегка небрежным шутливым тоном, с каким вообще говорил с женщинами, считая, что они и не любят, и не умеют вести серьезных разговоров, но, заинтересованный некоторыми тонко-насмешливыми замечаниями девушки, в которых чувствовались и ум, и понимание людей, и оригинальность взглядов, он про себя подумал: «Однако, вот ты какая, миллионная невеста, ты во всеоружии мне и не показывалась!», и сам как-то подтянулся и заговорил с Ксенией уже иначе, полный самолюбивого кокетства мужчины, который не прочь понравиться женщине.

— Так вы думаете, Ксения Васильевна, что мы в самом деле люди, у которых ni foi, ni loi… Не верим в то, чему служим, и готовы служить, чему угодно. Одним словом, — «люди двадцатого числа»! — говорил, между прочим, Павлищев, задетый за живое Ксенией, которая нарочно его поддразнивала. — Однако, какие у вас пессимистические взгляды на нас, бедных.

— А разве это не так? — вызывающе бросила Ксения.

— Не совсем так. Есть немножко и правды в ваших словах, согласен: мы поневоле иногда должны идти на компромиссы. Что делать? Без

этого нельзя при тех условиях, в которых мы живем. Но, тем не менее, так или иначе, а мы в конце-концов, по мере сил, желаем добра и, насколько возможно, его делаем или, по крайней мере, стараемся делать.

— Во имя чего?

— Разве не все равно, во имя чего? Во имя ли самого добра, an und für sich, как говорят немцы, или во имя других каких-либо побуждений… Только бы дело делалось…

— А вы, например, во имя чего работаете, говорят, по четырнадцати часов в сутки и заставляете работать своих чиновников?

— Это что: допрос строгого следователя? — улыбнулся Павлищев.

— Просто женское любопытство и желание познавать людей! — насмешливо проговорила Ксения.

— А вы их любите изучать?

— Очень. Это так интересно.

— Извольте. Пополню ваш материал, Ксения Васильевна, если вам этого хочется… Я честолюбив.

— Вас, значит, манит власть, только власть?

— И власть, и возможность при ней что-нибудь сделать. И то, и другое.

— Вы не боитесь разочарований? Не думаете, что гонитесь за миражем?.. Сами же вы говорили о компромиссах и о «разных условиях». Значит, вы верите в свои силы? — допрашивала Ксения.

— Конечно, верю! — не без горделивого чувства ответил Павлищев.

— Счастливый вы, следовательно, человек, Степан Ильич! — промолвила как-то загадочно, не то серьезно, не то иронически, Ксения, не вполне доверяя его словам и чувствуя в нем не столько человека, желающего принести какую: то пользу людям, сколько умного беспринципного карьериста и, вдобавок, большого эпикурейца, несмотря на его шумливую деятельность, о которой кричали в городе и указывали, как на какое-то диво.

По крайней мере, лицо Павлищева, выхоленное и слегка рыхлое, и эти мягкие лучистые глаза, и этот округленный подбородок, и толстоватые губы — все, казалось, говорило об его эпикурейских наклонностях. Вдобавок, Ксения перехватила его любопытно-внимательный быстрый взгляд, скользнувший по ее худощавому бюсту и точно мысленно оценивающий его достоинства. И взгляд этот, быстро отведенный, казалось, был совершенно равнодушен.

«Не нравлюсь будущему министру! Видно, он

таких худых, как я, не любит!» — подумала Ксения и не. ошиблась. Его превосходительство не нашел ничего «обещающего» в ее тонком и гибком стане, хотя обратил некоторое благосклонное внимание на ослепительную белизну ее шеи, на своеобразную миловидность подвижного и умного лица и на насмешливые серые глаза. Но миллион приданого значительно умалял в глазах Павлищева недостатки девушки, и он подумал про себя, что такая умница-жена отлично бы вела салон и, вообще, производила бы впечатление своей оригинальностью и смелостью взглядов.

«Только эти худые — очень страстные натуры! Пожалуй, заведет себе юнца-любовника в помощь мужу!» — закончил свои мгновенные соображения Павлищев и ответил:

— Несчастным себя не считаю, Ксения Васильевна.

— Это и видно… Впереди вам все улыбается… Будете министром…

— Ну, до этого еще, во всяком случае, далеко, Ксения Васильевна! — улыбнулся Павлищев с той напускной скромностью, которая говорила, что он не совсем убежден, что это уж так далеко…

— Женитесь на какой-нибудь красавице-аристократке…

— Почему именно на аристократке?

— Нужно увенчать здание! — рассмеялась Ксения.

— Прежде нужно кого-нибудь полюбить и быть любимым, Ксения Васильевна.

— Будто уж это так необходимо?

— А то как же? — промолвил Павлищев и сделал удивленные глаза, точно не понимая возможности жениться не по любви.

— Так же, как большинство женится: немножко любви, побольше расчета и… счастливая пара готова.

— Я в этом отношении старовер, Ксения Васильевна… Я в делах чувства человек…

— Не двадцатого числа? — с- улыбкой перебила Ксения.

— Совсем нет… И это тем более опасно, что возраст мой не дает мне прав на те надежды, которые питают молодых людей, не подавая отрады старцам! — шутливо промолвил Павлищев.

— Не напрашивайтесь на комплимент, Степан Ильич. Я их не говорю…

— Давно заметил, что вы их не говорите, и не напрашиваюсь… Но, ведь, лет из жизни не вычеркнешь.

— А вам их сколько?

— Целых сорок пять.

— Самый модный возраст! — проговорила Ксения, взглядывая улыбающимися веселыми глазами на Павлищева и словно лаская и в то же время поддразнивая ими. — И особенно при…

Она на секунду остановилась и прищурила глаза.

— При чем? — спросил Павлищев, вообразивший почему-то, что эта девушка не без намерений допрашивает его и, конечно, пойдет за него замуж, если он серьезно за ней приударит.

— При вашем положении и при ваших розовых надеждах! — прибавила со смехом Ксения…

— При положении? — с комическим сожалением переспросил Павлищев… — Благодарю покорно, Ксения Васильевна! Значит, без положения модный возраст теряет свою моду?.. А что ж?.. Вы только подтверждаете мои слова… Вот счастливцы, которым не надо положения, чтоб их любили! — промолвил Павлищев, указывая взглядом на кружок молодых людей, среди которых были молодой Трифонов, Марк и князь Сицкий, уже оставивший свое место около Ксении и бросавший теперь на нее мрачные взгляды.

— Ну, судя по их лицам, и они не особенно

счастливы… Особенно этот господин Борщов… Он, кажется, у вас служит?

— Как же, у меня… Большой он умница и замечательный работник… Он далеко пойдет… Оригинальный характер…

— Д-да?.. — протянула Ксения и, поднимаясь, прибавила:- Однако, пойдемте к гостям, а то вы совсем завладели моим вниманием, Степан Ильич…

— И вы раскаиваетесь?

— Напротив. Жалею, что обязанности хозяйки не позволяют мне еще поболтать с вами… Я люблю умных людей и надеюсь, что мы с вами еще поспорим, если вы когда-нибудь завернете к нам не в четверг…

Павлищев почтительно поклонился.

Он уехал, не дождавшись ужина и сославшись на работу; прощаясь с Ксенией, он сказал, что непременно воспользуется ее позволением поспорить с ней и «реабилитировать людей 20-го числа» и сорокалетнего возраста — прибавил он со смехом, крепко пожимая руку Ксении.

XIV

Мысль об «увенчании здания», как назвала Ксения будущую женитьбу Павлищева, засела гвоздем в его голову. Взвесив все обстоятельства, его превосходительство решил, что брак с Ксенией был бы вполне приличен для будущего министра, а миллион приданого только увеличит его шансы к более быстрому достижению заветной цели. Богатство — сила, и с ним власть еще сильнее и независимее. Это само собою понятно. И связи устраиваются скорей при возможности открытой и широкой жизни… А теперь много-ли он получает? Каких-нибудь пятнадцать тысяч, из которых полторы тысячи в год надо платить за «ошибка молодости». При его вкусах ему еле-еле хватает. И ни гроша не отложено… Есть только долг, правда небольшой, всего пять тысяч, который он сделал, чтоб доложить к бывшим у него пяти тысячам и отдать эти деньги Марье Евграфовне… а при женитьбе у него будет, кроме жалованья, 40,000 годового дохода. С такими деньгами можно жить.

Разумеется, он предпочел бы «увенчать здание», женившись хотя и не на такой богатой, но

за то на девушке из аристократической семьи. Это еще более укрепило бы его положение. Что там ни говори, а с аристократами надо считаться, и быть своим среди лиц более или менее близких к высокопоставленным особам — это большой козырь в руках у умного человека. Чего иногда нельзя достигнуть знанием, энергией, умом, работой, можно, подчас, добиться каким-нибудь во-время сказанным словом… Вся ненависть этих господ-аристократов к администраторам из выскочек, из «проходимцев», как они презрительно их называют, сразу бы исчезла при подобной женитьбе и заменилась бы поддержкой «своего» по жене.

Но Павлищев отлично сознавал, что такого брака ему не устроить и что за него, за сына какого-то уездного учителя, не отдадут девушки из тех «сливок» высшего общества, на которой стоило бы жениться, будь он хоть и теперь министром. У этих господ сохранились еще дикие понятия, и они в самом деле считают себя людьми белой кости, забывая, что русский аристократизм весьма недавнего, а часто и проблематического происхождения, и что Петр Великий таскал за бороды и дубасил предков этих самых «сливок» так же беспрепятственно, как и обыкновенных

смертных.

Такие «исторические воспоминания» приходили в голову «разночинца» Павлищева, когда он не без досады отказывался от своих смелых мечтаний породниться с аристократией и, в конце концов, решился обратить серьезное внимание на Ксению.

Она девушка настолько миловидная, что никто не может сказать, будто он женился исключительно из-за денег — можно подозревать и немножко любви, следовательно, «апарансы» соблюдены. Она несомненно умна, и, пожалуй, даже более, чем следует для жены, и, конечно, не устроит из семейной жизни ада и сумеет быть на высоте всякого положения… Несколько резкие взгляды ее — не беда. Они явятся пикантным соусом в болтовне салона. Это будет даже не лишено оригинальности. Бывали же у высокопоставленных лиц будирующие жены… И на счет возможности «друга дома» (конечно, в будущем — не без горделивой игривости подумал его превосходительство, чувствуя себя еще вполне молодцом-мужчиной) Павлищев не особенно беспокоился, рассчитывая, что Ксения настолько умная и благовоспитанная женщина, что сумеет устроиться в этом отношении с соблюдением

всех приличий, не поставит мужа в смешное положение какой-нибудь сумасбродной выходкой и не наградит его чужими детьми.

Разбирая, затем, достоинства Ксении, как женщины, с обстоятельностью и цинизмом развращенного и тонкого ценителя, Павлищев хоть и не был удовлетворен — особенно его смущала худоба и, как он выражался, «плоскость пейзажа» — но утешал себя мыслью, что после свадьбы она, Бог даст, пополнеет, и он, посоветовавшись с докторами, устроит ей такой режим, чтоб она нагуляла себе тела и расцвела. Наука нынче до всего дошла — стоит только внимать ее советам. А помимо этого недостатка, Ксения ничего себе: довольно свежа, несмотря на свои двадцать восемь лет, и, по временам, даже бывает пикантна со своим насмешливым, подвижным лицом и прищуренными глазами. Замуж, небойсь, деве очень хочется! Это видно.

И Павлищев, несколько самоуверенно для своих лет считавший, что представляет собой довольно «интересную» партию и может понравиться богатой невесте и как красивый мужчина, стал чаще бывать у Трифоновых, ухаживая за Ксенией с тонким мастерством умного и знающего женщин человека, не забывающего свои сорок

пять лет и не разыгрывающего смешной роли влюбленного рыцаря, в роде Сицкого. Он рассчитывал поймать «золотую рыбку» на приманку, совсем не похожую на те общеупотребительные и старые, как Божий свет, какими обыкновенно стараются поймать богатых невест зрелого возраста с пошаливающими нервами и с скептическим характером молодые люди.

И Павлищеву по началу казалось, что «золотая рыбка», несмотря на свою осторожность, начинает слегка «клевать».

Он раза два в неделю — не чаще — приезжал прямо из департамента запросто обедать, встречая неизменный радушный прием. Был рад и старик, лелеявший надежды, что Павлищев понравится «Сюше». Радовалась теперь и жена. Эту бесцветную, болезненную и необыкновенно кроткую женщину Павлищев обворожил любезностью и вниманием, и она теперь уж перестала покровительствовать князю Сицкому и искренно желала брака своей дочери с этим изящным и красивым, умным и солидным «будущим министром», который, разумеется, не растратит «Сюшиных» денег и никогда не сделает ее несчастной. Не такие годы! И наконец звание министра стоит княжеского титула.

И сама богатая невеста, казалось, рада была обществу Павлищева и, слегка кокетничая и изучая во всяком случае «интересного» человека, охотно с ним болтала в своем маленьком кабинете час-другой после обеда, когда старик Трифонов без церемонии уходил отдыхать, а мать, у которой часто бывали мигрени, удалялась с англичанкой, мисс Эмми, на свою половину. Что же касается до Бориса, то он, обыкновенно, куда-то исчезал тотчас после обеда.

Никаких влюбленных разговоров Павлищев не заводил и даже не начинал «теоретических» бесед о чувствах, сидя в маленьком кресле, в почтительном отдалении от Ксении, хотя уже ездил к Трифоновым третий месяц. Напротив, он водил с Ксенией больше умные разговоры о литературе, о политике, об искусстве, посвящал ее во все свои служебные дела и часто жаловался на тяжесть своего положения, на то, что его заваливают работой, объясняя с какой-то чисто дружеской и веселой интимностью, что он рад отвести душу и забыть на время дела, болтая с такой умной девушкой.

Это несколько удивляло Ксению, ожидавшую от Павлищева обычной манеры ухаживания мужчин с разговорами о чувствах, с комплиментами,

с этими, как будто «нечаянными», взглядами, полными очарования, отводимыми при встрече и словно захваченными врасплох, или с упорными взорами безнадежной любви мрачного страдальца, или с нагло-продолжительными пожатиями рук и почтительно-красноречивыми их поцелуями. Удивляло и вместе с тем льстило ее громадному самолюбию. В самом деле, человек, о котором кричали в Петербурге, как о выдающемся административном таланте, и громко называли будущим министром, не только говорит с ней как равный с равным, но видимо находит удовольствие в этих разговорах и, подчас, соглашается, что он не прав и считает себя побежденным. «Во всяком случае, он очень умный человек и охотится за мной с искусством, если только, в самом деле, думает сделать предложение. Для того, конечно, он и ездит!»

И, слушая однажды историю его жизни, слушая, как он из ничтожных чиновников, благодаря лишь случаю, выдвинулся, не имея никакой протекции, никаких связей и обязанный всем своей энергии и труду, Ксения проникалась к Павлищеву уважением, считала его недюжинным человеком и сама с ним становилась проще и интимнее, не столько на стороже, в качестве наблюдатель-

ницы, как прежде, и, доверяя его рассказам, считала его уж не совсем «человеком 20 числа», а честолюбцем, который мог бы принести себя на алтарь отечества во имя пользы и добра, при известной нравственной поддержке. Человек он во всяком случае честный и порядочный, — предполагала Ксения. Знакомая с его автобиографией без многих «ошибок молодости», предусмотрительно опущенных его превосходительством, как излишняя подробность, и не знавшая всей беспринципной податливости Павлищева, уже доказавшего при двух министрах, что можно с одинаковой талантливостью обсуждать вопрос с совершенно двух противоположных сторон и быть, так сказать, административным «homme à tout faire» — Ксения поддалась своей любви ко всему не совсем обыкновенному и интересному и если и не поощряла прямо, то не препятствовала Павлищеву быть с ней на дружеской ноге и поверять ей все свои служебные и иные огорчения и горести, выслушивая их без обычной своей насмешливости, а напротив, с ласковым участием.

И, порой, в ее самолюбивой головке бродили мечты о роли Эгерии будущего министра. Эта роль нравилась ей. Она могла бы быть его помощницей и вдохновительницей, не показывая ему

этого и не оскорбляя мужского самолюбия. Она сумела бы удержать его на высоте положения и не дать ему сделаться только рабом честолюбия. Ее богатство помогло бы этому. Можно сделать много добра и хорошего вместе. Можно не бесследно прожить, направляя власть в хорошую сторону.

Так мечтала иногда Ксения, находясь, сама того не замечая, под влиянием Павлищева и его разговоров, что власть далеко «не мираж, как многие думают.» И он посвящал ее в те закулисные тайны административного храма, которые как будто и подтверждали справедливость его слов.

И как муж, он казался ей недурным мужем… Он, кажется, мягкий человек и недурен собой… Конечно, не молод, но странно было бы ей выйти за какого-нибудь мальчишку. Размышляя об этом, Ксения невольно вспоминала Марка и краснела, чувствуя досаду и какую-то неприязнь к этому «мальчишке». Вероятно, и не ревнив, да и некогда ему будет ревновать, и к тому он умен и понимает сущность ее кокетства, которое никогда не переступит известных границ. Одним словом, брак с Павлищевым не вызывал в Ксении никакой физической брезгливости, и она все более и более осваивалось с этою мыслью

и ожидала, когда Павлищев удостоит ее своим признанием и *как* именно он это сделает. Это во всяком случае любопытно.

Павлищев хорошо видел, что «золотая рыбка» теперь уж совсем «клюнула» и что родители очень желают этого брака. В городе уже говорили о свадьбе, как о деле решенном, и многие коллеги завидовали этому счастливцу, который решительно родился в сорочке: и делает блестящую карьеру, и женится на миллионе.

И в одно веселое, весеннее воскресенье, его превосходительство ехал к Трифоновым с намерением сделать предложение, заранее уверенный в согласии.

XV

Павлищев застал Ксению одну. Ни отца, ни матери не было дома, и его превосходительство обрадовался, что можно будет объясниться без помехи наедине. Уж в уме его готова была маленькая влюбленная речь, которую он скажет, непременно скажет сегодня. Нечего откладывать этого дела в долгий ящик.

Такие мысли мелькали в голове Павлищева, пока он дожидался Ксении в гостиной. Вот и она — необыкновенно моложавая, свежая и хорошенькая сегодня в своем светлом нарядном платье, с оживленным, умным лицом, нежность и белизна которого оттенялись роскошными белокурыми волосами, собранными в виде коронки на маленькой, красиво посаженной, слегка приподнятой головке. На вид Ксении нельзя было дать более двадцати трех-четырех лет.

«Совсем англичаночка» — подумал Павлищев, почтительно кланяясь.

— Отчего не были в четверг у нас, Степан Ильич? Опять заработались? — спрашивала Ксения с обычною дружескою приветливостью, подходя к Павлищеву своей быстрой грациозной походкой

и протягивая руку. — Из-за вас я проскучала весь вечер. Не с кем было спорить! — прибавила, она с веселой улыбкой, щуря слегка глаза.

Павлищев сегодня как-то особенно продолжительно поцеловал эту маленькую, узкую, тонкую и ослепительно белую ручку, на мизинце которой горел рубин, осыпанный бриллиантами, и проговорил:

— Был спешный доклад министру… Он ведь у нас нетерпеливый… Я просидел всю ночь и не мог вырваться… А как хотел, если б вы знали…

И, словно бы очарованный, не спуская восхищенного взгляда с Ксении, неожиданно промолвил, слегка понижая голос:

— И как же вам идет это платье, Ксения Васильевна!

— Очень рада, что оно вам нравится. У вас есть вкус! — смеясь, отвечала Ксения. — Садитесь-ка, Степан Ильич… Поболтаем! — прибавила она, опускаясь на диван.

Павлищев сел в кресле напротив и несколько мгновений молчал.

И эти значительные поцелуи руки, и это молчание, и несколько торжественный и сосредоточенный вид прифранченного и благоухающего Павлищева, обыкновенно веселого и легко завя-

зывающего разговор, не оставляли сомнения, что Павлищев явился с формальным предложением. Хотя Ксения и ждала его, но теперь, когда приходилось давать ответ, она втайне была смущена и сама вдруг притихла, в ожидании объяснения, возбуждавшего в ней интерес наблюдательницы и в то же время несколько пугавшего девушку. Почти решенный ею вопрос о возможности брака с Павлищевым теперь, когда эта возможность могла сделаться фактом, снова явился вопросом. Павлищев нравится ей: он умен и интересен, но ведь не влюблена она в него, и он, конечно, не влюблен, а хочет сделать партию… Не он желанный в ее грезах и мечтах… Не он, а другой, не обращающий на нее никакого внимания… А если бы и обратил? Не дура она, в самом деле, чтоб женить на себе мальчишку… Ей двадцать восемь, ему, кажется, двадцать четыре! Это невозможно, глупо, смешно… А она пуще всего боится быть смешной.

И Ксения, снова колеблющаяся, снова не решившая: быть ли ей вдохновительницей будущего министра и женой этого моложавого пожившего эпикурейца, бросив на него взгляд, заметила и веерки под глазами, и рыхлость выхоленного румяного лица, и едва заметное брюшко…

— Ну, какие у вас новости сегодня? — заговорила Ксения, чтоб поскорее прервать молчание. — Ваше мнение, о котором — помните? — вы говорили, — восторжествовало или нет?..

— Я приехал к вам с самой необыкновенной новостью, которая, боюсь, вас поразит, Ксения Васильевна! — отвечал Павлищев значительно и серьезно.

«Начинается» — подумала Ксения и спросила:

— Какая это поражающая новость?

— Сказать, что я решаюсь, несмотря на свои годы — ровно сорок пять, — подчеркнул Павлищев, — сделать предложение одной девушке. Одобряете или нет?

— Это зависит от того, кому вы собираетесь делать предложение…

— Но мои годы?..

— Не кокетничайте своими годами…

— Не буду и продолжаю… Девушка эта очень милая и умная, с которой, мне кажется, жизнь станет и светлее, и краше… У меня нет никого близкого, ни одной души, с которой я мог бы поделиться мыслями, сомнениями; нет существа, которое поддержало бы меня в минуты уныния, слабости, неуверенности в своих силах… А нашему брату это так нужно, — продолжал Павлищев,

и голос его звучал, казалось, искренностью, и глаза так почтительно-нежно смотрели на Ксению. — Кто же поддержит, как не друг-женщина?.. Кто скажет правду в глаза, как не она!? А ведь правда так нужна подчас нам, которым никто ее не говорит… Не так ли?..

— И вы… вы, конечно, влюблены в эту девушку? — промолвила, вместо ответа, Ксения, поднимая на Павлищева свои улыбающиеся недоверчивые глаза.

Она догадалась, конечно, кто эта «милая девушка», и была очень довольна удобной иносказательностью этого объяснения…

«Это он умно придумал!» — мелькнуло в ее голове.

— В мои годы не влюбляются, Ксения Васильевна. Это привилегия молодости… В мои годы привязываются и любят! — проговорил Павлищев с горячностью…

— И что же, эта ваша «милая» девушка хороша?

— Не красавица, но…

— Но что? — лукаво бросила Ксения.

— Хорошенькая и необыкновенно мила… И главное — совсем не похожа на петербургских барышен… Серьезная и интересуется тем, что

дорого всякому мыслящему человеку…

— А вы ей нравитесь, как вам кажется?

— Мне кажется, что она относится ко мне хорошо и немножко расположена ко мне. Вот что мне кажется, Ксения Васильевна…

— Только расположена, не более?

— Чтоб узнать об этом, я и решил сделать ей предложение, убедившись, что серьезно привязан к ней! — с чувством отвечал Павлищев.

И, взглядывая на Ксению, спросил:

— Как вы думаете, не смело это с моей стороны?

— Смелость города берет, Степан Ильич, а не то, что жену.

— Что она ответит? Захочет ли связать свою судьбу с моей, быть другом, помощницей и любимою женой?

Павлищев примолк и, в ожидании ответа, глядел на Ксению. Та сделалась вдруг необыкновенно серьезна.

Прошла секунда-другая молчания.

— Не одобряете моего намерения? Ведь вы понимаете очень хорошо, кто эта милая девушка, руки которой я решился просить? — прошептал, наконец, Павлищев, несколько взволнованный и смущенный молчанием Ксении.

И в голове его мелькнули мысли: «Неужели откажет? А он, кажется, так горячо говорил? Да и, право, она совсем не дурна, эта ослепительная блондинка с „русалочным“ взглядом, и выглядит сегодня совсем девочкой!..»

Действительно, Павлищев горячо говорил, с мастерством опытного актера. Его объяснение, не похожее на обычные объяснения влюбленных, без уверений и клятв, подкупило Ксению, и мысли о влиянии на человека, от которого, быть может, будут зависеть «судьбы многих людей», снова взволновали ее честолюбивую натуру.

«Надо же, наконец, выходить замуж, пока она совсем не отцвела, а Павлищев был самым подходящим мужем изо всех ухаживателей за ее богатством. С ним она будет, по крайней мере, относительно счастлива и сумеет сделать жизнь содержательной.» Она подняла глаза и встретила помолодевший взгляд Павлищева, казалось, ласкавший ее. И он ей в эту минуту показался и моложе, и красивее, чем четверть часа тому назад…

— Я хорошо поняла, о ком вы говорите, Степан Ильич, — заговорила Ксения чуть-чуть дрогнувшим голосом, — и, не солгу, ожидала вашего предложения и раздумывала о нем… Были шан-

сы и за, и против, — прибавила она, улыбаясь глазами с обычным лукавым выражением не то насмешливости, не то ласки…

— Которых же больше?

— В вашу пользу больше…

Павлищев просветлел и осыпал руку девушки поцелуями.

— Подождите… не радуйтесь… дайте мне досказать, — продолжала Ксения, освобождая свою руку. — Я буду с вами так же откровенна, как и вы со мной. Я вас считаю порядочным, честным человеком и расположена к вам, вы мне нравитесь, но… я не люблю вас так, как, говорят, должны любить человека, за которого выходят замуж… Это будет брак par raison… Не боитесь вы его?..

«Есть чего бояться!» — подумал Павлищев и проговорил:

— Я буду надеяться, что и немножечко любви придет…

— Немножечко есть, — засмеялась Ксения, — но довольно ли вам этого?

— Буду заслуживать большей…

— От души желаю, чтоб она пришла, но если…

Ксения не докончила и смело, и решительно взглянула на Павлищева.

«Предписывает условия договора!» — решил

Павлищев и, сделав испуганную мину, спросил:

— Если что?

— Если я полюблю кого-нибудь… Если меня охватит страсть и я, несмотря на борьбу, не справлюсь с ней, тогда…

— Вы прямо и честно скажете мне? — перебил Павлищев.

— Само собой разумеется, скажу. Лгать и притворяться я не стану! — кинула Ксения, надменно взмахнув головой. — И не только скажу, но и оставлю вас… слышите?

Павлищев не. без пафоса ответил, что понимает, что «чувство свободно» и, конечно, разделяет ее взгляды и вполне ценит ее правдивость.

— Не бойтесь, я не из увлекающихся и не думаю, чтобы была способна на такую любовь, но…

— Надо предвидеть я опасность, — докончил за нее Павлищев. — А мне надо стараться предупреждать ее, не прибегая к сценам ревности… В этом отношении я буду примерным мужем, Ксения Васильевна. Поверьте моему уму и такту…

— Еще одно предостережение…

— Вам разве мало самого ужасного? — полушутя, полу грустно воскликнул Павлищев.

— Надо все досказать… Не сердитесь на то, что я вам скажу… Обещаете? — промолвила Ксения.

— И без обещания не буду сердиться.

— Я верю вам и считаю вас искренним человеком, желающим добра людям… Верю и уважаю вас за это… Но если бы потом я разочаровалась в вас…

— Не досказывайте… Я только могу гордиться, что моя жена такой чудный человек! — горячо проговорил Павлищев и крепко пожал руку Ксении, вполне уверенный, что после свадьбы все эти ее «нелепости» пройдут, и она сделается в его руках разумной и успокоившейся женой, которой не в чем будет разочаровываться.

Решено было, что свадьба будет летом, и они тотчас же уедут заграницу на два месяца. На правах жениха, Павлищев несколько раз принимался целовать руки Ксении и даже позволил себе сорвать один «мирный» поцелуи, прильнувши к ее заалевшей щеке. Они болтали о будущей жизни, о том, как Ксения будет помогать ему нести бремя государственных забот, и Ксения, смеясь, говорила, что сделается самым строгим цензором.

Когда вернулся Трифонов и узнал, что Ксюша — невеста Павлищева, радости его не было конца. Он благословил их обоих и заставил поцеловаться. Не менее обрадована была и мать и, радостная

и счастливая, всплакнула, призывая благословение Божие на дочь и на будущего зятя-министра.

Павлищев обедал у Трифоновых и, просидев с полчаса у Ксении в кабинете, уехал, простившись с ней горячим поцелуем. Он торопился на какое-то заседание.

А Ксения, оставшись одна, заходила по комнате взволнованная, несколько ошеломленная, стараясь привести в порядок свои мысли, все еще не освоившаяся с решением сделаться женою Павлищева.

В гостиной послышались чьи-то шаги. Ксения взглянула в двери и чуть не вскрикнула от изумления, увидавши Марка.

XVI

И Марк увидал в дверях изумленное лицо Ксении и поклонился.

Ксения вошла в гостиную и, протягивая Марку руку, спросила:

— Вы, конечно, к папе?

— Да, пришел навестить Василия Захарыча, — отвечал Марк с едва заметной улыбкой, которая, казалось, подчеркнула не совсем любезный вопрос хозяйки, и крепко пожал руку Ксении.

— Что же вы не велели ему сказать?

— Василий Захарыч спит.

— Я разбужу папу… Ему пора вставать.

— Нет, зачем же. Я подожду, если позволите.

— Конечно, подождите. Отец будет очень рад вас видеть. Ведь вы его слабость! А между тем, так редко бываете у него! — промолвила Ксения сдержанным и холодным тоном, чувствуя в то же время какое-то невольное радостное волнение при виде этого красивого, спокойного и энергичного Марка с его черными кудрявыми волосами и темными, точно пронизывающими глазами.

Она опустилась на диван и, указывая Марку на кресло, почему-то сочла долгом сказать:

— Папа, верно, скоро встанет.

Марк как будто даже удивился, что Ксения остается с ним, и сказал:

— Я вас оторвал от каких-нибудь занятий… Надеюсь, вы не станете стесняться, чтоб занимать меня, в качестве любезной хозяйки, тем более, что Василий Захарыч скоро встанет.

— Это что за вопрос? — кинула Ксения и почувствовала, что краснеет.

— Я боюсь злоупотреблять вашей светской любезностью — вот и вся сущность вопроса, — пояснил Марк.

— Но почему вы думаете, что я должна стесняться именно вашим обществом? — с живостью спросила Ксения.

Марк усмехнулся.

— Точно я не вижу вашего недружелюбного отношения, ко мне и не понимаю, что мое общество не может доставить вам ни малейшего интереса?.. Не первый же день мы с вами знакомы, Ксения Васильевна… Так к чему же, скажите на милость, вам церемониться со мной? Или светские приличия вас стесняют? Но ведь вы, кажется, уже не такая данница предрассудков! — прибавил Марк, насмешливо взглядывая на Ксению.

— Кажется, и вы, в свою очередь, не удостаиваете меня своим милостивым вниманием, Марк Евграфович? — с насмешливой улыбкой отвечала Ксения, несколько удивленная и втайне обрадованная словами Марка, — и не особенно печалитесь моим, как вы говорите, недружелюбным отношением. И следовательно, жаловаться…

— Да разве я жалуюсь? — перебил Марк. — Я такими глупостями не имею привычки заниматься. Я только определяю факт.

— Виновата… Еще бы! Разве вы можете жаловаться на что-нибудь? — иронически подчеркнула Ксения:- Вы, ведь, только определяете. Но, в данном случае, несмотря на вашу самоуверенность в точности определений, вы ошиблись.

— В чем именно?

— Никаких недружелюбных чувств я к вам не питаю — да и не за что, согласитесь сами — я отношусь к вам так же, как и к другим добрым знакомым! — прибавила Ксения, и голос ее невольно зазвучал мягкими нотками.

— В таком случае, сознаюсь в ошибочном определении факта и приму ваши слова к сведению, — заметил Марк без особенной, казалось, радости.

— То-есть, что значит — к сведению?

— Не буду впредь думать, как раньше думал.

— И будете удостаивать разговором не одного только папу?

— Если угодно…

— Очень угодно. Ведь вы представляете для меня интересную загадку.

— Я? Загадку? — с удивлением переспросил Марк.

— Да, нечто вроде сфинкса, — проговорила, смеясь, Ксения. — Таких молодых людей я еще не видала и, сознаюсь вам, хоть и давно имею честь знать вас, в сущности совсем вас не знаю. Вы, ведь, никогда не высказываетесь, по крайней мере у нас. Быть может, вы откровеннее со своими друзьями?

— У меня нет друзей.

— Ну, с более близкими знакомыми.

— И близких знакомых нет.

— Но есть же родные?

— Одна сестра.

— Она здесь?

— Нет, в провинции.

Ксении вдруг стало жаль Марка. Без друзей, без близких, такой одинокий этот юноша! Немудрено, что он так замкнут в себе и так сдержан!

И ей хотелось расспросить его об его жизни, о том, почему он так одинок, хотелось сказать ему доброе слово участия и сочувствия, смягчить его сердце лаской, но, взглянув на это спокойное и уверенное лицо, которое, казалось, вовсе не искало сочувствия, она сдержала свой порыв и только спросила:

— И вас такое одиночество не пугает?

— Нисколько…

— И вы не скучаете?

— Некогда.

— Впрочем, я слышала. Папа говорил… вы живете совсем отшельником. Много читаете и работаете. Степан Ильич от вас в восторге. Говорит, что вы незаменимый работник…

— Надеюсь… Ну, и Павлищев зато пользуется этим. Не оставляет без работы, — усмехнулся Марк.

— Он и сам много работает?

— Работает, надо сказать правду. И наверное доработается до министра. Вы его давно видели? — неожиданно спросил Марк.

— Сегодня. Он у нас обедал! — проговорила Ксения.

— Степан Ильич, кажется, часто у вас бывает?

— Да, часто, — промолвила Ксения, невольно

почему-то краснея. — Отчего вы об этом спрашиваете?

— Так… к слову пришлось.

— А вам Павлищев нравится?

— Умный человек, — ответил сдержанно Марк.

— Только умный?..

— Это — главное, надеюсь…

— Ну, не совсем… Ум еще не все… Он и добрый, и честный человек. — не без горячности прибавила Ксения. — Не правда ли?

— Зачем же вы спрашиваете меня, если имеете свое мнение? — спросил, смеясь, Марк.

— Вы разве не согласны со мной?

— Не в том дело… Положим даже, согласен, но не все ли вам-то равно, что другие думают…

— Я не такая самонадеянная, как вы, и не считаю себя непогрешимой.

— А я никогда не ставлю баллов людям за поведение… Каждый хорош или дурен по-своему…

— А по вашему мнению каков он? — допытывалась Ксения.

— Будет отличным мужем! — проговорил Марк:

— Почему именно мужем? — изумилась Ксения и снова покраснела…

— Да разве он еще не сделал вам предложе-

ния?

— Разве он должен был его сделать именно мне?

— А то как же… Наверное сделает… Точно это секрет, что вы нравитесь Степану Ильичу…

— Допустим, что и так. Предположим даже, что он уже сделал предложение… Вы как думаете: приняла я его?

— Отчего же нет? Степан Ильич умен, блестящ, красив, в него можно влюбиться… Впереди слава и власть…

— И вы, например, одобрили бы такой брак? — шутливо допрашивала Ксения.

— Вполне! — отвечал Марк.

Этот ответ не был особенно приятным для Ксении. Ей бы хотелось, чтобы Марк, если не прямо, то каким-нибудь намеком высказался против. Ужели он в самом деле думает, что она влюблена в Павлищева, что она может в него влюбиться?…

И она кинула:

— Если б даже ни с той, ни с другой стороны не было настоящей любви?

— Любовь — понятие относительное, Ксения Васильевна.

— У вас, кажется, все относительное.

— Да так оно и есть в жизни… Да и вообще я

профан по этой части! — добавил Марк.

— То-есть, никогда не любили?

— Нет еще.

— И не бывали влюблены?

Марк подумал, как бы желая дать точный и добросовестный ответ, и проговорил:

— Кажется, нет…

— Странный вы, однако, молодой человек… Право, очень странный и любопытный, — протянула Ксения и пристально долгим взглядом посмотрела на Марка, словно бы желая прочесть на этом молодом, дьявольски красивом и бесстрастном лице: правду ли он говорит, или рисуется своей неуязвимостью. Но лицо Марка, казалось, не лгало. Да и к чему Марку было лгать перед ней… Ведь она ему, видимо, ни капельки не нравится.

И со свойственным женщинам инстинктом кокетливости, она с самой чарующей улыбкой спросила:

— И никогда не пробовали влюбляться?

— Зачем?

Ксения рассмеялась.

— Вот вопрос! Разве спрашивают — зачем? Просто влюбляются, и дело с концом…

— А после?

— Женятся…

— И плодят нищих?.. И устраивают вместо жизни каторгу… Насмотрелся я, Ксения Васильевна, на эти «домашние очаги», знаю я изнанку этих «идиллий».

— Однако, вы мрачно смотрите на жизнь…

— Не особенно весело…

— И что ж… Никогда не женитесь.

— Не знаю… Если, как вы говорите, воспылаю к кому-нибудь страстью и буду иметь возможность содержать прилично семью, — тогда женюсь…

— Мы вас женим, непременно женим, родной мой Марк Евграфович, — весело проговорил Трифонов, входя в гостиную. — Очень рад вас видеть, очень рад! — продолжал Василии Захарович, крепко пожимая руку Марка. — И найдем вам прекрасную невесту… Нечего-то вам схимником жить… Ну, как поживаете? И не стыдно совсем забыть приятеля?.. Ведь знаете, как я вас уважаю и люблю… Ну, а теперь поздравляйте и меня, и Сюшу… Она вам, видно, не сообщила новости…

— Нет…

— Выходит замуж за вашего начальника, — за милого Степана Ильича…

Марк поздравил Трифонова, поздравил Ксению и, просидев с час, стал прощаться.

— Надеюсь, мы теперь не будем встречаться врагами? — сказала ему на прощанье Ксения:- и вы будете навещать не одного папу, а и меня тоже? С вами любопытно болтать.

И, пожимая Марку руку, подарила его ласковым взглядом своих слегка прищуренных глаз.

XVII

Марк стал бывать у Трифоновых чаще. Заходил он раза два в неделю по вечерам, когда Павлищева там не было, и он не мог быть лишним. Павлищев теперь почти каждый день обедал у Трифоновых и, просидев час — другой у Ксении, обыкновенно уезжал, ссылаясь на работу, и Ксения его не удерживала, чем он был очень доволен. Признаться, ему было скучновато вести с Ксенией одни «умные разговоры», которые она начинала, тем более, что они даже не разнообразились флиртом. В качестве жениха он рассчитывал на него, находя, что после хорошего обеда такой десерт весьма недурен и скорее, чем всякие умные беседы, сблизит его с этою странною девушкой.

Но Ксения довольно холодно принимала его внезапные излияния, которыми он неожиданно прерывал разговор, и, избегая нежностей, снова продолжала какой-нибудь теоретический спор, советуя жениху для удобства пересесть с дивана на кресло и взглядывая, казалось, без всякого сочувствия на раскрасневшееся лицо и слегка замаслившиеся глаза его превосходительства.

И он, несколько сконфуженный и обиженный, с видом ошпаренного кота, стараясь, однако, сохранить чувство собственного достоинства, пересаживался в кресло и думал, как бы ему скорей улепетнуть, с соблюдением приличий жениха, желающего быть как можно более с невестой.

«Рыбий темперамент!» — думал про себя Павлищев, ограничиваясь лишь почтительными поцелуями рук, и приходил к заключению, что это не особенная беда для жены такого пожившего вивера, как он. Напротив, имеет даже свои выгоды для мира и спокойствия «семейного очага» и более гарантирует против увлечений ее в будущем. «Пусть себе разговаривает! Эти болтливые женщины гораздо спокойнее молчаливых и тихих!» — решил Павлищев, припоминая свою немалую практику в амурных делах.

И он уезжал нередко от Ксении прямо к Рогальской, с которой не прерывал совсем сношений, и у этой дамы, всегда гостеприимной, радушной и обворожительной, мужа которой никогда не было дома, проводил иногда веселые вечера, не пугаясь дорого стоящей благосклонности этой женщины. Миллион у него впереди. Можно и позволить себе эту роскошь на последних порах холостой жизни. После свадьбы он, конечно,

остепенится и будет осторожнее. Слава Богу, какие-нибудь десять тысяч долга такие пустяки, о которых нечего и разговаривать. И Павлищев возил ей и бриллианты, и чеки и не претендовал, что он не один пользуется ее ласками. Она этого и не скрывала, предлагая безраздельность пользования своей особой на очень тяжелых условиях.

Платясь только деньгами, Павлищев уже больше не хлопотал о мифических сестрах и братьях Анны Аполлоновны и раз навсегда запретил ей просить его о таких делах. И без того из-за его ходатайства перед министром о пенсионе для «сестры» Анны Аполлоновны чуть было не вышла крайне неприятная для него история.

Дело в том, что патроном Павлищева в те довольно отдаленные времена, когда происходило действие нашего рассказа, был человек, свято блюдший экономию и законность, особенно в приложении к таким лицам, которые не могли ничем повредить его положению — человека далеко не родовитого происхождения, попавшего к власти с неожиданной, почти сказочной быстротой, возбудившей неприязнь в очень многих кругах, и преимущественно аристократических. Умный, честолюбивый, решительный и в достаточной мере без предрассудков, благодаря чему

имел огромное состояние, обязанный карьерой самому себе, он подтянул свое ведомство и создал себе репутацию незаменимого человека, ловко и умно лавируя между теми течениями, которые могли унести его с той же быстротой, с какою он поднялся, и помешать ему, в числе других его коллег, осчастливить Россию новыми мероприятиями в своем ведомстве. Нечего и прибавлять, что где только можно было, он блюл законность и строго требовал ее от подчиненных.

И вдруг один из сослуживцев Павлищева, желавший подложить ему «свинью», как-то при докладе возбудил вопрос о неправильности ходатайства о пенсии вдове чиновника, прослужившего только 12 лет.

Позвали Павлищева для объяснений.

Степан Ильич, хорошо изучивший своего начальника, особенно благоволившего к своему любимцу, сознался, что подал ему доклад, не имеющий оснований по букве закона…

Патрон вскинул на Павлищева свои пронизывающие маленькие глаза и спросил недовольным тоном:

— Так почему же вы, Степан Ильич, это сделали? Кому-нибудь оказать услугу хотели, что ли?.. Так ведь эти услуги на моей же шее отзовутся…

Вы ведь знаете, как все ищут случая придраться ко мне… Я ведь для многих нежелателен… Я и нагл, и не из Рюриковичей! — с усмешкой прибавил патрон.

Павлищев доложил, что никому он услуги оказать не желал, но что представил доклад, в котором изложил веские основания для ходатайства о назначении пенсии, как исключения в виду заслуг покойного…

— И наше ходатайство было уважено… Никаких запросов не было! — прибавил Павлищев.

— Пенсию дали?

— Дали…

— А все-таки… Будьте вперед осторожнее, Степан Ильич… Мой почтенный коллега строгий и… и не дает денег без законного основания! — прибавил старый человек с пронизывающими глазами, и едва заметная ироническая улыбка пробежала по его тонким губам.

Он втайне не любил своего коллегу, признавая его государственным человеком таким же решительным и умным, каким считал себя (разве только чуточку пониже), тоже заставившем о себе говорить, как об администраторе, имевшем все шансы осчастливить Россию, и — что главное — пользовавшимся, как казалось, влиянием.

Павлищев намотал себе на ус это предостережение и решил более не повторять «глупости», рискуя потерять доверие патрона, и не нарушать законов.

Приготовления к свадьбе шли своим чередом. До назначенного дня оставалось всего два месяца, и потому торопились с приданым. Ксения с матерью часто ездили по магазинам и делали разные заказы. Несколько парадных костюмов было заказано в Париже. Старик-отец требовал, чтобы не стеснялись расходами и чтобы приданое было самое роскошное и в грандиозных размерах. Дочь Трифонова не должна ударить лицом в грязь. И он сам осматривал материи, купленные дамами, накупал множество бриллиантов и разных ценных украшений для своей любимицы и, веселый и довольный, отдавал дочери. В доме, у них была теперь та предсвадебная суматоха, которая нарушает обычный строй жизни. Дамы к обеду опаздывали; это не раздражало старика, как прежде, и он терпеливо ожидал полчаса вместе с Борисом и будущим зятем и не делал никаких замечаний опоздавшим. То и дело приносили картонки и корзины; являлись портнихи и примеривали платья. Целая большая комната была уже заставлена разными сундуками и не

предвиделось еще конца.

Виновница всей этой суматохи, однако, не выказывала большой радости и, казалось, все эти блестящие наряды не особенно занимали ее. Она возвращалась из магазинов усталая, утомленная, подчас раздражительная, и в такие минуты бывала не особенно ласкова с Павлищевым, да и вообще держалась с ним совсем не так, как счастливая невеста.

Борис подсмеивался и говорил, что Сюша выходит замуж, чтобы быть впоследствии самой «министром».

— Но это тебе, брат, не удастся, — смеялся офицер… — Степан Ильич хоть и мягкий, очень даже мягкий, но у него бархатные лапки… На шею сесть себе не позволит… Будь уверена…

И Борис не раз говорил сестре, что уж если она захотела выходить замуж, то лучше было бы предпочесть князя Сицкого.

— Ведь не влюблена же ты в Степана Ильича?

— Положим, не влюблена. Так ведь и в твоего Сицкого я не влюблена.

— Он красавец, веселый, добрый малый… По крайней мере, пожила бы с ним весело. А с твоим Степаном Ильичем одна скука!

— Он тебе не нравится? — спрашивала Ксения.

— Признаюсь, не очень…

— Чем именно?..

— Право, не умею сказать… Так поглядеть — кажется, хороший человек, а вот, поди же, не нравится… И слишком много о себе думает. Он хоть и не показывает этого, но чувствуется… И воображает, что непобедим…

Ксения обыкновенно защищала Павлищева, но сама чувствовала, что защита эта была какая-то формальная, более рассудочная, чем сердечная. Ее не возмущали, не трогали до глубины души нападки на человека, который скоро будет ее мужем.

Не скрылось, разумеется, и от старика Трифонова, что Ксения относится к своему жениху не как любящая невеста, и сам Трифонов, женившийся на бедной девушке по страсти, подчас задумывался: будет ли счастлива его ненаглядная Сюша, выходя без любви замуж. Его утешало, впрочем, то обычное соображение, что Сюше надо замуж и что она привяжется к такому умному и порядочному человеку, как Степан Ильич. Пойдут дети, все обладится, и он, Трифонов, будет счастливым дедушкой.

Не доверяясь своим наблюдениям и знанию людей, Трифонов уже собрал под рукой справки

о будущем зяте, и справки были все благоприятные. Несомненно, он добрый, порядочный человек и живет по средствам — долгов у него нет. Правда, были слухи, что он не прочь поухаживать и вообще любит женщин, но отчего же холостому человеку и не любить их. Женится — бросить шалости. Сюша, слава Богу, не урод, да и Степан Ильич не мальчишка, способный бегать за каждой юбкой, а человек в летах и, наконец, не такое его положение и слишком он умен, чтобы не уметь вести себя, как следует женатому.

Несмотря на все эти рассуждения, старик однажды спросил Ксению:

— Ты не раскаиваешься, Сюша, что дала согласие?

— Я, папа, прежде, чем дать согласие, обдумала.

— То-то родная… И он хороший человек…

— Кажется, хороший…

— Выйдешь замуж, и любовь придет, Сюша…

Ксения ничего не ответила.

— Только ты что-то уж очень холодна к Степану Ильичу, моя милая…

— Холодна? Такая, как всегда… Я его не обманывала… Я предупреждала, что не влюблена в него…

— А он?

— Думает, как и ты, что любовь придет, — отвечала Ксения.

— Конечно, придет… Будут дети… Ты будешь счастлива, моя умница!..

И старик крепко обнял дочь и прибавил как бы в утешение:

— Тоже эти браки по страсти не всегда бывают прочными… Пыл-то первый пройдет и… Да, впрочем, что ж я говорю… Ведь, если б ты в кого-нибудь влюбилась, разве я стал бы препятствовать когда-нибудь… А вот до сих пор, кажется, этого не было… Слишком тебе много ума Бог дал… Людей-то ты умеешь понимать…

И отец отпускал от себя дочь, успокоенный, вполне уверенный, что и сам понимает ее.

А между тем Ксения, оставаясь после ухода Павлищева одна, нередко прислушивалась: не раздадутся ли в гостиной твердые, уверенные шаги Марка, и она радовалась, как ребенок, втайне смущаясь и досадуя на себя, когда Марк проходил в кабинет отца и после проводил с нею вечер…

«Неужели, в самом деле, она, не молодая уже девушка, влюбилась в этого мальчишку?» — задавала она себе вопрос, оставаясь одна, и вместо ответа, чувствовала, как слезы тихо льются по

ее загоревшимся щекам и в то же время какая-то беспредельная тоска охватывает ее сердце.

А Марк, как будто не замечая, как оживляется при его приходе Ксения, с каким интересом говорит с ним и как иногда ласково на него смотрит, ходил себе аккуратно два раза в неделю и все более и более, казалось, начинал интересоваться девушкой.

Он вел свою игру с искусством самого опытного Дон-Жуана, хотя и не знал совсем женщин и ни одну еще не любил.

XVIII

Из дневника Марка.

7-го мая.

Мой патрон, видимо, ни о чем не догадывается и пребывает в счастливом положении человека, готового получить миллион вместе с женой. Очень весел и игрив. И в департаменте не засиживается — торопится к шести часам обедать к невесте. Вчера потребовал к себе на квартиру и распространился на счет своих чувств ко мне, как к золотому работнику, и обещал никогда не расстаться со мной, «по крайней мере, по своей воле», — любезно прибавил он и крепко пожимал мне руку. Я, конечно, благодарил. Пусть думает, что я благодарный теленок. Потом, разумеется, поручил мне новую работу (для этого и звал!) и просил поспешить. Он всегда спешит, и весь департамент у него спешит, как угорелый. Это у Павлищева особый шик гнать на почтовых и поражать министра быстротой работы. Понимает, каналья, чем взять. И берет этим! А ведь, в сущности, если разобрать, далеко не орел этот Павлищев. И образование у него весьма поверх-

ностное — так, верхушки одни, и знаний мало, а ведь считается звездой!.. Как подумаешь, как легко прослыть у нас звездой, так даже смешно становится! Прежде и я думал, что Павлищев в самом деле нечто выдающееся, а как поближе узнал, вижу, что только умен, ловок и умеет работать и показать товар лицом. Хорош, значит, ассортимент, если Павлищев считается чуть ли не административным гением!.. А ведь наверное увенчает карьеру…

Возвратил он мне записку, которую я ему составил две недели тому назад, и попросил переделать. Министр переменил взгляд на вопрос и, следовательно, нам приходится, к сожалению, тоже переменить… «Составьте, говорит, записку в другом направлении».

— В каком прикажете? — спрашиваю.

Он объяснил. Оказалось, направление совсем противоположное, тому, что излагалось, по поручению Павлищева, в записке.

Не в первый раз приходится нам делать такие штуки. Конечно, Павлищеву в сущности на это наплевать. Однако, желая показать мне, что делает это скрепя сердце — мол, и у него мнения свои есть — он сказал, что долго спорил по этому поводу с министром, но что министр не согласен.

Ничего не поделаешь, дорогой Марк Евграфович! — прибавил он.

Павлищев довольно откровенен со мной. Уверенный, что я не болтлив и не злоупотреблю его откровенностью, он часто рассказывал мне, что делается, так сказать, за кулисами. По его словам, и министр внезапно переменил свой взгляд на вопрос, изложенный в записке, только потому, что опасался, будто взгляд этот не понравится в некоторых сферах. Он даже не уверен был в этом, а только опасался.

И этого было совершенно достаточно, чтобы, без всякой попытки отстоять свое мнение, — решить серьезный вопрос в другом смысле!

Какая трусость и, главное, совершенно ненужная!

Прощаясь со мной, Павлищев спросил: давно ли я был у Трифоновых?

Я отвечал, что был на-днях.

Ни черточки неудовольствия на радостном лице патрона. Он глядит совсем именинником. Не боится он, как видно, что я могу преподнести Трифоновым рассказ об его «ошибке молодости» с сестрой, рассчитывая, что нет цели вредить человеку, от которого можно ждать богатых милостей. Не даром же Павлищев в последнее время стал

еще любезнее и интимнее со мной. И наконец он верит в мое благородство. А мысль, что я, Марк Борисов, могу из-под его носа вырвать невесту с миллионом, разумеется, не может прийти даже в голову его превосходительства. До того это неправдоподобно! Будущий министр и какой-то Марк Борщов!?

А между тем, барышня, видимо, мною увлеклась не на шутку. Мне остается только сделаться окончательно влюбленным и — кто знает? — не нужно будет и об «ошибках молодости» Павлищева рассказывать, чтобы невеста ему отказала. Она — человек решительный, довольно самостоятельный и перед этим не остановится, а Трифонов слишком любит дочь, чтоб ставить препятствия. Для барышни лучше подождать министерства, но иметь в супругах молодого и свежего человека, чем выходить замуж за этого потертого бабника. Воображаю, как он ошалеет, если это случится. Интересно будет взглянуть на его самодовольную физиономию… И захочет ли он того иметь у себя «золотого работника»? Полагаю, он настолько умен, что захочет… И я не прочь…

Барышня любит вести со мной беседы и упрекает, что я всегда рано от нее ухожу. Она доверчива и считает меня искренним другом. В последний

раз она перехватила мой «нечаянный» восторженный взгляд, и вся просияла. А щеки так и залились румянцем. Думает, верно: не обращал никакого внимания, а теперь… влюбился. Однако, я ни пол-слова о чувствах и ни одного комплимента… Так оно лучше. Пусть считает, что я в тайне влюблен, не смея мечтать о взаимности и не смея открыться, зная, что она невеста другого. А интересно вести эту игру и наблюдать, как барышня с миллионом сама лезет тебе в рот — бери только не сразу, а осторожно, чтоб не испугать и не возбудить подозрений. Глупые эти влюбленные бабы и совсем теряют голову.

Очевидно, она и не подозревает во мне такого же карьериста, как и Павлищев, только куда посмелее его. Я хоть и не вполне высказываюсь, но не скрываю, что смотрю на жизнь и на людей не в розовые очки, а она не верит, конечно, что в двадцать четыре года можно быть таким скептиком. Она думает, что я несколько озлоблен и что мои взгляды смягчатся. Пусть думает! Это ее дело…

Прощаясь со мной в последний раз, она неожиданно сказала:

— Надеюсь, что и после моей свадьбы вы будете у меня бывать и мы будем с вами такими друзьями, какими нечаянно сделались.

Я отвечал, что едва ли…

— Почему? — спросила она.

— Мало ли какие могут быть причины, Ксения Васильевна! — отвечал я уклончиво.

— Какие, например?

Глаза ее блеснули. Казалось, барышня была удивлена.

Я молчал, и она нетерпеливо бросила:

— Что ж вы молчите? Какие причины могут помешать вам бывать у меня? Отвечайте! — воскликнула она порывисто.

Я притворился смущенным и, словно бы приискивая причины, проговорил:

— Могу не понравиться вашему мужу… Наконец, могу уехать на службу куда-нибудь в провинцию… Мало ли что может случиться…

И, проговорив это, ушел, крепко и значительно пожав ее руку.

Теперь целую неделю не пойду. Пусть раздумывает над моими словами!

Я, конечно, не влюблен в эту барышню, но она мне нравится, и я был бы хорошим мужем. Терпеть не могу развращенных людей и особенно этих искателей ощущений. Точно в любви жизнь. Любовь — просто физиологическое отправление и ничего более. Ну, а Ксения Васильевна мне не

противна. Следовательно…

17 мая.

Сегодня заезжал ко мне Трифонов. Не застал дома и оставил записку, зовет к себе. Удивляется, что я пропал, а в департаменте Павлищев говорил, что Трифонов без меня соскучился и жалуется, что я забыл их. — «Уж вы сходите к старику», посоветовал мне Павлищев… Я отвечал, что работы много. Павлищев сказал, что разрешает мне отдохнуть.

— Говорят, вы совсем аскетом каким-то живете. Это правда? — спросил он.

— Правда.

— Экий вы странный молодой человек… Я в ваши годы и работал, и… жил! С вашей наружностью можно отлично жить! — прибавил Павлищев и весело расхохотался, подмигнув глазом. — Или женщин боитесь? Напрасно… напрасно… Вы им должны нравиться!.. Нет, без шуток, поезжайте к Трифоновым… Уж ублажите старика…

Я обещал побывать на другой день.

— А сегодня? — настаивал почему-то Павлищев. — Сегодня у них последний четверг.

Я отговорился под предлогом, что сегодня кончаю работу. И не хотел я идти в четверг, когда у

Трифонова «народ».

А видно, барышня соскучилась. Это она, конечно, отца посылала!

20 мая.

Развязка пришла. Барышня физиологически на точке каления. Миллион несомненно мой, и она сделает глупость — «выйдя замуж за мальчишку». Прежде она всегда называла это глупостью и смеялась над браками, в которых жена моложе мужа… А теперь… Запишу все по порядку.

Когда вчера вечером я пришел к Трифоновым, старика не было дома. У старухи была мигрень, и она была у себя на верху. «Барышня дома, барышня примет!» — сказал мне лакей и пошел доложить.

— Пожалуйте к барышне! — проговорил он.

Я вошел в этот маленький кабинет. Ксения радостно протянула обе свои руки и проговорила.

— Наконец-то. Отчего так долго не были?

Мне показалось, что за эти дни она немножко похудела и осунулась. Глаза ее горели неспокойным блеском, и что-то лихорадочное было во всех ее движениях.

Я, по обыкновению, сослался на работу.

— Не лгите; когда кого хотят видеть, никакая в мире работа не помешает. Значит, вы не хотели

меня видеть?

— Очень даже хотел, — прошептал я.

— Так отчего же не приходили?.. Какие причины заставляют вас не ходить теперь и обещать не ходить, когда я выйду замуж?.. Ведь я через месяц буду женою Павлищева. Слышите ли? — прибавила она словно с какою-то угрозою и серьезно и пристально глядела на меня.

Момент был, что называется, «психологический». Нужно было им воспользоваться, и я с приличною торжественностью и, понижая, как следует, голос, проговорил, слегка запинаясь, как человек, у которого вынуждают скрываемую им тайну:

— Ксения Васильевна… К чему вы спрашиваете?

— Мне нужно знать… всю правду… всю… понимаете ли? — повелительно прошептала она..

— Да разве вы сами не видите? — чуть слышно промолвил я.

— Ничего я не вижу… Я вижу, что вы не друг мне…

Но глаза ее говорили другое. Вся она просветлела и, казалось, замерла в ожидании моих слов…

— Не друг?.. — переспросил я. — Я больше чем друг… Но вы скоро будете женою другого… Разве

смел я…

— Чего вы не смели?.. — прошептала она.

— Сказать, что уже давно люблю вас…

И я покрыл поцелуями руку девушки.

Она отдернула руку, обвила мою шею и страстно прильнула к моим губам, вся трепещущая и счастливая.

— А вы, мои желанный, мой красавец, разве не догадывались, что я люблю только вас! — шептала она, и внезапно слезы хлынули из ее глаз.

Мы провели вечер влюбленных. Внезапная близость этой страстной девушки увлекла и меня, и я целовал ее руки, лицо, шею в каком-то безумном экстазе. Молодое, здоровое животное заговорило во мне; в эти минуты я, конечно, был влюблен в нее страстно и искренно.

Ксения решила завтра же отказать Павлищеву и поговорить с отцом.

— Ты будешь моим мужем и никто более! — властно проговорила она, когда я выразил сомнение в согласии отца, и обняла меня на прощанье с порывистою страстностью.

Поздравляю, ваше превосходительство!

XIX

Когда на другое утро Ксения вошла, по обыкновению, в кабинет поздороваться с отцом, старик был просто удивлен радостным выражением ее лица. Такой Сюши он давно не видал. Она точно преобразилась, помолодела, похорошела и вся будто сияла каким-то внутренним светом невыразимого счастья. Оно, казалось, наполняло все ее существо: искрилось в глазах, светилось в улыбке, необыкновенно мягкой и доброй, говорило о себе в каждом движении… И одета сегодня она была не так, как обыкновенно, не особенно заботясь о туалете, а с видимым старанием одеться к лицу, такая нарядная, свежая и хорошенькая в пунцовой кофточке и в светлой щегольской юбке, с гладко зачесанными назад роскошными белокурыми волосами, собранными на темени.

Василий Захарович с радостным изумлением взглянул на свою любимицу и сам невольно улыбался, любуясь ею. С появлением дочери, такой сияющей и радостной, сам он просветлел и словно в кабинете вдруг стало светлее и ярче.

Ксения как-то особенно порывисто горячо и нежно обняла отца и, возбужденная, присела

около него.

— Что с тобой сегодня, Сюша? Ты такая необыкновенная? — весело спросил отец, заглядывая в ее глаза.

— Необыкновенная? — переспросила Ксения и вдруг смутилась, как девочка. Кровь залила ее лицо, шею, и она несколько мгновений молчала, улыбающаяся и счастливая.

Старик недоумевал.

— Папа, — наконец промолвила она, — я пришла к тебе сообщить важную новость. Надеюсь, ты сердиться не будешь?

— Сердиться? Когда ты такая счастливая? Какая же это важная новость?

— Я решила отказать Павлищеву!

Василий Захарович никак не ожидал подобного известия. Изумленный, с широко открытыми глазами, он молча смотрел на Ксению, словно бы не находя слов и не веря тому, что она сказала.

— Ты удивлен, папочка?

— Признаюсь, совсем ты поразила меня, Ксения, — проговорил, наконец, старик, видимо недовольный. — Ты дала слово, весь город знает, и вдруг…

Старик не сказал, что сам он так желал этой свадьбы, сулившей счастье и почет его дочери,

и, кстати, связи, не бесполезные для его дел, и прибавил:

— Разве есть какие-нибудь основательные причины для отказа?

— Есть, — прошептала Ксения.

— Ты что-нибудь узнала о Степане Ильиче? Быть может, слышала об его холостой жизни… Так, ведь, Сюша…

— Ничего я не слыхала, и вперед знала, что Павлищев не монах…

— Так отчего же ты вдруг отказываешь?

— Я не люблю его.

— Но ведь и раньше ты его не любила. Он тебе только нравился и, однако, ты все-таки соглашалась быть его женой?

— То было раньше…

— А теперь?..

— Я не пойду за Павлищева! — решительно ответила Ксения. — Не станешь же ты сердиться, что я не иду за него из-за того только, что об этом весь город узнает. Надеюсь, счастье дочери тебе дороже разных сплетен, которые будут ходить и затем пропадут?.. Ведь ты же любишь меня?

— Точно ты не знаешь, как я люблю тебя! — растроганно промолвил старик.

И, недоумевающий, совсем сбитый с толку этим

радостным, счастливым видом Ксении, спросил:

— И ты такая веселая сегодня оттого, что решила не идти за Степана Ильича и оставаться в девушках?

— Не совсем оттого, — проронила Ксения, — и я вовсе не думаю остаться старой девой, папа, а, напротив, хочу выйти замуж за человека, которого люблю! — прибавила она и снова покраснела.

— За кого же? Кто вдруг нашелся такой избранник? — спрашивал Василий Захарович.

— Твой любимец, папа… Марк.

— Марк Борщов?! — воскликнул совсем пораженный старик…

И он понял теперь, почему его Сюша такая радостная и счастливая. Она влюбилась в этого красивого молодого человека, она — никого до сих пор не любившая и всех критиковавшая. А он и не догадывался, старый дурак, отчего это в последнее время Сюша сделалась дружна с Марком и, отчего Марк вдруг зачастил и проводил с нею вдвоем вечера, тогда как прежде Сюша почти не разговаривала с ним. То-то она была так холодна с Павлищевым эти два месяца… А Марк-то, Марк!? Кто мог бы ожидать, что он отобьет невесту у своего начальника!? Какая, однако, в нем смелость!?

Такие мысли пробегали в голове старика, и

он не знал, радоваться ли ему, или сердиться. Конечно, Марк — умный и славный молодой человек, но что он такое? Какая партия для дочери Трифонова? И совсем еще молод…

— Ты не одобряешь моего выбора, папа? — спросила Ксения.

— Но он гораздо моложе тебя.

— На четыре года. Что за беда!

— И ты не боишься этого?

— Ничего я не боюсь… Я люблю его, давно люблю! — горячо воскликнула девушка.

Старик видел, что всякие убеждения бесполезны. Он понял, что Ксения полюбила со всей силой запоздавшей страсти, и, конечно, не он отуманит это неудержимое счастье, которым вся сияет она. Пусть Марк и не тот жених, о котором он мечтал, но она его любит, и этого довольно. Да и к чему бы привело его неодобрение? Оно только восстановило бы дочь против отца и ничему бы не помешало. Ксения все-таки вышла бы замуж. Она смелая и решительная. «Вся в меня характером!» — заключил свои размышления старик и проговорил:

— Что ж, Сюша… Я против твоего выбора ничего не имею… Марк — хороший человек и, конечно, любит тебя…

— Да разве я бы пошла за него, если б он не любил меня?.. Он тоже давно меня любит, но скрывал свою любовь и вчера только признался в этом…

— Экий какой скрытный… А я думал, что он на тебя не обращал никакого внимания.

— Ты понимаешь почему?

— Не думал, что тебя нравится?

— Из гордости, папа. Я — богатая невеста, а он… О, Марк очень горд, папа, и если б я сама не вызвала его на признание…

— То что же?…

— Через месяц я была бы женой Павлищева, а он бы уехал. Ведь я тоже не догадывалась, что Марк меня любит… Что за энергичный и сильный человек твой любимец… Ты говоришь: молод… Да он в свои двадцать четыре года умней и значительней всех наших знакомых… И какой характер!.. Настоящий мужчина, а не эти развинченные, разочарованные кавалеры вроде Сицких… И чистый, а не развращенный… О, папа, как я рада, что ты одобрил мой выбор! — заключила свой дифирамб счастливая Ксения и бросилась на шею отцу.

— А как же ты объяснишься с Степаном Ильичем? — озабоченно спрашивал Василий Заха-

рович.

— Не беспокойся, папа… Объяснюсь…

— Воображаю, как он будет поражен и обижен…

— Поражен, пожалуй, и, главным образом, оттого, что из-под носа ускользнул миллион приданого! — заметила со смехом Ксения. — Ведь и он не любит меня… Не будь я богатая невеста, разве подумал бы он жениться на мне… Да я ему не особенно и нравлюсь… Мы, женщины, это чувствуем…

— Ты только, Сюша, как-нибудь мягче откажи…

— Не бойся, не оскорблю его громадного самолюбия и даже не скажу, что люблю Марка и выхожу за него замуж.

— Не скажешь? Конечно, это лучше, а то Павлищев озлится на Марка и может повредить ему по службе…

— Ну, Павлищев слишком дорожит Марком… Я просто не скажу, чтоб не обижать его уж очень… А то будущего министра променяли на его чиновника, и когда же?

— Но ведь нельзя же скрыть замужества?

— Я и не скрою, когда мы повенчаемся… А пока пусть все остается в секрете. Мы уедем, папа,

на лето куда-нибудь заграницу… Марк возьмет отпуск и будет с нами, а осенью мы вернемся мужем и женой… Одобряешь этот план?

Василий Захарович вполне его одобрил и, смеясь, заметил, что любовь не затуманила ума Ксюши.

— Ты такая же умница, как и была! — прибавил он и ласково потрепал дочь по щеке…

— А Марк сегодня вечером придет к тебе и к маме просить моей руки…

— Надеюсь, после того, как уедет Павлищев?

— Ну, разумеется…

В то же утро была посвящена в тайну и мать. Она сокрушалась, что Ксения отказывается от блестящей партии и делает mesalliance, выходя замуж за какого-то учителишку и вдобавок человека темного происхождения, поплакала по этому случаю более обыкновенного и, в конце концов, разумеется, покорилась, тем более, что Василий Захарович одобрил решение «этой сумасшедшей Сюши». А слово Василия Захаровича было для нее законом. Она только требовала скорейшего отъезда заграницу, чтобы до нее не доходили сплетни, вследствие такого скандала. В самом деле, все уж ее поздравляли, все завидовали, что дочь ее делает блестящую партию,

приданое почти сшито и… вместо мужа будущего министра какой-то Марк Борщов! Мальчишка! И еще какой-то самонадеянный, нахальный мальчишка!

Однако, мысль о том, что Сюша влюблена в этого мальчишку и говорит о нем, как о каком-то сокровище, несколько примирила добрую женщину с будущим зятем. Действительно, этот черноволосый Марк очень красив и в него можно влюбиться. И есть в нем что-то загадочное, что нравится женщинам, и что смутило даже такую разборчивую невесту, как ее Сюша… И ей пришлось наконец полюбить. А то: «никого не люблю, да никто не нравится». Вот и «втюрилась», как институтка! — не то с досадой, не то с сочувствием раздумывала мать после разговора с Ксенией.

От Бориса скрыли будущий брак с Марком — он первый бы разнес эту новость по городу, но об отказе Павлищеву сестра сообщила и этим привела брата в восторг.

— Вот так ловко! Воображаю, какую жалостную рожу состроит его превосходительство. Ты когда же пропишешь ему отставку: до обеда или после? Ведь он сегодня верно у нас обедает?

— А ты как посоветуешь?

— Уж не порти ему аппетита и дай ему спокойно пообедать… Он ведь любит покушать, а сегодня его любимый биск и судак à la Colbert… Не лишай его этого последнего удовольствия в нашем доме! — смеялся Борис.

— Изволь, не лишу. Объяснюсь после обеда.

— И расскажешь мне весь ваш диалог? И опишешь, какую физиономию сделает этот ошпаренный кот? Нет, это ты отлично, что отказываешься быть министром. Хвалю, сестра… Что ж теперь, прикажешь звать Сицкого?

— И не думай…

— Так что ж ты, окончательно дала обет безбрачия?..

— Еще не давала…

— То-то… И лицо у тебя сегодня какое-то особенное… Точно ты не собираешься отказать жениху, а признаться кому-нибудь в любви… Совсем влюбленною глядишь… Кажется, не в кого было влюбиться, а?

Ксения не отвечала.

Между тем, Павлищев, не подозревавший сегодняшнего краха, веселый и довольный, в новом весеннем пальто, в цилиндре, надетом чуть-чуть набекрень, в свежих светлых перчатках, катил в шестом часу на исходе к Трифоновым на своем

красивом рыжем жеребце.

Сегодня он чувствовал себя как-то особенно хорошо. И весной пахло, и близостью миллиона, и министр на докладе был особенно любезен, два раза благодарил за последнюю записку и осведомился, правда ли, что он женится на Трифоновой? И когда Павлищев отвечал утвердительно, министр горячо поздравил и почти вызвался быть посаженным отцом своего «дорогого сослуживца», за что, конечно, Павлищев, благодарил и сказал, что считает это для себя счастьем.

По дороге он заезжал к Фаберже, выбрал там роскошный браслет для Ксении и приказал кучеру поскорей ехать…

Через четверть часа он уже входил в гостиную Трифоновых, радостный и сияющий, как и подобало быть жениху.

Все были в гостиной, когда вошел Павлищев, необыкновенно элегантный в своем кургузом вестоне, моложавый, красивый и цветущий, с подстриженными полосами и бородкой.

— Простите великодушно, что опоздал пять минут… Министр задержал…

И Степан Ильич с обычною почтительною любезностью поцеловал руку у своей будущей тещи, осведомился об ее здоровье, заметив ее

заплаканные глаза, крепко пожал руку Василию Захаровичу, Борису и англичанке и направился к Ксении, показавшейся в дверях своей комнаты.

Ему невольно бросилось в глаза какое-то особенное, радостно-просветленное выражение ее лица, и ее кокетливый изящный костюм, в котором она была сегодня необыкновенно моложавой и хорошенькой, и он, особенно нежно и значительно целуя ее маленькую руку, тихо шепнул ей:

— Какая вы сегодня очаровательная, Ксения Васильевна!

«Видно, и на нее весна действует!» — подумал Павлищев, радостно взглядывая Ксении в лицо.

Она невольно смутилась, тихо освобождая свою руку из руки Павлищева. И это смущение Павлищев объяснил в свою пользу. Наконец-то в барышне заговорило женское чувство, и в ней появилось желание нравиться будущему мужу. Давно пора!

Лакей между тем доложил, что кушать подано, и все пошли в столовую.

Василий Захарович сегодня с какою-то преувеличенною любезностью, которой он старался скрыть свое смущение, подвел Степана Ильича к заставленному закусками столику и просил

закусить, сожалея в душе, что ему приходится угощать Павлищева в последний раз. Наверное, уж он больше не покажется к ним в дом и, пожалуй, припомнит при случае нанесенное ему оскорбление. Ах, Сюша, Сюша!

Старик налил Павлищеву маленькую рюмку любимого им аллаша, а себе большую очищенной, и рекомендуя его вниманию «свежую икорку», только что полученную от одного приятеля с Урала, наложил полную тарелочку крупной, зернистой белужьей икры, при виде которой у Степана Ильича потекли слюнки и в глазах блеснул веселый плотоядный огонек.

— Прелесть! — почти восторженно проговорил он после того, как, чокнувшись с Василием Захаровичем и Борисом и опрокинув в рот рюмку аллаша, отведал любимой им закуски.

И, отойдя от столика, смолк, занятый едой и, казалось, забывший в это мгновение все на свете.

Он ел, не спеша, необыкновенно аппетитно, смакуя с видимым наслаждением настоящего гурмана, свершающего культ чревоугодия. Ксения, незаметно наблюдавшая за ним с той пристрастностью, с какой наблюдают женщины за человеком, который вдруг сделался для них чужим, теперь заметила что-то животное и в вы-

ражении этого гладко выбритого, холеного лица с медленно двигающимися скулами, и особенно в этих, словно подернутых маслом, блестящих плотоядных глазах. И Павлищев вдруг стал ей совсем противен. И она удивлялась, как раньше могла согласиться быть женой такого «изящного и выхоленного животного».

А Степан Ильич, не замечая этих взглядов, выпил еще рюмку водки, еще наложил себе икры и, перепробовав затем несколько вкусных закусок, с видом удовольствия взглянул на тарелки с биском, поставленные на столе и, усаживаясь, по обыкновению, рядом с Ксенией, привычным движением руки заложил салфетку за ворот рубашки и принялся за биск, который готовился у Трифоновых замечательно.

По видимому, Степан Ильич не замечал ни какой-то странной натянутости и неловкого молчания, бывших сегодня за столом, ни беспокойных взглядов, бросаемых стариком на Ксению, ни улыбки, бродившей на лице Бориса.

Покончив с биском и запив его рюмкой превосходной мадеры, Павлищев стал рассказывать, как сегодня министр почти навязался ему в посаженые отцы, и весело прибавил, обращаясь к Ксении:

— Надеюсь, вы ничего не имеете против этого?

Ксения пожала плечами и ничего не ответила, а Василий Захарович поспешил осведомиться о министре. Говорят, он необыкновенно много работает, несмотря на то, что доктора ему советуют отдохнуть. Это правда?

Павлищев усмехнулся.

— Это он сам любит рассказывать, — проговорил он, — особенно, когда ему кажется, что положение его не твердо, а сам, могу вас уверить, здоров. Он очень любит власть и потому мнителен до болезненности… Вот уж шесть лет, как я слышу от него, что он устал, и что ему пора отдохнуть… А между тем, предложите ему отдохнуть… он придет в отчаяние…

И Павлищев продолжал описывать своего патрона с тою откровенностью, с какой можно было позволить себе только в кругу близких. Он бесспорно умный человек, но считает себя непогрешимым и потому делает много глупостей… Ну, и опьянен несколько властью… Не любит противоречия.

— А вы, Степан Ильич, кажется, самый близкий к нему человек? — спрашивал Трифонов.

— Да, мы с ним ладим. Министр признает мои маленькие. способности, — промолвил скромно

Павлищев.

— И, конечно, ценит?

— На это пожаловаться не могу! — с веселою довольною улыбкой отвечал Павлищев, накладывая себе на тарелку рыбы.

Снова наступило молчание.

Когда Павлищев, после рыбы, с видом знатока потягивал золотистый иоганисбергер, Борис, переглянувшись с Ксенией, неожиданно проговорил:

— Говорят, что вы скоро будете министром, Степан Ильич?

Его превосходительство невольно покраснел и приятно осклабился, словно кот, которому поднесли кусок мяса.

— Мало ли какой болтают вздор…

— Отчего же вздор?

— Во-первых, никто и не думает меня назначать министром, а во-вторых, я слишком молод для такого поста и по служебному положению, и по летам.

— Однако, Ивкова же назначили… А он моложе вас, кажется?

— Исключение из правила ровно ничего не доказывает, Борис Васильич…

— А вы хотели бы быть министром, Степан

Ильич? — спросила Ксения и насмешливо взглянула на Павлищева.

— Плохой тот солдат, кто не хочет быть фельдмаршалом! — смеясь, отвечал Павлищев.

— И надеетесь?..

— Что за вопрос!? Можно хотеть и все-таки не иметь надежды… Все зависит от случая…

Лакей поднес блюдо, и Павлищев наложил на тарелку молодого цыпленка.

«Неправда, надеешься!» — подумала Ксения и почему-то решила, что Марк был бы несравненно лучшим министром, чем Павлищев.

Обед закончился спаржей и мороженым, и его превосходительство, после вкусных яств и нескольких рюмок доброго вина, встал из-за стола, слегка отяжелевший и размякший, в том добродушно-счастливом послеобеденном настроении, которое располагало Павлищева к мягкому креслу, душистой сигаре и к веселой болтовне, полной пикантных недомолвок, с хорошенькой женщиной.

Тотчас же после обеда все, исключая Ксении, быстро разошлись, не дождавшись кофе. Трифонов как-то смущенно и усиленно извинялся, что идет «соснуть часок», старушка, сославшись на мигрень, ушла с англичанкой наверх, взглядывая

на Павлищева грустным, безмолвным взором, а Борис, звякнув шпорами, удалился без всяких объяснений.

— Пойдемте ко мне, — проговорила Ксения.

Его превосходительство, ни о чем не догадывавшийся, очень обрадовался, что остается наедине с Ксенией, рассчитывая на приятный часок. Сегодня его невеста была такой обворожительной и, казалось, расположенной с большею терпимостью отнестись к флирту, на который, в качестве жениха, Павлищев имел несомненное право. А то эти одни почтительные поцелуи — благодарю покорно!

«Весна подействовала!» — снова пронеслось в его голове.

И он, следуя за Ксенией, жадными, замаслившимися глазами, как несколько минут тому назад смотрел на блюда, взглядывал теперь на сливочную шею и розоватый затылок девушки, и с видимым восхищением облюбовывал сзади ее гибкую стройную фигуру, на ходу слегка вздрагивавшую бедрами…

Он вошел вслед за ней в этот уютный, залитый светом, кабинет, и когда Ксения присела на диван, достал из кармана и подал ей открытый футляр с роскошным браслетом, на котором свер-

кал довольно крупный бриллиант.

— Не надо, — проговорила тихо Ксения, не поднимая глаз.

Тон ее голоса звучал мягко и в то же время серьезно.

— Это что значит, Ксения Васильевна? Разве не угодил? — удивился Павлищев.

И, придвинув кресло, он опустился в него и взял ее руку, она отдернула руку и, поднимая на Павлищева смущенное и серьезное лицо, проговорила:

— Степан Ильич, не сердитесь, если можете, и простите меня…

— Простить? За что? — растерянно прошептал Павлищев, сразу увидав по лицу Ксении, что ему предстоит выслушать что-то жуткое.

В голове его мелькнула мысль: «Уж нет ли за ней ошибки молодости и не хочет ли она покаяться!» И эта гнусная мысль даже на миг успокоила его. Он, конечно, великодушно простит «ошибку» девушки с миллионом.

А Ксения продолжала:

— Я раздумала и беру назад свое слово. Я не буду вашей женой!

Эти слова произвели на Павлищева поражающее действие. Бледный, с широко раскрытыми

глазами, он с каким-то жалким и растерянным видом смотрел на Ксению и в первое мгновение не находил слов, ясно понимая только, что миллион для него потерян…

И, несколько оправляясь от впечатления этих ошеломивших его слов, он прошептал:

— Это жестоко, Ксения Васильевна… Я вас так люблю.

— Позвольте в этом усомниться, Степан Ильич, — промолвила Ксения.

— Вы не верите?

— Простите, не верю. В вас оскорбленное чувство говорит, а не любовь… Но во всяком случае, простите меня. Я виновата.

— Можно спросить, какая причина вашего внезапного решения? — спросил Павлищев, скрывая закипавшее раздражение под маской глубоко оскорбленного человека, готового перенести свое несчастье, как следует порядочному и благовоспитанному человеку.

— Единственная… я уважаю… я расположена к вам, но я не люблю вас так…

— Как полюбили кого-нибудь другого? — перебил Павлищев.

— Я никого не люблю! — проронила Ксения, вся вспыхивая от этой лжи.

— Впрочем, что ж я расспрашиваю… К чему это? — проговорил Павлищев, вставая.

И он почтительно наклонил голову и вышел.

Возвращался его превосходительство домой злой и раздраженный, и весна уж более не действовала живительно на него. Дорогой он шептал ругательства по адресу Ксении и ее родителей и, когда вернулся домой, обругал без всякой видимой причины Викентия и заперся в своем кабинете, недоумевая, как мог случиться такой «скандал».

XX

Павлищев долго не мог прийти в то довольное, уравновешенное настроение, в каком находился до сих пор в качестве человека, не знавшего неудач и верившего в свою счастливую звезду. В самом деле, последние десять лет жизнь ласкала его, как баловня. Из незначительного чиновника, прозябавшего где-то в глуши, он стал любимцем министра и директором департамента. Блестящая репутация его была упрочена. Успех следовал за успехом, и впереди перед ним открывались широкие горизонты. По крайней мере, сам министр, считавший Степана Ильича своим лучшим помощником, пропагандировал его везде, как человека больших административных талантов и государственного ума, и не раз говорил своему любимцу, что готовит его себе в преемники… Все смотрели на Павлищева, как на восходящее административное светило…

Женитьба на Ксении сулила ему богатство. Как никак, а оно давало большую устойчивость его положению, расширило бы связи и знакомства, сделало бы его независимее, не говоря уже о приятности для такого эпикурейца, как Павлищев,

вести более широкий образ жизни, щегольнуть и роскошью обстановки, и изысканно-тонкими обедами, на которые можно было бы приглашать нужных людей.

Все шло как по маслу; богатство, казалось, было в руках, и вдруг этот совсем неожиданный отказ Ксении почти накануне свадьбы!

Его превосходительство злился, чувствительно оскорбленный в своем самолюбии и недоумевавший, что бы это значило. Не эта ли «зрелая дева» хотела быть его вдохновительницей и другом, маленькой Эгерией, следящей, чтобы супруг не сбивался с пути к благу человечества, и не он ли так ловко поддерживал свою будущую Эгерию в этих мыслях.

А главное, об этой свадьбе уже знали в городе. Счастливого жениха поздравляли и, разумеется, многие втайне злились и завидовали. Миллионная невеста, ведь, лакомое блюдо и не очень-то часто попадается…

И как ни старался Павлищев сделать bonne mine au mauvais jeu, а эта неудача его раздражала; при мысли о Ксении и об этих «дураках» Трифоновых, позволивших дочери поступить так «предосудительно и дерзко», на холеном, красивом лице его превосходительства появлялось

злое выражение, и в первые дни он расточал по их адресу не мало ругательств.

«Какой еще ей нужно партии, этой ободранной кошке!? — спрашивал себя его превосходительство, в раздражении забывая справедливость и называя так Ксению, изящная фигура которой еще так недавно его пленила. — Или она в самом деле влюбилась в кого-нибудь? Но в кого? В последнее время у них почти никто не бывал, да и она не из влюбчивых. Не даром она так пугливо относилась в поцелуям, эта холодная рыбья натура!»

Павлищев не мог уяснить себе причины внезапного отказа от такой блестящей партии, какую представляла собой его особа… Он не верил в объяснение, данное Ксенией. Ведь, она и раньше не была влюблена, однако дала слово. Не думал он также, чтобы до Ксении могли дойти слухи об его «ошибках молодости» и сыне. Да, наконец, он сам намекнул ей однажды об этом, и не юница же она, чтоб не знать, что у всякого человека бывают ошибки молодости. Подробностей о них она, конечно, знать не могла. Один Марк Борщов знает всю эту историю, но он, разумеется, слишком порядочный и преданный ему человек и слишком умен, чтобы распускать про своего начальника

скверные слухи.

— Ужасно глупы эти зрелые барышни, воображающие, что они оригинальны и умны! — не без злости проговорил вслух его превосходительство, объясняя себе отказ капризом избалованной и взбалмошной девушки.

Мысль о том, что Марк был счастливым его соперником, ни разу даже не пришла в голову Павлищева. До того он был далек от этого предположения.

Эта расстроившаяся свадьба совсем расстроила и денежные дела Павлищева. Близкое знакомство с Рогальской стоило ему денег, и десять тысяч долгу, которые он сделал в виду женитьбы, теперь являлись большой неприятностью. Деньги эти заняты были через посредство комиссионера, рекомендованного Павлищеву одним из его чиновников по особым поручениям — фактотумом по разным делам у одного ростовщика, имя которого тщательно скрывалось комиссионером. Да и он сам не знал, кажется, кто этот таинственный ростовщик, потому что имел дело не прямо с «капиталистом», как обыкновенно его называл этот юркий, румяный и веселый комиссионер из австрийских немцев, а с каким-то чиновником, на имя которого и писались двойные векселя.

Таким образом, Павлищев и не догадывался, что был дебитором одного весьма респектабельного тайного советника, с которым встречался в обществе, почтенного старичка, необыкновенно мягкого и приветливого, который негласно занимался ростовщичеством, взимая по 5 процентов в месяц. Дальний его родственник, незначительный чиновник, играл роль подставного лица и, в свою очередь, действовал через комиссионера. Нечего и говорить, что почтенный тайный советник не менее других сокрушался о язве ростовщичества и особенно об этих несчастных молодых людях, попадавших в руки «кровопийц-жидов». Удивительно чувствительный был этот старичок, пользовавшийся репутацией «истинно-русского» человека и скромно заседавший в каком-то незначительном совете, где получал тысяч пять содержания за право раз в месяц приехать в коллегию и согласиться с мнением министра.

Срок векселей был через два месяца, и надо было во что бы то ни стало уплатить деньги, тем более, что комиссионер, вскоре после отказа Ксении, явился рано утром к Павлищеву и почтительно предупредил, что «капиталист», вследствие многих потерь, решительно прикан-

чивает дела и настоятельно просит приготовить деньги к сроку. Разумеется, он, комиссионер, не сомневается, что такой пустяк нисколько не затруднит его превосходительство, но он счел своим долгом довести до его сведения… о просьбе «капиталиста».

Раздраженный Павлищев сказал, что постарается уплатить в срок часть суммы, а остальную просит отсрочить.

— Надеюсь, ваш капиталист согласится на это? — строго прибавил он.

Комиссионер обещал переговорить с «капиталистом» и уломать его.

— То-то, уломайте во избежание всяких неприятностей! — подчеркнул внушительно его превосходительство.

В воображении струсившего комиссионера уже мелькнула картина этих «неприятностей», грозивших высылкой из города после объяснений в сыскной полиции, и он поспешил тотчас же выразить уверенность в возможности соглашения и даже отсрочки всей суммы, решив в душе не работать впредь на таких генералов, которые запугивают, вместо того, чтобы честно расплатиться.

И Павлищев, пустивший эту угрозу, исполнить

которую едва ли бы решился, облегченно вздохнул, когда комиссионер удалился.

Через неделю уже все в министерстве знали, что свадьба Павлищева расстроилась, и что миллионная невеста ускользнула из-под носа его превосходительства. Он чувствовал это и по злорадным взглядам некоторых своих сослуживцев, и по вопросам о том, «скоро ли свадьба?», которые задавали ему некоторые из товарищей и знакомых.

Сам министр после одного доклада участливо спросил у своего любимца:

— Я слышал, будто ваш предполагаемый брак не состоится. Это правда, Степан Ильич?

— Правда, Василий Андреич.

— Гм-м… Очень жаль, очень жаль, — промолвил министр. — Могу спросить: что за причина такого неожиданного перерешения?

— Весьма простая, ваша высокопревосходительство. Узнали друг друга поближе и не сошлись характерами.

— Это бывает, мой милый… Очень даже часто бывает… Что ж, она оказалась особой дурного характера?..

— Слишком оригинальна, ваше высокопревосходительство! Пахнет синим чулком и хочет

какой-то кипучей деятельности… Ну, и взгляды не особенно уравновешенные… Я и испугался! — говорил Павлищев, зная нелюбовь своего патрона к барышням с высшим образованием.

— Вполне правы, что испугались. Я сам не люблю этих барышень, изучающих, знаете ли, разные науки… Совсем не их это дело… Все эти высшие курсы только портят наших дочерей и отнимают у них прелесть женственности… А без женственности что за подруга жизни?.. И я вам вполне сочувствую, Степан Ильич… Жаль только, что вы поторопились с предложением, а то теперь эти слухи… Скажут, что вам отказали…

Павлищев заметил, что он мало обращает внимания на слухи… Пусть говорят, что ему отказали… Это, по крайней мере, не компрометирует девушку. И он только его высокопревосходительству сказал, что отказался сам, а другим говорит, что невеста ему отказала.

— Это благородно, конечно, Степан Ильич… Очень благородно!.. — говорил несколько растроганный старик и шутливо прибавил, что найдет ему хорошую невесту.

— Я, ваше высокопревосходительство, уж лучше останусь холостяком…

— Не советую… Вам непременно надо же-

ниться, Степан Ильич… Обязательно! В вашем положении женитьба — почти необходимость — женатый человек представляет более, как бы это сказать, солидности, и это принимается в соображение при оценке людей…

Возвратившись с доклада, Павлищев несколько минут не принимался за дела, а ходил взад и вперед по своему большому, внушительному кабинету, погруженный в размышления. Ведь старик, в самом деле, прав! Необходимо жениться, чтобы его жизнь en garèon не помешала ему впоследствии и не дала повода усомниться в его семейных добродетелях. «Действительно, это придает государственному человеку известный престиж», не без усмешки подумал Павлищев, перебирая в памяти всех известных ему добродетельных государственных людей.

Он, разумеется, это и имел в виду, рассчитывая устроить семейное гнездо с Ксенией и бросить все свои любовные приключения, которые во всяком случае рискованны в его положении. И Павлищев невольно вспомнил об одном видном администраторе, влюбленность и ревность которого завершилась скандалом и потерей места, да еще какого места! И мало того — вся карьера этого человека покончилась из-за пары хоро-

шеньких глаз!

«Да, жениться необходимо!»

Курьер тихо приотворил двери кабинета и доложил:

— Надворный советник Борщов просят позволения вас видеть!

— Проси!

— Что скажете хорошенького, милейший Марк Евграфович? — спрашивал Павлищев, пожимая руку молодого человека и глядя на своего любимого чиновника с приветливой улыбкой. — Присядьте! — указал его превосходительство на кресло около письменного стола и опускаясь в свое. — Как наша работа… подвигается?

— Завтра я ее принесу — отвечал Марк.

— Завтра? Да вы, дорогой мой, имеете способность даже и меня удивлять своей быстротой и неутомимостью.

— За то я к вашему превосходительству с просьбой.

— Наконец-то и вы, Марк Евграфович, что-нибудь просите! — весело воскликнул Павлищев. — Какая же у вас просьба?.

— Разрешить мне поехать в отпуск.

— С величайшим удовольствием. Вы имеете на него полное право. На долго хотите?

— Если позволите, на два месяца.

— Охотно позволяю. Подавайте прошение. В какие страны собираетесь?

— Сперва заеду к сестре, а потом за-границу.

— И отлично. Поезжайте с Богом — отдохните. Ведь вы, надеюсь, не лечиться? Глядя на вас, преступно было бы подумать о каких-нибудь болезнях. Эка какой вы цветущий! — с невольной завистью прибавил Павлищев, глядя на этого румяного, дышащего свежестью и здоровьем красавца Марка…

— Никогда не бывал за-границей, хочется взглянуть на чужие страны.

— Куда же вы думаете именно ехать?

— Еще не решил. Во всяком случае побываю во Франции, в Англии и в Швейцарии…

— Парнаса, конечно, не минуете? Обязательно побывайте. И в Вену загляните… Впрочем, ведь вы какой-то монах, кажется, чуть ли не женоненавистник! — говорил, улыбаясь, Павлищев, — и не обратите должного внимания на представительниц прекрасного пола…

Марк промолчал, а Павлищев, круто меняя разговор, спросил:

— Давно вы видали Трифоновых, Марк Евграфович?

— Порядочно, — отвечал, не моргнувши глазом, Марк, проводивший ежедневно самые приятные вечера вдвоем с Ксенией.

— Вы, верно, слышали, — продолжал, слегка смущаясь, Павлищев, — что…

Он не докончил фразы. Марк молчал.

— …Что я больше не жених Ксении Васильевны…

— Нет, мне ничего не говорили…

— Ничего?.. — переспросил его превосходительство. — Ну, так я вам об этом говорю!.. Эта Ксения Васильевна весьма странная девушка… Видно, желает остаться на век старой девой… Темперамент у нее холодный… Не хочет вкусить от брака…

Марк не возражал, хотя бы и мог с полным правом сказать, что его превосходительство ошибается, и только с едва заметной улыбкой в глазах смотрел на Павлищева, думая, как будет поражен Павлищев, когда узнает, почему ему отказали.

Они простились большими приятелями. Через несколько дней Марк уехал к сестре, а Трифоновы заграницу. Встретиться они должны были в Монтре.

Май месяц Трифоновы провели в Монтре. И отец, и мать не только примирились с мыслью

о предстоявшем браке, но радовались ему, глядя на эту счастливую пару — на веселую, влюбленную Ксению и на этого умного, смелого красавца Марка. Он, по видимому, горячо любил Ксению и совершенно покорил ее своему влиянию. Она глядела на него, как на идола, эта умная, рассудительная девушка, ослепленная страстью. А он держал себя по-прежнему гордо и независимо, без особенных излияний, и вовсе не имел вида человека, подавленного счастьем, что делает такую блестящую партию. Напротив, со стороны можно было бы подумать, что Марк какой-то сказочный принц, осчастлививший выбором обыкновенную смертную. И эта манера себя держать невольно импонировала. Не могло и быть подозрения, что Марк женится единственно в виду богатства Ксении.

Со стариками Марк себя держал без какого бы то ни было заискивания — ровно и почтительно, восхищая нередко Василия Захаровича своими основательными взглядами на жизнь и меткими суждениями о людях. Он умел, так сказать, схватывать самую суть и выдвинуть самое существенное. И, сам того не замечая, старик подпал под влияние Марка, очарованный его трезвым умом и беспощадным анализом.

«Действительно, Ксюша права. Несмотря на свою молодость, он мудрее многих стариков, этот Марк!» не раз думал Трифонов, и будущее его любимицы казалось ему счастливым с таким мужем. «Он будет верным, честным супругом. Не даром же он вел монашескую жизнь. Совсем особенный этот Марк!»

Старик еще более полюбил его, когда однажды выслушал рассказ Марка об его детстве и всей прошлой жизни. Сколько он вынес и сколько нужно было железной воли и характера, чтобы выбиться на дорогу!

Марк не скрыл от него и истории своей сестры и о том, как Павлищев бросил ее на произвол судьбы, как потом, благодаря случайности, Павлищев обеспечил сына, положив на его имя десять тысяч.

— Так вот каков гусь Павлищев! — воскликнул старик. — А я ничего этого не знал…

— Юбочник! — с презрением промолвил Марк.

— Но послушай, Марк, как же ты не предупредил меня в то время, когда Ксюша была его невестой?

— С какой стати? И какое у меня было право предупреждать вас? Во-первых, вы могли подумать, что я действую в личных интересах, а во-вторых,

я думал, что Ксения любит Павлищева… Зачем же было отравлять ее любовь напоминанием об ошибке молодости его превосходительства, тем более, что он, хотя и поздно, а все-таки несколько ее поправил?

Василий Захарович оценил деликатность поведения Марка и спросил:

— Ты, конечно, ненавидишь Павлищева?

Марк пожал плечами.

— Слишком много чести. Да и вообще я редко ненавижу людей — я их только определяю. Да и за что его ненавидеть? Сестра сама была виновата — поверила в привязанность Павлищева и в его речи… Ну, а он мастер болтать с женщинами и производил на них впечатление, особенно когда был помоложе…

Василий Захарович только подивился здравым рассуждениям Марка и выразил надежду, что он избавит сестру от унизительной зависимости от Павлищева.

— Уж я это сделал. Она отказалась от ста рублей, которые высылал ей Павлищев. Я делюсь с ней…

— И десять тысяч лучше вернуть.

— Уже возвращены! — гордо промолвил Марк…

— Умница ты, Марк! — весело проговорил

старик, ласково трепля по плечу молодого человека. — Большая умница!.. Ты и без Павлищева выдвинешься. Ведь, он тебя, конечно, теперь не оставит при себе?

— Оставит! — уверенно отвечал Марк.

Василий Захарович бросил на него удивленный взгляд.

— Я ему нужен! — прибавил Марк, как бы в пояснение, — и он мною очень дорожит… А Павлищев настолько умен, чтобы не ссориться из-за пустяков…

— Отбить невесту с миллионом ты называешь пустяками? — с веселым смехом воскликнул Трифонов.

— Вот если бы я спихнул его с места — он не простил бы, а за Ксению — простит, как ему ни обидно, что богатая невеста выскользнула из рук! — промолвил, усмехаясь, Марк. — Ведь он прежде всего карьерист и жаждет власти.

— И ты останешься с ним служить?

— Отчего же не остаться? Останусь. Он наверное будет министром, и, значит, моя служебная карьера тоже обеспечена… Ну, а если Павлищев окажется глупее, чем я о нем думаю, я и без него теперь сделаю карьеру… Ведь, в департаменте знают, кто пишет Павлищеву записки, за которые

министр благодарит его превосходительство! Нет, он не захочет потерять хорошего работника! — прибавил Марк, полный уверенности.

* * *

Свадьба была назначена в начале июня. Главным образом торопила со свадьбой Ксения, да и старики скорей хотели покончить с этим делом. Чего еще ждать?

В последних числах мая вызвали по телеграфу Бориса и, когда он приехал, ему объявили, что Ксюша выходит за Марка. Борис был поражен, но принял это известие без особенного неудовольствия и даже смеялся при мысли, как будет поражен Павлищев. Марка он привык уважать и даже несколько побаивался. Конечно, сестра лучше бы сделала, если б вышла замуж за князя Сицкого, но… раз она «втюрилась» в Марка — толковать нечего. А что она, как он выражался, «втюрилась» — в этом не была ни малейшего сомнения. Стоило только взглянуть на нее, такая она была веселая и сияющая, такая нежная и мягкая и такими влюбленными глазами смотрела на Марка.

Пятого июня, рано утром, Трифоновы и несколько человек русских случайных знакомых в

Монтре, приглашенных быть шаферами и свидетелями, поехали в Женеву, и там в русской церкви произошло скромное венчание.

Радостная и счастливая, помолодевшая и хорошенькая, стояла Ксения перед аналоем в своем белом подвенечном. платье, которое так шло к ней, и с горделивым чувством взглядывала на стоявшего рядом с ней, чуть-чуть взволнованного, серьезного и дьявольски красивого Марка в своем элегантном фраке. Она в эту минуту не сомневалась в счастье на всю жизнь, полная беспредельной любви и страсти, а он думал, что теперь звезда его поднимется высоко… Богатство уже есть… карьера будет…

И на лице его блуждала гордая, вызывающая улыбка при воспоминании о прошлых днях нищеты и ничтожества, и в голове его бродили честолюбивые мечты…

Обряд венчания кончен. Молодые крепко поцеловались.

В тот же вечер они отправились путешествовать, а Василий Захарович уехал в Петербург, чтоб приготовить к приезду молодых отдельное роскошное гнездышко.

Два медовых месяца провели молодые в путешествии. Они побывали в разных местах Европы

и наслаждались счастием… Прежний монах и аскет Марк сделался самым пылким мужем. Долго дремавшая в нем чувственность молодого, здорового животного пробудилась, и он влюбился в Ксению со всем пылом впервые загоревшейся страсти, почти не обращая внимания на нее, как на человека, на ее духовный мир.

Это были какие-то безумные дни двух молодых, вырвавшихся на свободу животных. У Ксении эта страсть одухотворялась, так-сказать, поэтической иллюзией и благородной любовью. Марк такой любви не испытывал и словно не понимал, слишком черствый эгоист, чтоб ее понимать. И он, анализируя свои отношения к жене, только дивился, как силен в человеке зверь, дивился и не без чувства удовлетворения видел, что эта свежая, страстная и расцветшая Ксения, несмотря на свой ум и независимость, вполне его раба, влюбленная, преданная и вполне счастливая раба.

И он высокомерно думал, с холодным цинизмом:

«Теперь хоть разочаруйся Ксения во мне, она моя — всегда моя!»

* * *

В конце августа они вернулись в Петербург. Гнездышко, приготовленное стариком Трифоновым, было действительно прелестное, роскошно отделанное, полное комфорта, в небольшом особняке, неподалеку от дома Трифонова. Экипажи и четверка славных лошадей были в числе приданого. И с приездом молодых Василий Захарович вручил Ксении сохранные расписки государственного банка на один миллион и, кроме того, передал Марку безыменные билеты на триста тысяч в полное его распоряжение…

— Ну что, ты счастлива, Ксения? — спрашивал отец у своей любимицы на другой день, когда она приехала к своим.

— Страшно счастлива… Мне даже совестно, что я так счастлива!.. — говорила Ксения и вся почему-то краснела…

— Ну, и слава Богу… Марк, ведь, славный человек…

— Это прелесть, а не человек…

— Ты, кажется, молишься на него, Ксюша, — подсмеивался старик, радовавшийся за дочь.

— Еще бы не молиться… Он мой идол, — смеялась счастливая Ксения.

— Как-то он теперь объясняется с Павлищевым, твой идол! Он, ведь, к нему отправился.

— К нему. Через час обещал вернуться.

Действительно, Марк в это время был в департаменте, чтобы явиться к своему начальнику.

Его превосходительство был на докладе у министра, и Марку пришлось несколько времени ожидать.

И он ходил взад и вперед по приемной и улыбался, воображая, какое будет лицо его превосходительства при щекотливом объяснении.

XXI

— Генерал вернулись от министра, пожалуйте, — проговорил почтительно фамильярным тоном представительный старик-курьер Сидоренко, обращаясь к Марку.

— У директора есть кто-нибудь?

— Никого-с.

Войдя в кабинет, Марк направился к огромному столу, за которым сидел, обложенный бумагами, его превосходительство. Он, видимо, был в отличном расположении духа и весь, так сказать, сиял после доклада у министра, и Марк, бросив быстрый взгляд на своего начальника, тотчас же сообразил, что, вероятно, министр сообщил Павлищеву что-нибудь особенно приятное.

Марк не ошибся. Действительно, старик-министр объявил своему любимцу, что к новому году он его представит в тайные советники и будет просить о назначении Степана Ильича своим товарищем, но, разумеется, все это должно быть пока в большом секрете.

— Наконец-то! Очень рад вас видеть, дорогой Марк Евграфыч! Очень рад! — весело и приветливо воскликнул Павлищев и дружески пожал

Марку руку. — Я, ведь, без вас соскучился и приготовил вам много работы. У нас теперь разные реформы в полном ходу. Работа кипит, а таких золотых работников, как вы, мало… Присядьте-ка… Рассказывайте: хорошо ли отдохнули?

— Отлично, ваше превосходительство.

— Зато теперь я вас завалю работой, назначив делопроизводителем в двух комиссиях… С этими комиссиями мы спешим. Министр торопит, чтоб выработанные проекты поскорей представить в совет… Так уж вы, Марк Евграфыч, помогите, потрудитесь.

— Слушаю-с.

— А я, вы знаете, умею ценить труды подчиненных… Так с завтрашнего же дня примите все дела от временного делопроизводителя и являйтесь в заседание… Ну, что, поправилось вам за-границей? Ведь, хорошо там?

— Недурно.

— То-то, я говорил, что недурно. По глазам вижу, что ваше женоненавистничество прошло… Каковы роскошные венки? Ведь, правда, с ума свели, а? — говорил, смеясь, Павлищев и лукаво подмигнул глазом.

— Я заграницей женился, ваше превосходительство.

— Женились!? — воскликнул в изумлении Павлищев… — И даже без разрешения начальства? — шутливо прибавил он.

— Я был уверен, что оно разрешит…

— Ну, поздравляю, хотя, по правде сказать, не одобряю такой ранней женитьбы… Ведь вы еще совсем юнец… Зачем закабалять себя так рано… Еще было бы время свершить эту необходимую глупость. Марк Евграфыч… ну, сказывайте, где это вы, такой рассудительный молодой человек, попались, как кур во щи? Уж не на иностранке ли вы женились, а?

— Нет, Степан Ильич, на русской.

— Надеюсь, мой друг, что по крайней мере не на бесприданнице? — участливо спрашивал Степан Ильич. — По нынешним временам даже и шалаш с милой дорого обходится… А если еще пойдут дети, да каждый год… Кстати, подайте прошение… Мы вам рублей шестьсот выдадим по случаю свадьбы.

— Благодарю вас, мне не нужно.

— Отказываетесь от денег? Значит, женились на богатой?

— И даже на очень богатой, ваше превосходительство.

— Вот, за это хвалю! Это умно. Молодец вы,

Марк Евграфыч! — одобрял Павлищев, радуясь за Марка. — Без особого положения, без средств и жениться так хорошо!? Не секрет, на ком?

— Какой же секрет! На Ксении Васильевне Трифоновой! — ответил Марк, медленно отчеканивая слова, спокойным тоном, и глядел прямо в глаза Павлищева с самым, казалось, невинным видом.

Его превосходительство никак не ожидал подобной новости и, захваченный врасплох, в первое мгновение совсем ошалел и во все глаза смотрел на своего любимого чиновника по особым поручениям.

— На Ксении Васильевне? — невольно вырвался у него наконец вопрос.

— Точно так, ваше превосходительство, на Ксении Васильевне Трифоновой.

Павлищев уже успел оправиться от изумления и сообразить, какую змею он пригрел к сердцу и благодаря кому он получил отказ и лишился миллиона приданого.

«Однако, великая шельма этот молодой человек! Как он отплатил за все, что для него сделано! Конечно, он сообщил Ксении об „ошибке молодости“ и смутил ее, мерзавец!»

Хотя злое чувство и охватило его превосходи-

тельство, но в то же время он не мог не отдать своему счастливому сопернику справедливости в том, что он мастерски вел свою «подлую игру». То-то он ходил тогда по вечерам к Ксении и, вслед за отказом ее, попросился в отпуск — и ни гу-гу… А эта «старая девка» тем временем влюбилась в этого «красивого мерзавца», а он и урвал миллион прямо-таки из-под его носа! Ловкая бестия!

Вспоминая все эти обстоятельства, Павлищев удивился, как это он не догадался раньше, что ему отказали именно из-за Марка. Как он тогда опростоволосился, приглашая его навещать свою невесту… Разве можно было подпускать такое красивое животное к нервной деве… Но кто мог ожидать, что она пойдет за него замуж! И как отец допустил выйти за такого «проходимца»!

А он его еще только-что расхвалил за эту самую женитьбу!

Такие мысли проносились в голове его превосходительства и, несмотря на злость, он чувствовал невольное уважение к этому самому «проходимцу» и понял, что с ним во всяком случае надо считаться.

— Удивили меня вы, Марк Евграфыч, этой новостью, — заговорил Павлищев слегка ироническим тоном. — Я, признаться, и не ждал, что

именно вы были моим счастливым соперником… Поздравляю!..

Марк между тем поднялся с кресла и заговорил:

— Так завтра прикажете быть в комиссии?

— А вы разве теперь, сделавшись богачом, все-таки хотите работать?

— Охотно, особенно под вашим начальством.

— И даже моим? — улыбнулся Павлищев. — Что ж, я очень рад. Я в вас всегда буду ценить превосходного работника… До свидания, Марк Евграфович. Завтра в 12 часов здесь у меня соберется комиссия!

И Павлищев, пожав руку Марка, проводил его глазами до дверей кабинета, и когда Марк скрылся, проговорил не то с досадой, не то с одобрением:

— Далеко пойдет эта умная каналья!

— Ну, что, Марк, оставляешь службу у Павлищева? — встретил вопросом старик Трифонов Марка, когда он вернулся из департамента.

— И не думаю… Напротив, я назначаюсь делопроизводителем двух комиссий, и работы предстоит пропасть…

— И ты берешь на себя эту работу? — спросила Ксения.

— Конечно, беру.

— Но она утомит тебя, Марк.

— Не беспокойся. Я, ведь, привык работать. И, наконец, надо работать, чтоб сделать карьеру… У нас так мало умеющих работать! Все больше любят болтать! — высокомерно прибавил Марк.

Трифонов стал расспрашивать о том, как принял Павлищев известие о женитьбе Марка на Ксюше.

— Очень он был обижен? — спросила Ксения, смеясь.

— Сперва ошалел, а потом…

И Марк, рассказавши о бывшем объяснении и о том, как Павлищев хвалил его, что он женился на богатой невесте, не зная, кто она, в заключение прибавил:

— Как видите, он не дурак, Павлищев. Мы с ним не скоро расстанемся!

С следующего же дня Марк принялся за работу и через месяц, когда заседания комиссии были окончены, поразил всех членов мастерским и обстоятельным изложением составленной им записки по весьма сложному вопросу. Сжато, дельно, и точно, не упустивши ни одного из мнений, составил он протоколы комиссии и решительно привел в восторг Павлищева.

О молодом деловитом чиновнике заговорили в министерстве, и когда проект министерства прошел в совете, министр лично благодарил Марка и представил его к Владимиру 4-й степени, причем еще любезно заметил:

— Я взял бы вас, молодой человек, охотно к себе, но Степан Ильич не пускает!

Прошло еще несколько месяцев, и Марк сделался для Павлищева незаменимым человеком. Все самые сложные записки по департаменту писались им, и Степан Ильич не иначе называл Марка, как «золотым перышком». Когда к новому году Павлищев назначен был товарищем министра, Марк сделан был чиновником по особым поручениям при министре и откомандирован в распоряжение Степана Ильича.

Блестящая карьера улыбалась Марку, и Ксения влюблена была в него по-прежнему.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

Кто в Петербурге не знал в семидесятых! годах знаменитого и необыкновенно популярного Аркадия Николаевича Иволгина? Если вы не имели чести быть лично знакомы с Аркадием Николаевичем, то наверное видели этого высокого, статного господина лет под пятьдесят, с сухощавым лицом, опушенным заседевшей подстриженной бородой, с маленькими бойкими черными глазками, — в думе, в обществе содействия промышленности и торговли, на благотворительных собраниях, на публичных торжествах и открытиях, на банкетах, и слушали его уверенные, умные и всегда подходящие к случаю речи, вызывавшие почти всегда шумные одобрения большинства. Аркадий Николаевич умел говорить перед всякой публикой, зная требования своих слушателей, и так же восхищал молодежь, с одушевлением говоря о значении высшего женского образования и о сохранении идеалов, как и трезвенных, умудренных и солидных людей, когда, на каком-нибудь другом парадном обеде, среди лент и звезд, говорил об исконных русских устоях и о необходимости

неуклонно их держаться для счастия горячо любимой родины.

Во всяком случае, если вы такой нелюдим, что даже ни разу не видали Аркадия Николаевича, вы должны знать его по имени — до того часто оно появляется на страницах газет — и иметь некоторое понятие об его представительной наружности, производящей еще до сих пор впечатление на зрелых дам, по портретам, которые появились в витринах у нескольких фотографов и во всех иллюстрированных изданиях, по поводу празднования двадцатипятилетнего юбилея общественного служения Аркадия Николаевича на всевозможных поприщах.

Иволгин был изображен тогда в разных видах и в разных костюмах: и в кургузом, легкомысленном пиджаке, сидящим в кабинете, уставленном книгами, с задумчивым и даже несколько грустным лицом, и во фраке и в белом галстуке, с веселым и плутоватым выражением изящного джентльмена, только что «подковавшего» какого-нибудь нужного человека или «урвавшего» куш, и, наконец, в шитом мундире, с лентой через плечо и двумя звездами, — с мечтательно-серьезным, застланным взором чиновного авгура, мечтающего не то о Белом Орле на шею

(Владимира 2 степени он получил на юбилей), не то о благоденствии России, не то о хорошенькой и молодой женщине.

Тогда же вы могли познакомиться и с некоторыми, далеко не полными, впрочем, биографическими данными, любезно сообщенными Аркадием Николаевичем репортерам и «интервьюерам». Из них вы могли узнать, что Иволгин родился в 1828 году и происходит из дворянской небогатой семьи; образование свое получил в петербургском университете и кончил курс кандидатом прав. Сперва служил, и очень ретиво, на казенной службе, но затем был только причислен и отдался иной деятельности. Перечислив разнообразные роды деятельности Аркадия Николаевича, начиная от издания в шестидесятых годах книг для народа и сотрудничества в те же времена в либеральных газетах, многие газеты уже от себя, конечно, распространялись о необыкновенной талантливости Аркадия Николаевича, об его отзывчивости на все доброе и полезное, об его энергии и уме и кончали хвалой его необыкновенно практическому уму и знанию жизни, столь отличающим этого видного деятеля от тех «людей кабинета» и «узких доктринеров», которые застыли на своих взглядах и, словно

«замаринованные», не идут вместе с жизнью. А уважаемый Аркадии Николаевич Иволгин не только идет, но, можно даже сказать, «бежит вместе с ней».

При этом, разумеется, разнообразная и плодотворная деятельность Аркадия Николаевича — этого деловитого и неутомимого общественного работника — ставилась в то время многими органами прессы в образец «нашему вялому и сонному обществу». Вот, дескать, какие люди есть и могут работать и при добром желании приносить пользу, несмотря иногда на препоны.

Предполагая даже некоторую «юбилейную» преувеличенность всех этих газетных дифирамбов и принимая в расчет склонность отечественных биографов к восхвалению выдающихся деятелей в чине тайного советника, тем более, что для обнаружения цинических чувств есть разные исправники и становые, если, по нечаянности, они попадутся только в объятья прокурора, — справедливость все-таки требует сказать, что разнообразие занятий и служб Аркадия Николаевича было действительно изумительное. И многие только удивлялись, что такой неутомимый, практический человек, выказавший и административные дарования, когда управлял

одним громадным коммерческим предприятием, обладавший блестящими ораторскими способностями, знанием жизни и людей и таким уменьем убеждать и очаровывать людей, что, по вульгарному выражению одного умного адмирала, «мог куда угодно пролезть без мыла», — как такой человек не занял какого-нибудь служебного блестящего положения.

Казалось бы, Аркадий Николаевич был прирожденным, так сказать, провиденциальным человеком, прошедшим все фазы приспособления, начиная с шестидесятых годов и кончая временами нашего повествования. Он был и радикалом, когда издавал книжечки для народа, и не без увлечения, сидя после хорошего обеда в плотно запертом кабинете, требовал в кружке приятелей правового порядка и говорил, проглотив, правда, много рюмок бенедиктина, что без правового порядка лучше не жить, а умереть. Однако, благополучно жил, даже хорошо устраивался и, по прошествии некоторого времени, когда радикальный образ мыслей начал выходить из моды, сделался либералом, постепенно переходя из одной краски в другую, но все еще охотно занимался женским вопросом, и так как был собой очень виден и имел язык хорошо

привешенный, то смущал не мало дам своим вольнодумством, и чуть, было, не пострадал от одного ревнивого мужа. Когда затем и либерализм, хотя бы самый умеренный, стал казаться не соответствующим времени, Аркадий Николаевич почувствовал себя оппортунистом и, где нужно, объявился в таковой роли, что, впрочем, не мешало ему при встречах с прежними знакомыми хитро подмигивать, цинически скорбеть, негодуя на новые времена, и обманывать многих наивных людей, которые даже и после многочисленных метаморфоз Аркадия Николаевича все-таки но старой памяти продолжали его считать за сочувствующего и все еще помнили, что он издал несколько книжек для народа, писал передовые статьи в либеральной газете и водил знакомство с литераторами.

С тех пор он и остался оппортунистом или, как сам себя называл, «человеком жизни». И преуспевал, прославив свое имя.

Несмотря, однако, на свои блестящие способности и умение «улавливать момент», Иволгин видной служебной карьеры не сделал, хотя и имел две звезды. Правда, его друзья и поклонники нередко назначали Аркадия Николаевича на видные посты и дивились, что его не призывают

(нынче, ведь, так трудно найти людей!), но Иволгин скромно, но решительно объявлял, что он никаких блестящих постов не желает и доволен своим настоящим положением и тем общественным служением, которое выпало на его долю.

Вдобавок, это служение и обеспечивало гораздо более, и все-таки до известной степени удовлетворяло кипучую, деятельную его натуру и льстило его безмерному самолюбию, доставляя ему популярность.

Он был председателем двух правлений (железнодорожного и банковского, в которых получал до тридцати тысяч), был выдающимся гласным в думе, влиятельным и блестящим оратором и председателем многих думских комиссий (жетоны и там были), членом многих благотворительных учреждений, видным деятелем в нескольких обществах, в которых заботятся о промышленности, о торговле, о мореходстве, о технике, об образовании, словом — обо всем на свете, что только может быть полезным отечеству и в то же время доставить ораторам случаи рекламировать себя и иметь связи с более или менее полезными людьми, и, числясь в одном ведомстве, получал чины и звезды, призываемый в качестве сведущего человека к участию в разных

комиссиях.

И везде он поспевал, везде говорил, везде, где можно, «получал» или деньги, или чины, умел ладить с влиятельными лицами и действовать на людей самыми разнообразными способами своего бесконечного репертуара: на кого лаской, на кого необыкновенным добродушием, на кого обещаниями местечка или чем-нибудь подобным. И его друзья и поклонники крепко держались за популярного человека, славословя его по стогнам столицы.

Но Боже сохрани было возбудить чем-нибудь ненависть Аркадия Николаевича. Боже сохрани было усомниться в его непогрешимости, в его талантах и осмелиться противоречив ему. Тогда деспотический по натуре Иволгин не успокаивался, пока не стирал в пыль врага своего, и для этой цели не брезговал никакими средствами.

Репутация его была давно установившаяся. Одни считали его замечательно умным и честным общественных деятелем, другие — порядочной канальей.

Но обыкновению, истина была в середине.

* * *

В это хмурое зимнее петербургское утро Аркадий Николаевич Иволгин был в отвратительном расположении духа и видимо чем-то серьезно озабочен. Быстрыми, нервными шагами ходил он взад и вперед по своему большому, роскошному кабинету, и его энергичное, красивое еще лицо, с высоким наморщенным лбом и небольшим вздернутым носом было мрачнее тучи.

По временам он круто поворачивался, подходил к письменному столу и брал скомканный номер газеты, прочитывал какую-то заметку и, швырнув газету, отходил прочь и со злобой шептал, невольно сжимая кулаки:

— Мерзавцы!.. Негодяи!..

И снова ходил, опустив голову и порой вздрагивая, точно от какой-то острой боли.

Газетная заметка, возбуждавшая такую злобу в Аркадии Николаевиче, когда-то яром поборнике гласности, была следующего содержания:

«В городе ходят тревожные слухи об одном известном своими большими оборотами банке. Говорят — и мы имеем в руках кое-какие факты — будто там не хватает значительных сумм, и эта потеря или растрата тщательно скрывается

при помощи дутых отчетов, утверждаемых, благодаря подставным акционерам, образующим большинство, и близким к правлению членам ревизионной комиссии. Если слухи эти, к сожалению, окажутся справедливыми, то что сказать о преступной халатности правления, во главе которого стоит и всем в банке ворочает лицо, хорошо известное в мире дельцов и пользующееся уже давно и, казалось, заслуженно репутацией блестящего администратора. Еще не далее, как на-днях председатель правления с обычным своим красноречием, каким он блещет и в думе, говорил на общем собрании о блестящем положении дел банка и вызвал горячие благодарности. Что все это значит? Не пора ли вмешательству прокурора?»

О, с каким наслаждением Аркадий Николаевич перервал бы в эту минуту горло репортеру, который сообщил все эти сведения в газету, довольный, что мог дать эти сенсационные сведения и по праву гордиться званием хорошего репортера. С каким удовольствием Аркадий Николаевич дал бы этому бедняку, зарабатывающему свой горький хлеб, пятьсот, тысячу рублей, чтоб только он не печатал этой заметки! И репортер, конечно, отлично знал, что был бы желанным гостем у

Аркадия Николаевича и вышел бы от него с туго набитым бумажником, но он и не подумал об этом, а предпочел честно заработать своей заметкой несколько рублей и первым дать своей газете известие, добытое и проверенное им, благодаря нескромности одного служащего в банке, с которым репортер был знаком.

Действительно, в этой небольшой заметке если не все, то кое-что — и даже многое — было правдой, и потому она и злила так Аркадия Николаевича. Завтра все газеты, разумеется, перепечатают известие, и пойдут по городу слухи, принимая необычайные размеры и преувеличивая действительное положение банка. И, что еще ужаснее, имя Аркадия Николаевича, безукоризненное до сих пор, станут трепать в газетах, не разобравши, в чем дело, и не понимая, виноват ли он действительно, или нет. Ошибку сочтут за преднамеренность, за злоупотребление… О, подлец!.. И кто мог сообщить банковскую тайну!

А потери в банке, в самом деле, были значительные, благодаря нескольким крайне рискованным спекуляциям, и банк, что называется, «трещал». Но про это знали только посвященные авгуры и старались энергичными мерами поправить дела и избегнуть краха и суда, на котором могло

открыться кое-что, не особенно приглядное: и дутые отчеты, и родственный состав правления, и крупные награды самим себе, и странные выдачи сумм разным, совсем не коммерческим лицам по векселям, из года в год переписываемым… Аркадий Николаевич не терял надежды, рассчитывал и на свои связи, и на уменье очаровывать своими речами, и на некоторые имена заемщиков банка…

Еще вчера, когда в правлении решено было обратиться за ссудой к правительству, Иволгин долго беседовал с Павлищевым и объяснял, как неблагоприятно отразится на торговле, если банк принужден будет ликвидировать дела и объявить себя несостоятельным, не говоря уже о скандале судебного разбирательства, на котором могут фигурировать многие почтенные имена.

И Иволгин назвал два-три звучных имени лиц, состоявших дебиторами банка.

Павлищев обещал помочь своим влиянием и послал Аркадия Николаевича к Борщову переговорить о подробностях, выработать вместе с ним проект соглашения и тогда уже подать докладную записку.

II

С тех пор, как Марк женился, прошло четыре года, и он необыкновенно быстро подвинулся по службе. Марк в 28 лет уже был статским советником и, состоя при министре, исполнял видные поручения, ездил несколько раз делегатом заграницу, председательствовал в нескольких комиссиях, писал записки и пользовался особым расположением, как человек замечательных способностей и неутомимый работник, с которым легко и приятно работать. Доклады его были всегда точны, ясны и сжаты, записки основательны, и он умел схватывать мысли, так сказать, с намека и передавать их на бумаге в блистательном изложении. Вопрос о назначении Марка директором канцелярии был только вопросом времени, пока найдется приличное место, на которое можно было бы назначить лицо, занимавшее эту должность. Об этом ему говорил Степан Ильич, который уж давно забыл о «неблагодарности Марка» и был с ним в отличных отношениях, понимая, что с Марком ссориться невыгодно. Вдобавок, Марк оказал ему и большую услугу, в высшей степени деликатно предложив Степану

Ильичу помочь в его денежных затруднениях, о которых Павлищев как-то говорил при Марке. И его превосходительство не отказался и занял десять тысяч на уплату долгов, и с тех пор отношения их стали еще лучше.

Марк принял Иволгина с деловой, несколько холодной сдержанностью, и когда Аркадий Николаевич объяснил, что его к нему прислал Навлищев, Марк предложил Иволгину объяснить в чем дело.

Надо сказать правду, Аркадий Николаевич «объяснял» дело этому молодому, серьезному и внимательно слушавшему чиновнику, не спускавшему своих черных пронизывающих и, казалось, слегка насмешливых глаз с лица оратора, — далеко не с тем убедительным красноречием и не с тем блеском, с каким он только что говорил с Павлищевым. Что-то мешало ему. Он словно чувствовал, что Марк не из тех людей, которых он умел «подковывать» с таким мастерством, и что на него едва ли действует одушевление, с каким Аркадий Николаевич говорил о задачах и значении банка для нужд торговли и промышленности, о необходимости правительству, в видах поддержки торговли, прийти на помощь и т. п.

По крайней мере, на бесстрастном лице Марка Аркадий Николаевич не замечал ни одобрения, ни сочувствия. Марк слушал, не прерывая ни разу, и только, когда Иволгин вполне высказался, заметил:

— Вы какую сумму желаете?

— Всего один миллион.

Марк записал цифру в свою записную книжку и сказал:

— Потрудитесь прислать мне все отчеты банка…

— С большим удовольствием… Но это задержит решение вопроса. Степан Ильич в принципе согласился… Вероятно, и вы согласны?..

— Я пока не имею мнения, да оно для вас и не важно, если Степан Ильич вам обещал, — проговорил Марк с едва заметной улыбкой.

— Но Степан Ильич просил вас доложить ему об этом.

— Я и доложу, будьте спокойны, и постараюсь не задержать доклада. Через день, много два он будет представлен Степану Ильичу.

Иволгин встал, не особенно довольный разговором с этим сухим чиновником, и мысленно окрестил его почему-то «кабинетным» человеком. Однако, очень благодарил, что дело скоро

будет доложено, и уехал, обещая немедленно прислать все необходимые сведения.

Не понравился ему этот «чинодрал» тем более, что он знал, какое он имеет влияние на Павлищева, но он надеялся, что Павлищев не отступится от слова и, конечно, поймет необходимость во что бы то ни стало отвратить скандал…

— И сегодня как нарочно эта подлая заметка! — проговорил со злостью Иволгин и, взглянув на часы, подавил пуговку электрического звонка.

Вошел благообразный лакей.

— Скорей закладывать лошадь! — нетерпеливо проговорил Аркадий Николаевич.

Через полчаса он уж мчался на своем рысаке в редакцию газеты, где помещена была заметка, и с возмущенным видом убеждал редактора, что напечатанное известие вздор с начала до конца. Он удивляется только, как «многоуважаемый» редактор мог напечатать такое сообщение. Кажется, репутация его, Аркадия Николаевича, слишком известна, чтобы бросать на него тень… Иволгин говорил убедительно, горячо, припомнил, что он всегда был другом прессы и понимает пользу гласности; но в данном случае гласность является не полезной, а вредной, и очевидно репортер был введен в заблуждение.

И редактор, убежденный доводами Аркадия Николаевича, обещал в следующем же номере опровергнуть известие.

Иволгин рассыпался в благодарностях и в тот же день объехал всех редакторов с просьбой не перепечатывать заметки.

На другой же день в «Чижике» появилось категорическое опровержение, и ни в одной газете не появилось перепечатки.

Аркадий Николаевич ожил.

III

Эти дни, в ожидании ответа, Иволгин находился в большом волнении.

«Дадут ссуду или не дадут?»

Эти мысли не давали ему покоя. Он то надеялся, то падал духом, догадываясь по разговору с Марком, что тот далеко не на его стороне. И если б еще поручили это дело какому-нибудь другому чиновнику, с которым бы можно было «сговориться», как деликатно называл Аркадий Николаевич интимные беседы за завтраком в отдельном кабинете модного ресторана. Во время таких завтраков Иволгин устраивал на своем веку не мало дел и не даром же пользовался репутацией необыкновенного мастера «устраивать» и «проводить» всякие дела. А Борщова не пригласишь завтракать! Он сам богат и с ним ничего не устроишь. Вдобавок он и отчеты проштудирует надлежащим образом и, конечно, найдет в них кое-какие отступления от закона и, как формалист, может придраться и доложить своему начальству с чисто «кабинетной» точки зрения узкого чиновника. Они, ведь, всякое дело тормозят и жизни не понимают, эти чиновники,

не понимают громадного значения банка для торговли, и для того, чтобы выдвинуться, готовы разорить тысячи людей…

Такие рассуждения о чиновниках были любимым коньком Аркадия Николаевича, и он разражался на эту тему блестящими филиппиками, особенно когда какое-нибудь проводимое им дело встречало препятствия.

Вопрос о ссуде был для него страшным вопросом. В случае благоприятного ответа — спасение; в противном случае — крах банка и, главное, его самого. Ни для кого не было секретом, что он был воротилою в банке, и что все там делалось по его велениям. Он там был непогрешимый и всемогущий владыка и что приказывал «сам Аркадий Николаевич», то считалось законом. Остальные директора или были его родственниками и приятелями, или ничего не понимавшими безгласными людьми, подписывавшими, не читая, какие угодно постановления, и все они преклонялись перед «великим человеком», дававшим и большие дивиденды акционерам, и хорошие жалованья и награды своим покладистым коллегам.

Аркадий Николаевич в эти дни уже принял кое-какие меры для обеспечения успеха. Не далее,

как вчера он был у знакомой читателю Анны Аполлоновны Рогальской, которая в последнее время совсем оставила свое хлопотливое ремесло — просить в приемных за мифических сестер и братьев. Она устроила мужу хорошее место на дальней окраине и жила одна в роскошном и уютном гнездышке, пользуясь благосклонностью одного семидесятипяти-летнего старика, который, на закате дней своих, почувствовал «третью молодость» и, влюбившись в блондинку, усиленно занялся гимнастикой, делал массаж и даже пробовал броун-секаровское средство. Повергнув к стонам «чародейки» любовь и деньги, и, разумеется, не малые, к досаде своей супруги и детей, старик проводил вечера у своей возлюбленной и, благодаря терпеливому мужеству, с каким молодая женщина выносила его ласки — находил, что-жизнь еще полна не одних только административных радостей… И он был сентиментален и игрив, писал Анне Аполлоновне стихи и, ревнивый, требовал уверений, что он один ею любимый; уверения эти, конечно, не заставляли себя ждать.

Сановный муж, пользовавшийся в свое время, и не без оснований, репутацией умного и решительного человека, совсем глупел в присут-

ствии соблазнительной блондинки и верил и ее комплиментам, и клятвам в любви и верности. Верил и влюблялся все более и более; привозил ей, кроме определенного месячного содержания, еще и дополнительные суммы, не считая разных подарков, словом, тратил за свою «третью молодость» такие деньги, что супруга его и дети, серьезно опасаясь за сохранение довольно большого состояния старика, положили на семейном совете принять экстраординарные меры. Решено было через старшего сына предложить этой «подлой женщине» до сорока тысяч отступного с тем, чтобы она тотчас же скрылась из Петербурга, пригрозив, в случае ее несогласия, высылкой из города. Если же «подлая» не пойдет на соглашение, то обратиться к содействию властей…

Аркадий Николаевич очень скоро сошелся с Анной Аполлоновной на десяти тысячах, если старик напишет письмо, в котором попросит кого следует не отказать в просьбе Иволгина. В то же свидание Анна Аполлоновна получила в виде задатка тысячу рублей, а на остальные деньги ей была выдана довольно хитро составленная расписка. Вечером того же дня Иволгин был извещен, что письмо написано и завтра же будет в надлежащих руках.

Между тем, Марк, добросовестно изучив отчеты, отправился к Павлищеву и доложил ему, что ходатайствовать о ссуде на льготных условиях миллиона из государственного казначейства нет никаких оснований.

— Отчеты банка неудовлетворительны, и истинное положение дел довольно искусно скрыто, — прибавил Марк.

— Я все это знаю, Марк Евграфыч, — отвечал, слегка морщась, Павлищев. — Знаю, что у них и подставные акционеры, и семейное правление, и родственная ревизионная комиссия, но Иволгин обещал все эти порядки изменить… Во всяком случае, крах байка не желателен и тем более нежелателен судебный скандал… Вы видели, чьи векселя учитывал Иволгин… Он, ведь, умная бестия и знал, что делает. И, наконец, банк не в безнадежном положении… Ссуда его выручит, и рискованных спекуляций Иволгин делать больше не станет… Надо, Марк Евграфыч, уважить просьбу. Составьте, пожалуйста, доклад в этом смысле и пошлите Иволгину сказать, чтобы правление подало прошение.

Марк не сделал никакого возражения. Ему, собственно говоря, решительно все равно: дадут ли миллион казенных денег или нет. Не станет же

он защищать свое мнение из-за таких пустяков.

И он ответил, принимая обратно снова записку:

— Так я напишу другой доклад.

— Пожалуйста… И распространитесь, знаете ли, о значении банка для торговли и промышленности, о том, что он поставлен был в критическое положение, благодаря застою в делах, ну, одним словом… Вы ведь сами знаете, как все это изображается! — прибавил с улыбкой Павлищев.

— Еще бы не знать! — усмехнулся Марк.

— Надо дать, — снова заговорил, словно бы оправдываясь, Павлищев. — Если бы не дали да на суде фигурировали имена некоторых заемщиков, нас потом съели бы. Что делать, милейший Марк Евграфыч! Не все можно делать, что хочется… Законы-то у нас о двух концах. Надо, следовательно, принимать в соображение время и пространство! — заключил свои рассуждения его превосходительство.

IV

В то самое утро, когда Марк беседовал в министерстве с Павлищевым, в кабинете Ксении сидел Василий Захарович Трифонов.

Он только-что приехал к дочери, и Ксения, радостно встретившая отца, тотчас же заметила, что отец взволнован, хотя и старался это скрыть. Он сегодня рассеянно отвечал на вопросы, далеко не с обычной горячей лаской встретил своего трехлетнего внучка, хорошенького черноволосого мальчугана, немедленно прибежавшего в комнату, как только-что услыхал, что дедушка у мамы, и имел какой-то сконфуженный и растерянный вид, какого Ксения никогда не видала в своем энергическом отце. И сердце ее забило тревогу.

«Что такое случилось?» думала она, тревожно заглядывая в глаза отцу и не смея сама начать расспросы.

Сильно осунулся и постарел Василий Захарович за последний год, хотя крепкое здоровье его, казалось, и не пошатнулось. Он ни на что не жаловался, по прежнему чувствовал себя хорошо, а между тем, вдруг сразу «осел», сделался раздражи-

телен и нервен и на целые дни запирался в своем кабинете и там, за письменным столом, щелкал на счетах, подводил какие-то итоги и затем, мрачный, как туча, ходил по комнате, опустив свою седую голову. Никто не догадывался, что значила такая перемена в Василии Захаровиче, обыкновенно веселом, живом и разговорчивом; хотя за обедом, особенно когда бывали гости, и на своих четвергах, старик старался быть веселым, по зоркий глаз Ксении видел, что эта веселость была напускная. На заботливые вопросы своих об его здоровье, старик всегда отвечал, что здоров, видимо недовольный такими вопросами. Мысль о том, что дела Василия Захаровича пошатнулись и это его сильно озабочивает и тревожит, никому не приходила в голову, — до того это казалось невероятным. Не даром же Трифонов имел репутацию осторожного и благоразумного человека, неспособного броситься в какое-нибудь рискованное или неверное предприятие, и вся его жизнь свидетельствовала об этом. Он был из тех дельцов, которые рассчитывают на верняка и редко ошибаются в расчетах. В нем не было, так сказать, «художника наживы», азартного игрока, ставящего на карту крупные ставки.

Никогда не посвящавший в дела своих домаш-

них, да и вообще никого, Василий Захарович, однако, в последнее время иногда, как бы вскользь, при случае говорил, что новые заводы его радуют. «Следовательно, дела идут хорошо», думала Ксения, недоумевая, отчего отец так переменился. Вдобавок, еще недавно он сделал крупное пожертвование — внес двести тысяч в одно благотворительное учреждение, во главе которого стояли высокопоставленные лица. Таких крупных пожертвований не делают, разумеется, лица, дела которых расстроены. Кроме того, Василий Захарович в этот год чаще, чем прежде, задавал роскошные обеды, стоившие сумасшедших денег, на которые приглашались избранные гости. Словом, все, казалось, говорило, что миллионы Трифонова не тронуты и в целости лежат в государственном банке.

Из близких Трифонову людей один только Марк, казалось, кое о чем догадывался, несмотря на эти видимые признаки благосостояния своего тестя. Он понимал самолюбивую натуру старика, понимал, что не даром он говорит о своих делах, тогда как прежде никого не удостаивал такими разговорами, и под рукой наводил справки. О том, что Марк узнал, он, разумеется, не сказал никому, а тем более Ксении.

Но зато однажды, когда после обеда сидел свои обычные полчаса у Ксении, перед тем, что приниматься за работу в кабинете, Марк как-то завел речь о делах и, между прочим, посоветовал Ксении — положить свои деньги вкладом в государственный банк на долгий срок.

— Разве держать их в бумагах невыгодно, Марк? — спросила Ксения.

— Положим, выгодно… Ты получаешь около пяти процентов, а тогда будешь получать около четырех. Но зато мы с тобой, Ксения, будем гарантированы от соблазна…

— От какого?..

— Мало ли какого?.. Я, ты знаешь, очень скромный в своих привычках человек…

— Совсем скромный, — перебила Ксения…

— А и у меня иногда являются мысли: купить большое имение, чтобы получать более того, что мы получаем… А к чему нам?.. Разве нам мало? Слава Богу… Так вот, во избежание таких соблазнов и чтобы оставить детям в неприкосновенности то, что ты получила, не лучше ли не иметь возможности трогать капитала… Что ты думаешь, Ксения?

Напрасный вопрос! Ксения по большей части думала, как Марк, и, разумеется, тотчас же со-

гласилась.

И, словно бы загипнотизированная Марком, до сих пор еще влюбленная в него со всей силой первых дней, она с каким-то наивным восторгом счастливой, удовлетворенной жизнью, женщины, смотрела на красавца-мужа, не подозревая тайной мысли его предложения. Умная женщина, скептик по натуре, умевшая разгадывать людей, она была слепа только относительно Марка, считала его каким-то высшим существом и, слишком любившая его, никогда и не задумывалась над этим странным характером. Он импонировал ее и своим беспощадным анализом, и силой, и своей жизнью, так не похожей на жизнь других молодых людей в его положении. В самом деле, он как будто не пользовался богатством. У него остались прежние скромные привычки, прежняя любовь к работе, к чтению в своем кабинете, главная роскошь которого были книги. Как муж, он был образцовый — всегда дома, и никуда его не тянуло; ни тени ухаживания за кем-нибудь из хорошеньких знакомых дам, бывавших у них, всегда ровный и спокойный. И, ревнивая по натуре, Ксения ни разу не испытывала за эти четыре года мук ревности. Она ревновала его только к «службе» и находила, что он уж через чур много

работает и проводит с ней меньше времени, чем бы ей хотелось… По крайней мере они редко читают вместе, не так часто разговаривают, как тогда, как он был женихом. Несмотря на четыре года супружества, многое в Марке оставалось для Ксении неясным и непонятным, но она восполняла это непонятное воображением любящей женщины, объясняла себе его увлечение работой непомерным честолюбием выдающегося человека и довольствовалась редкими часами бесед, вознагражденная уверенностью в его серьезной привязанности и счастливая его горячими ласками мужа. Трехлетний сын и крошка девочка дополняли ее счастье, и прежняя беспокойная, ищущая интересных людей, Ксения, пополневшая и расцветшая, сделалась одною из тех женщин, для которых сосредоточивался весь интерес жизни в детях и муже.

Для Марка она необыкновенно заботилась теперь о своих туалетах, о прическе, стараясь быть всегда одетой к лицу и сохранить подолее свежесть, красоту и привлекательность. С этой целью она берегла и холила свое тело, брала какие-то особенные ванны, заказывала роскошные капоты и с инстинктом умной женщины, понимающей животное в человеке, хотела быть

не только преданною и любящею женой, но и желанною любовницей, не надоедающею мужу, особенно такому молодому и красивому, как Марк.

И надо отдать справедливость Ксении. Она нравилась Марку, и семейная их жизнь не омрачалась никакими бурями.

* * *

После нескольких минут, во время которых смущение Василия Захаровича все более увеличивалось и в сердце Ксении росло все большее беспокойство, она, наконец, решилась спросить:

— Папочка, родной… Что с тобой? Ты, кажется, чем-то взволнован.

— Я?.. Ничего особенного, Ксюша… Так, разные неприятности.

И старик попробовал, было, улыбнуться, но вместо улыбки на лице его появилась гримаса. Губы как-то перекосились и скулы судорожно задвигались.

— Какие неприятности, родной? Скажи, тебе легче будет, — произнесла Ксения дрогнувшим голосом и, как бывало прежде, обвила его шею и крепко поцеловала отца в щеку.

Старик был тронут этой лаской и с губ его гото-

во уже было вырваться признание, но что-то его удержало, и он проговорил, поднимаясь с места:

— Ничего особенного. С завода неприятные известия. Ну, я, по обыкновению, слишком близко принял к сердцу… Стар становлюсь… Однако, прощай, Сюша… Кланяйся мужу…

Трифонов хотел уходить.

— Папочка, куда ж ты? Голубчик, не уходи… Я вижу, что тебя что-то мучает… Я давно это вижу… Не одни вести с завода… Ужели ты не хочешь поделиться с своей Ксюшей заботами… Скажи же мне, что случилось?

Старик грустно взглянул на свою любимицу и, казалось, все еще колебался. А между тем, ведь он ехал к дочери именно за тем, чтобы ей все рассказать.

— Садись, папочка… Ведь я вижу по твоему лицу, что есть что-то очень серьезное… Не правда ли? — чуть слышно прибавила Ксения.

— Правда! — глухо и словно бы с усилием промолвил он и опустился в кресло.

Прошло несколько секунд в молчании. Наконец, старик поднял опущенную седую голову и решительно проговорил:

— Я накануне разорения, Ксюша…

— Ты?

— Да, я… Так сложились дела… Завод меня доконал… И я приехал к тебе, чтобы просить твоей помощи… Твой миллион меня может спасти… Еще не поздно!

V

Хорошо знавшая самолюбивую натуру отца, Ксения поняла, как тяжело было для его гордости сделать подобное признание даже ей, его любимице-дочери, и обратиться к ней за деньгами. Она читала это и в смущенном, полном страдания, выражении его лица с подергивавшимися скулами, и в растерянном взгляде, и в тоне его упавшего, вздрагивавшего голоса. Ей теперь стало понятным все: и то, что он вдруг осунулся и постарел, и его раздражительность последнего времени, и напускная веселость при гостях.

«Бедный отец! Он страдал молча, ни с кем не делясь своими заботами, и колебался даже мне сказать. Хотел уйти, не заикнувшись о деньгах, точно боялся, что я могу их пожалеть!»

И полная бесконечной любви к отцу и в то же время обиженная, она с упреком сказала ему:

— И ты, папа, раньше мне ничего не сказал? Ты даже вот сейчас хотел уходить, оставив меня в недоумения?.. Да разве ты смел думать, что деньги, которые ты мне дал, не твои? Разве я могла бы хоть на минуту задуматься снять последнее свое платье для тебя? О, папочка, папочка! Зачем

ты обижаешь свою дочь! — взволнованно, со слезами на глазах прибавила Ксения.

Растроганный старик нежно целовал дочь и уверял, что он никогда не сомневался в своей Ксюше… Разве он не знает своей голубушки?..

— Но ведь ты не одна, Ксюша, — прибавил Василий Захарович.

— Ты что же?.. Ты думаешь, что Марк может быть этим недоволен? — воскликнула Ксения, краснея от охватившего ее негодования.

— Я ничего, родная, не думаю, но во всяком случае надо его спросить.

— И спрашивать нечего. Он обрадуется, что эти деньги тебе пригодятся… Бери сейчас же билеты, папочка, они у меня. Марк, слава Богу, еще не успел осуществить своего предположения. У него, видишь ли, была одна комбинация…

Старик на-отрез отказался взять билеты без согласия Марка и любопытно спросил:

— А какая у Марка была комбинация?

— Положить эти деньги в государственный банк вкладом на долгий срок…

— Он собирался это сделать! — переспросил Трифонов, видимо заинтересованный.

— Да. Завтра хотел. Говорил, что так лучше.

— Гм-м… лучше? Почему же именно лучше? Вы

бы получали менее дохода.

— Он говорил, что зато меньше соблазна затратить их на какое-нибудь дело, например на покупку имения…

— И давно у него явилась такая блестящая мысль?

— На-днях. Да ты что, папочка, расспрашиваешь?.. Марк, разумеется, будет рад, что не положил денег. Ведь мы не знали, что они могут тебе понадобиться… Ты скрывал от нас, что дела твои плохи… Ни я, ни Марк не догадывались об этом…

Старик вдруг сделался серьезен, и мрачная тень пробежала по его лицу. Слова дочери, казалось, далеко не убедили его. Напротив! Они только заставили его догадаться о причинах этой внезапной «комбинации», придуманной Марком, и с грустью взглянуть на Ксению.

Несколько мгновений он молчал.

— Слушай, Ксюша, что я тебе скажу, — проговорил он наконец решительным и властным тоном, напомнившим Ксении прежнего отца:- я тебе очень благодарен за готовность мне помочь, в ней я, конечно, никогда и не сомневался, но если твой муж выразит какое-нибудь сомнение, то я не возьму твоих денег и постараюсь достать

где-нибудь хотя бы за большие проценты… Знай это. Марк деловой и умный человек и, разумеется, понимает, что вы рискуете, отдавая мне деньги… Я, положим, выдам тебе вексель и буду платить проценты, но если, не дай Бог, я разорюсь…

— Папа, замолчи! — перебила его Ксения. — Как тебе не стыдно говорить такие вещи! Разве эти деньги Марка? Разве он женился на мне ради богатства? Если ты не хочешь взять сейчас билеты. Марк тебе их привезет сам…

Ксения была взволнована, а старик, знавший, как она боготворит своего Марка и не желавший омрачить счастия своей любимицы, торопливо и нежно проговорил:

— Да ты чего кипятишься, Ксюша?

— Как не кипятиться!? Ты предполагаешь, что Марк может колебаться… Ведь это было бы… нечестно и неблагодарно с его стороны… Марк на это не способен! — горячо воскликнула Ксения, гордая и уверенная в благородстве своего Марка.

Снова Василий Захарович подумал о будущем счастии Ксении и, почти уверенный, что из-за этих денег может выйти серьезная размолвка дочери с мужем, сказал:

— Ничего нечестного и неблагодарного не было бы. Ты, Ксюша, напрасно такие слова говоришь…

Ей-Богу, напрасно… И я нисколько бы не был в претензии на Марка, если бы он поступил не так, как ты рассчитываешь… Он может не думать о себе, но, как благоразумный человек, должен подумать о будущности твоей и ваших детей… То-то он и хотел положить деньги вкладом… Это доказываем его заботливость… и любовь к семье… Каждый, Ксюша, за себя, а Бог за всех!

И старик хотел было улыбнуться, по улыбка вышла какая-то грустная.

Он заторопился домой, несмотря на просьбы дочери посидеть. Он с какою-то особенною ласковостью простился с дочерью и проговорил:

— Смотри же, Ксюша, помни, что я сказал, и не ссорься с Марком из-за этих денег. Я где-нибудь достану…

— Поссориться с Марком из-за денег!? Ты, папа, совсем его не знаешь!..

«Умную „комбинацию“ придумал этот Марк. Предусмотрительный молодой человек»! — размышлял, грустно усмехаясь, старик Трифонов в то время, как рысак, нес этого полуразорившегося миллионера в банк.

И Василий Захарович, поближе приглядевшийся за эти четыре года к своему зятю, припомнил теперь его рассуждения и взгляды и почему-то

пожалел свою Ксюшу.

«Она и не догадывается, какой он жесткий человек!» — подумал он и вслух проговорил:

— Предусмотрительная комбинация!

* * *

Хотя Ксения и возмущалась против отца, осмелившегося усомниться в радостной готовности Марка отдать миллион, и была уверена в благородстве своего мужа особенно в денежных делах, тем не менее слова отца и эта комбинация Марка несколько смутили ее, и она с какой то непонятною для нее тревогой ждала возвращения Марка, взволнованная и испуганная…

Она корила себя, корила отца за то, что у нее минутами закрадывалось сомнение. Господи! Как ей не стыдно? Разве для нее не ясен этот сильный и благородный характер? Возможны ли какие-нибудь сомнения?..

А между тем, ей что-то говорило, что многое в человеке, которого она боготворит, облечено в какую-то таинственность. В нем чувствуется твердый характер, но иногда его спокойные и холодные определения резали ее какою-то страшною безучастностью…

Слова отца заставили ее серьезно размышлять

о Марке, кажется, в первый раз со времени их супружества, и напрасно старалась она теперь уверить себя, что знает Марка.

Нет, она его не знает!

Она безгранично любит его, но не знает!

Продолжая думать о нем, Ксения припомнила, как он редко с ней говорит и как он бесстрастен в своих суждениях. Он точно все классифицирует и сам остается в стороне, спокойный. Во что он верит? Чему сочувствует? К чему стремится?..

И Ксения не без горького чувства должна была сознаться, что душевная жизнь Марка для нее не совсем открыта. Она знает только, что он честолюбив, необыкновенно уважает в людях силу и ум… Она знает, что он идеальный муж, но так ли он близок ей духовно, как и физически?..

И ей вдруг становилось жутко при мысли о предстоявшем объяснении.

«А что, если отец прав?»

И Ксения гнала от себя эти мысли, чувствуя себя бесспорно виноватой уже за то, что в помыслах могла усомниться в любимом человеке. В такие минуты чувство любящей женщины брало верх над анализом, и Марк снова являлся в ее глазах в блестящем ореоле благородства и силы. И снова она была уверена, что знает своего Марка, и

нетерпеливо ждала его приезда, чтобы скорей доказать отцу, как он заблуждается.

Наконец раздался звонок, *его* звонок. В гостиной послышались уверенные твердые шаги Марка, и Ксения бросилась к нему на встречу радостная и веселая. При виде Марка все сомнения показались Ксении каким-то святотатством, и она воскликнула:

— Мне надо с тобой поговорить, Марк… Сейчас был папа… Ты знаешь ли, его дела совсем расстроены?

— Расстроены? — переспросил Марк.

Голос его, по обыкновению, был тих и спокоен. Это кольнуло Ксению, и она бросила упрек:

— Как ты спокойно принимаешь такое печальное известие, Марк?

Марк взглянул на жену слегка удивленными глазами.

— Разве тебя это не трогает?

— Ну, положим, и трогает, но разве непременно надо волноваться?.. В самом деле, дела его так плохи? — несколько мягче проговорил Марк и в душе обругал себя болваном, что не исполнил своего намерения относительно жениных денег… — Что тебе говорил твой отец? Может быть, ему нужна помощь?

— Необходима…

Ксения жадно ждала, что он скажет об ее деньгах, но Марк вместо того проговорил:

— Так это легко устроить. Я скажу Павлищеву, и твоему отцу можно устроить ссуду на льготных условиях…

— Но прежде я отдам отцу свой миллион! — промолвила Ксения и, бледная, смотрела в упор на Марка. — Ты, конечно, согласен? — прибавила она.

VI

Казалось, слова Ксении не произвели на Марка впечатления. Ни один мускул не дрогнул в его лице.

А между тем, злоба кипела в нем. Злоба и на свою непредусмотрительность, и на эту «сентиментальную дуру», которая ставит на карту будущность и его, и детей. Благодаря этому, он лишится богатства, а вместе с тем и независимости, и карьера его может померкнуть. А ведь легко было устроить женины деньги так, чтобы не выпустить их из рук…

В эту минуту он смотрел на обожавшую его женщину, как на врага, и, несмотря на уменье владеть собой, в глазах его сверкнула злая, жесткая улыбка, когда он ответил:

— При чем мое согласие? Ты уже решила.

— Но, Марк, разве ты не понимаешь?

— Чего не понимаю?

— Мне необходимо, чтобы ты одобрил мое решение. Без твоего согласия и папа не желает брать деньги… Но, главное, для меня твое согласие важно. Необыкновенно важно, Марк! — значительно и с какою-то внушительною торжественностью

говорила Ксения, заглядывая в лицо Марка с выражением страха и мольбы… — Видишь ли, Марк… Ты прости, мне показалось, будто ты недоволен моим решением. Ведь я ошиблась? Не правда ли? Ты просто приехал со службы раздраженный и не вник хорошо в мои слова… Говори же скорей, прошу тебя. Предположим даже, что этот миллион мы потеряем, но наш долг помочь папе, и ты, разумеется, не пожалеешь о деньгах? У нас, наконец, останутся еще триста тысяч, которые папа тебе дал. Мы можем жить скромней… К чему нам такое богатство?.. Отвечай же, Марк!

О, с какою тревогою нетерпения она ждала теперь ответа. Ей было жутко, словно человеку над пропастью, и она почему-то думала, что с этим ответом связана вся ее дальнейшая судьба.

Что ж он молчит!? Скорей, скорей скажи он два-три жданных слова, и она бросится к нему на шею, моля о прощении… Ужели он их не скажет? Ужели Марк не тот, каким она его считает?

Ксения хотела прочесть ответ в его лице. Но сердце ее упало, и какое-то совсем новое чувство — чувство недоверия, страха и разочарования в любимом человеке — закрадывалось невольно в ее душу, — до того холодно и жестко-спокойно было это свежее, румяное и красивое лицо.

В эти краткие мгновения Ксения вдруг вспомнила его мнения и взгляды, полные беспощадного скептицизма, его речи, холодные и бесстрастные, его честолюбие и неразборчивость средств, вспомнила, наконец, отношение к ней… Одна физическая близость и никого духовного общения!.. Она почти его не видит, и всегда одна…

Прежние чары словно бы исчезали. С глаз влюбленной женщины спадала пелена. Она начала прозревать, и мысль о том, что Марк никогда ее не любил и женился на ней ради богатства, воспользовавшись ее страстью к нему, словно молния, озарила ее голову и жестоко оскорбила в ней гордость женщины… Ужели она ничего этого не понимала?… Ужели страсть так ослепила ее?..

И в глазах Ксении блеснул злой огонек, и в голосе ее зазвучала раздражительная властная нотка, когда она воскликнула:

— Что ж ты молчишь? Отвечай: одобряешь ли ты мое решение помочь отцу?

— Разумеется, не одобряю! — твердо проговорил Марк и слегка побледнел.

Еще секунду тому назад Ксения предчувствовала этот ответ. И все-таки он поразил ее, как нечто чудовищное. Она, казалось, не верила своим ушам и, изумленная, с широко открытыми

глазами, смотрела на мужа.

А Марк между тем продолжал:

— Присядем-ка лучше, Ксения, и поговорим спокойно…

С этими словами он опустился в кресло. Села и Ксения, подавленная, ждавшая чего-то тяжелого и ужасного.

— И, главное, не будем раздражаться, — продолжал Марк, бросая взгляд на Ксению, — раздражение только мешает зрело обсудить… Я вижу: ты удивлена, но когда выслушаешь меня…

— Я слушаю, — перебила Ксения.

— Видишь ли. Ксения, я понимаю твой порыв спасти отца. Это — совершенно естественный порыв и с известной точки зрения вполне великодушный и благородный…

— С известной точки зрения? А разве есть другая точка зрения?..

— Конечно, есть, ты это сейчас поймешь… В данном случае, возникает вопрос: можно ли миллионом, который ты дашь отцу, поправить его дела?.. Я имею некоторое понятие о делах Василия Захаровича и решительно говорю, что твои деньги его не спасут… Он все-таки будет разорен и, следовательно, помощи ты ему, действительной помощи, никакой не окажешь, а

разве только дашь ему маленькую отсрочку. Вместо того, чтобы объявить себя несостоятельным теперь, он сделается им через шесть месяцев или через год…

— Ты, значит, знал, что дела папы плохи?…

— Знал.

— И потому недавно предлагал положить деньги вкладом в банк? — спрашивала Ксения, по видимому, спокойно.

— Да, я хотел спасти твои деньги. И, признаюсь, очень жалею, что опоздал… Но я все-таки не теряю надежды убедить тебя — не отдавать денег. Повторяю: отца ты не спасешь, а детей лишишь состояния… Деньги твои уйдут неизвестно куда, вместо того, чтобы быть в руках у людей, которые умеют ими пользоваться… Богатство — сила и большая сила. За что же добровольно лишаться ее?.. Оно нужно и для детей, и для нас… Оно понадобится и для твоего отца, если он разорится… На что он потом будет жить?.. Ты видишь, я о нем же забочусь, Ксения, — подумай об этом спокойно и позволь мне съездить к отцу и переговорить с ним… Он наверное поймет меня… И, наконец, можно устроить ему ссуду из казны, это будет гораздо лучше… Быть может, ему дадут миллиона два и окажут действительную помощь и, таким

образом, мы не лишимся состояния из-за ложно понятого чувства любви… Ты согласна, Ксения, чтобы я переговорил с отцом? — прибавил Марк мягким и нежным тоном.

Ксения не поднимала опущенной головы, и Марк уже думал, что его доводы подействовали. Ведь, она так его любит, своего Марка, и не захочет идти против его желания.

Но когда, через несколько секунд, Ксения подняла голову, и Марк увидал лицо жены, он понял, что между ними теперь все кончено.

Перед ним была не прежняя влюбленная, покорная его воле женщина, а совсем другая — словно чужая.

Бледная, как сама смерть, с надменно приподнятою головой и страдальческим лицом, она смотрела на Марка с каким-то спокойным и холодным вниманием, точно разглядывая нечто любопытное и вместе с тем чудовищное, и презрительная, уничтожающая улыбка стояла в ее прищуренных глазах и нервно подергивала ее губы.

И Марк не опустил перед ней глаз и вызывающе, смотрел на жену, которую в это время ненавидел за то, что она разгадала его, своего бывшего идола, и глядит на него с таким презрением.

Несколько секунд прошло в жутком молчании.

И, наконец, Ксения проговорила тихо, с отчетливою медленностью:

— Папа был прав, сомневаясь в вашем согласии… А я… я только теперь узнала, какой вы… подлец… Видно, купеческая порода в вас сказалась!

Несмотря на самообладание Марка, его всего передернула от этого оскорбления, нанесенного женщиной, которая еще час тому назад молилась на него. Злоба душила его, та бессильная злоба, которая и сдержанных людей приводит в бешенство. Кровь отлила от его щек, и он побледнел. Ему стоило больших усилий, чтоб сдержаться.

— Очень жаль, — проговорил он с холодной усмешкой и глядя на Ксению злыми глазами, — что так поздно узнали… И я, признаюсь, считал вас умнее и не думал, что вы предусмотрительность считаете подлостью…

— Вы, вероятно, и женились на мне, предусмотрительно рассчитывая на мое богатство, чтоб легче сделать карьеру, — проговорила Ксения с насмешливым спокойствием.

— Не скрою, имел его в виду, когда увидел, что вы влюбились в меня и предпочли Павлищеву…

— И без моего миллиона не женились бы на

мне?

— Догадаться, я думаю, не трудно! — с циничной откровенностью ответил Марк.

— Благодарю… Вы, по крайней мере, откровенный… Сегодня же я уезжаю с детьми к папе, а адвокат переговорит с вами о разводе. Надеюсь, вы ничего не имеете против развода?.. Вам заплатят за него! — прибавила Ксения и вышла из комнаты.

* * *

В тот же день Ксения приехала с детьми к отцу и объявила ему, что рассталась с мужем.

Старик был в отчаянии. Он понял причину разрыва и пробовал, было, оправдать Марка. Он ради любви к жене и детям не соглашался рисковать состоянием. Он прав.

И старик умолял дочь примириться с мужем. Он ни за что не возьмет этих проклятых денег.

— Ты их возьмешь, папа. А о нем ни слова, слышишь ли, никогда ни слова! — проговорила Ксения с порывистостью и со злостью в голосе.

— Но, ведь, ты так любишь Марка, моя родная?

— Любила! — прошептала Ксения.

— А теперь?..

— Презираю и стыжусь, что любила такого

подлеца… Если б ты только знал…

И Ксения зарыдала.

Когда дня через два один известный адвокат явился к Марку для переговоров, Марк объявил, что согласен на развод и готов взять всю вину на себя.

— А какие вам угодно назначить условия? — спросил адвокат, рассчитывая, что муж, которого бросила жена с миллионом, потребует крупного вознаграждения.

— Никаких!

— То-есть, как никаких?.. Вы, вероятно, не изволили понять меня, Марк Евграфович, я хотел сказать…

— Просто никаких. Кажется, понятно? — резко промолвил Марк и насмешливо посмотрел на удивленного адвоката.

Еще более удивился адвокат, когда Марк вручил ему сохранные расписки на 300,000 и просил их передать Трифонову.

— Потрудитесь выдать в получении этих денег расписку! — проговорил Марк, и когда расписка была выдана, распростился с адвокатом, прибавив, что он всегда к его услугам, с девяти до одиннадцати, по делу развода.

Через неделю вся обстановка богатой кварти-

ры Марка, экипажи и лошади были отосланы в дом Трифоновых, и сам Марк перебрался в маленькую, очень скромную квартиру, взяв с собой лишь свою громадную библиотеку.

VII

У Аркадия Николаевича Иволгина тревожно забилось-таки сердце, когда, дней через пять после свидания с Павлищевым, рано утром курьер доставил ему коротенькую официальную записку, в которой было сказано, что «его превосходительство Степан Ильич Павлищев покорнейше просит его превосходительство Аркадия Николаевича Иволгина пожаловать к нему в министерство сегодня, пятого декабря, в 12 часов утра».

До сих пор Иволгин не мог ни от кого узнать, в каком направлении был составлен доклад по ходатайству банка о ссуде. Чиновники решительно ничего не знали и не могли даже указать на писаря, переписывавшего доклад, так как он переписывался на дому у осторожного Марка. Павлищева эти дни никак не удавалось повидать, хотя Иволгин и заезжал в министерство по несколько раз в день. Его превосходительство был так занят, что положительно разрывался и никого из частных лиц не принимал, исключая как в приемный день. Несколько спешных комиссий, в которых он председательствовал, разные спешные дела заставляли Степана Ильича, так

сказать, всего себя приносить на алтарь отечества, тем более, что ходили слухи, будто министр устал и хочет отдохнуть и возложил всю обузу на своего любимца, как бы приготовляя себе преемника. Марк, который бы мог дать самые точные сведения, как нарочно, не приходил в министерство, и почему он не приходит, никто не мог сообщить.

Обуреваемый понятным нетерпением, Аркадий Николаевич решился поехать к Борщову на квартиру и был не мало изумлен, когда, остановившись у подъезда роскошного особняка, увидал носильщиков, выносивших мебель и другие вещи и нагружавших фуры.

— Борщовы съезжают? — спросил он швейцара, подбежавшего к дверце кареты.

— Точно так, ваше превосходительство! Уже съехали! — ответил швейцар.

— Куда? — удивился Иволгин.

— Барыня с детьми изволили переехать к родителям, а барин… История вышла-с…

Швейцар не окончил и замялся.

Аркадий Николаевич, охотник до «всяких историй» и умевший их узнавать, догадался сунуть швейцару бумажку, и спросил:

— Какая история? Расскажи-ка!..

Швейцар объяснил, что господа рассорились и разъехались.

— Разводиться, слышно, будут, ваше превосходительство.

— А не знаешь, из-за чего вышла история, братец?

— Не могу знать. Горничная сказывала, из-за денег будто…

Узнавши новый адрес Борщова, Иволгин отправился к нему и был окончательно изумлен, когда дворник указал ему на подъезд во дворе и сказал, что г. Борщов живет в четвертом этаже, двадцать четвертый нумер.

«Однако же, большим дураком оказался этот Борщов, а говорили, что умный человек! Расходится с женой миллионершей и забирается в четвертый этаж! Неужели он не сумел обеспечить себя?» размышлял Аркадий Николаевич, поднимаясь по лестнице.

— Можно видеть Марка Евграфыча? — спросил он у отворившего ему двери пожилого лакея довольно мрачного вида.

— Марк Евграфыч не принимают.

— Мне, братец, на одну минутку… По самому важному делу. Пожалуйста, доложите и передайте карточку, а вот эту бумажку возьмите

себе! — прибавил Иволгин, протягивая трехрублевую бумажку.

К удивлению Иволгина, давно уже не понимавшего, как можно отказываться от денег, когда их дают, мрачный лакей бумажки не взял и сказал:

— Я и так доложу, но только вряд ли примет.

И действительно, через минуту лакей вернулся и объяснил, что барин извиняется, но принять не может, так как занят.

«Скотина — чинодрал!» чуть, было, вслух не проговорил оскорбленный и взбешенный Иволгин и ушел, сильно упавши духом.

«Верно этот выскочка хочет отличиться и написал доклад не в нашу пользу!» думал он, спускаясь по лестнице.

На следующий день, ровно в двенадцать часов, маленькая карета Иволгина остановилась у министерства. Он поднялся в приемную и просил представительного старика-курьера Сидоренко доложить о себе Павлищеву, но оказалось, что его превосходительство еще не возвратился с доклада и Иволгину пришлось ожидать.

Эти десять минут ожидания были долгими и тяжелыми минутами для Аркадия Николаевича, во время которых он давал себе обещание быть вперед осторожнее, если только дело выгорит, и

не рисковать так, как рисковал до сих пор, надеясь на свой ум и изворотливость… Он нервными, быстрыми шагами, словно зверь в клетке, ходил по приемной, и надежда сменялась унынием, уныние надеждой… Дадут или не дадут?.. Спасут ли банк и его вместе с банком, или его репутация необыкновенно умного и даровитого дельца рухнет, а вместе с репутацией рухнет и положение… И в живом воображении его уже проносилась картина торжественной обстановки суда после тех долгих дней следствия и тех газетных нападок, которые, разумеется, обрушатся на него, как только узнают о крахе банка… Эти газетчики рады случаю… Мерзавцы!

Но умные люди не должны допустить этого. *Они* не могут не дать ссуды… не могут… Иначе, ведь, обнаружатся на суде имена безнадежных заемщиков, и какие имена?… Умно ли будет допустить скандал? В интересах ли благоразумия показывать перед большою публикой то, что можно скрыть!?..

«А я ведь тогда никого не пощажу… Все векселя отдам следователю!» мысленно угрожал Иволгин, полный злобы на тех самых людей, которым он сам же широко открывал в банке кредит ради своих целей…

— Пожалуйте к генералу! — доложил Сидоренко, давно уже понявший, как хороший физиономист, что для Иволгина это свидание крайне важно и что, следовательно, от этого просителя может перепасть хорошая получка, если свидание окончится благополучно.

И старик от души пожелал успеха Аркадию Николаевичу, отворяя ему двери кабинета.

Радостная улыбка блеснула в маленьких черных глазках Иволгина и с души его точно скатилось тяжелое бремя, как только он вошел в кабинет и увидел веселое и приветливое, свежее и выхоленное лицо Павлищева, приподнявшегося с кресла в своем кургузом вестоне и любезно протягивавшего руку Иволгину.

— Очень рад, Аркадий Николаевич, что могу порадовать вас приятным известием… Вашему банку миллион дают… Милости просим. Садитесь…

Иволгин облегченно вздохнул и стал рассыпаться в благодарностях. Он знает, что банк обязан поддержкой исключительно Степану Ильичу, его государственному уму и мудрой прозорливости…

— Пожалуй, отчасти и мне, Аркадий Николаевич, — смеясь, отвечал Павлищев. — Я сильно

настаивал перед министром о необходимости поддержать банк, обещая ему, что впредь правление будет осторожнее… Отчеты ваши, знаете ли, оставляют многого желать, и до министра дошли слухи об этих общих собраниях с дутыми акционерами. Знаю, знаю, везде это практикуется, но этому пора положить предел, и мы вырабатываем теперь новый проект, — говорил Павлищев, приписывая себе заслугу, которой собственно не имел, так как ему вовсе и не приходилось убеждать кого-нибудь в этом деле.

— Не отчасти, а вполне вам, Степан Ильич.

— Не преувеличивайте моего содействия в этом деле, Аркадий Николаевич, а оставьте кое-что на долю имен кое-каких клиентов вашего банка и на долю Анны Аполлоновны Рогальской! — засмеялся Павлищев и лукаво подмигнул глазом. — Надеюсь, это не секрет, сколько вы дали ей за то, что она заставила графа третьей молодости написать письмо?

— От вас нет секретов! — скромно отвечал Иволгин. — Десять тысяч!

— Довольно еще снисходительно!

— Но эти деньги брошены совершенно напрасно, Степан Ильич, и я в этом деле только исполнил волю товарищей… Я был уверен, что

вы поможете… Ведь от краха банка пострадали бы серьезно интересы торговли… Разорились бы многие купцы и…

— Все это мы имели в виду, Аркадий Николаевич, — иронически усмехнувшись, перебил Павлищев. И быстрый, лукавый его взгляд точно говорил:

«К чему ты разводишь все эти глупости?»

И Иволгин тотчас же сообразил, что надо оставить эти «глупости», и спросил:

— Когда возможно получить деньги?

— Завтра… Я сделаю распоряжение, чтобы поторопились, а то, того и гляди, появится какая-нибудь газетная статейка, как несколько дней тому назад.

— Больше не появится! — уверенно заметил Иволгин.

— Ну, и слава Богу!.. Эти газеты, ведь, так рады напасть на каждого видного человека… Вот только не всегда им можно…

— И это счастье для России! — воскликнул Иволгин.

— И особенно для нас, общественных деятелей, — засмеялся Павлищев. — По крайней мере, меньше крови портится… Ну, очень рад, очень рад, что все это так хорошо устроилось! еще раз

повторил Павлищев, когда Иволгин поднялся и, пожимая ему руку, прибавил:- надеюсь, вы не скажете, что мы, чиновники, долго тянули ваше дело?.. Кажется, скоро его покончили, а?

— Поразительно скоро.

— То-то. Этим вы обязаны Борщову… Он быстро доклад написал.

— Но Марк Евграфыч, кажется, был против…

— Я его убедил, Марка Евграфыча… Он, ведь, умница и понимает свои заблуждения…

— Я был у него вчера и страшно удивился… Вам, вероятно, уж известно…

— Что известно?

— Что Бортов разошелся с женой?

— Как разошелся? Что вы? — воскликнул пораженный Павлищев. — Я ничего не знаю.

И, позабыв, что его ждет еще одна комиссия и несколько докладов, он заставил Иволгина рассказать то, что он. знал.

— Странный человек! — промолвил Павлищев, выслушав рассказ.

— Очень странный, ваше превосходительство! И, главное, расходится с женой-миллионершей и в четвертый этаж…

Через пять минут Иволгин, радостный и счастливый, не забыв ни курьера, ни швейцара, уехал

из министерства.

VIII

Когда присяжный поверенный Иван Андреевич Уржумцев, видный брюнет лет за тридцать, элегантно одетый, свежий и слегка надушенный, вошел в кабинет Трифонова и с любезною и значительною улыбкой человека, готового обрадовать клиента, вынул из щегольского адвокатского портфельчика и вручил Трифонову на триста тысяч сохранных расписок государственного банка с передаточными надписями на его имя, Василий Захарович был не столько обрадован, сколько озадачен.

— Удивлены, Василий Захарыч, людской добродетелью? — воскликнул, смеясь, адвокат, усаживаясь в кресло против старика и закуривая папироску.

— Но ведь эти деньги я ему отдал без всякой расписки! Он вправе был считать их своими и делать с ними что угодно! — проговорил изумленный старик.

— Совершенно верно-с, Василий Захарыч… Вы могли. записать эти деньги в счет «непредвиденных расходов». У деловых людей есть такая рубрика… Признаюсь, и я был удивлен чуть ли

не в первый раз в моей практике… Ведь триста тысяч не такие деньги, с которыми люди легко расстаются… И, наконец, он мог бы их удержать как бы в вознаграждение за развод…

— Но вы, Иван Андреич, быть может, говорили ему об этих деньгах?

— И не думал, да и не мог говорить, так как не имел о них ни малейшего понятия… Покончив в двух словах о разводе, — надо сознаться, Марк Евграфыч не любит много болтать! — он открыл письменный стол, вынул вот эти самые бумажки и передал мне так же просто, как дают человеку папироску… И глазом не моргнул… Только попросил, знаете ли, выдать ему для памяти расписку… Человек, сейчас видно, деловой, даже и адвокату не верит — улыбнулся адвокат. — Да, почтеннейший Василий Захарыч, я по своей профессии привык-таки наблюдать человеческую породу и почти всегда замечал, что большая часть представителей сей породы весьма не любит расставаться с кредитными знаками… Какое-то меланхолическое раздумье, знаете ли, нападает на одних… А другие, напротив, делаются злы и на лицах у них такое же выражение, как у собаки, которая гложет кость, и к ней вдруг подходит другая собака… А господин Борщов, расставаясь

с этими денежками, был спокоен, как человек, вовсе ими не интересующийся… Я зорко наблюдал за ним…

— Странный человек! — промолвил Трифонов.

— Любопытный субъект! — подтвердил и адвокат. — Такого вижу в первый раз…

— И он сейчас же согласился на развод? — спрашивал Трифонов.

— С первых же слов… Вину принимает на себя, и когда я намекнул ему об условиях, предполагая, что он потребует, так сказать, компенсации…

— Что ж он?

— Резко перебил меня, что никаких условий не требует… Одним словом, в десять минут все было кончено… Приятно иметь с такими людьми дело… Так передайте моей уважаемой клиентке, что месяца через четыре все это дело будет покончено… Порадуйте Ксению Васильевну… Да вот и она, легка на помине!..

И он поднялся с кресла и, почтительно кланяясь, поцеловал у нее руку.

Ксения была бледна и серьезна, но вовсе не имела вида «жертвы», переживая свое горе втайне, с мужеством сильного характера, способного бесповоротно принимать решения и разрывать с прошлым без колебаний.

При воспоминании о поруганной любви и о страшном разочаровании в человеке, в которого безгранично верила и на которого молилась, ей, самолюбивой и гордой натуре, было унизительно и стыдно за свою любовь и за свое ослепление. Как, в самом деле, она раньше не могла понять этого человека?.. Ужели же в ней рассудок и наблюдательность совершенно притупились под влиянием страсти, под обаянием грубых, чувственных ласк, которые теперь казались ей омерзительными. Ужели и в ней был этот «зверь», совсем отуманивший ее?.. И Ксения плакала от оскорбления и злого чувства. Ей казалось, что она презирает его за то, что он негодяй, а между тем, в ней, главным образом, страдала гордость женщины, которой прямо сказали, что женились на ней единственно потому, что у нее миллион. Этого она простить не могла Марку.

И порой, в самолюбивом ослеплении женщины, еще недавно так близкой к человеку, который вдруг стал чужим, она пыталась уверить себя, что хотя Марк и бессовестный проходимец и жесткий, беспринципный человек, но что он бросил ей в лицо эти слова, которые при каждом воспоминании заставляют ее вздрагивать, в ответ на ее оскорбление, в отместку за ее решение

оставить его… Неужто он не любил ее и только относился как грубое животное?.. Неужели он нисколько не уважал и не ценил в ней человека? Он это смел?..

Припоминая в спокойные минуты его отношения к ней, Ксения чувствовала, что это так и было, и что ничего и не могло быть другого у этого беспринципного скептика с развращенным умом… О, она начинала теперь понимать его, когда уже было поздно… Да, она прозрела: какой эгоизм и какая черствость у этого человека… Никогда движения сердца… Один рассудок, всегда рассудок, анализ и упрямая воля пробившегося ничтожества и безграничного честолюбца.

Когда отец сообщил Ксении, что Марк возвратил деньги, она нисколько этому не удивилась.

«Он слишком умен, чтоб делать маленькие подлости, и не даром считает людей, рискующих положением из за денег, большими глупцами. И к чему ему эти деньги?» подумала Ксения.

— А на развод он согласился? — с любопытным нетерпением в голосе спросила она, обращаясь к адвокату.

И джентльмен присяжный поверенный, рассчитывая обрадовать эту изящную и хорошенькую блондинку, безукоризненно одетую и

похожую на англичанку, и похвастать в то же время своим адвокатским уменьем обделывать скоро дела, — проговорил, подвигая ей кресло:

— В минуту все было кончено, Ксения Васильевна, в одну минуту… Ни малейшего колебания… И вину берет на себя…

Но вместо выражения радости, Ксения мгновенно сделалась еще более серьезною… Она как-то сморщилась, точно от боли и, пересиливая ее, торопливо проговорила:

— И отлично… Значит, скоро все устроится?..

— Надеюсь, в четыре месяца…

— И никаких условий не предписывал, Ксюша! — вставил отец.

— Еще бы! — усмехнулась Ксения.

— А ведь мог бы, Ксения Васильевна! — проговорил адвокат…

— Какие же?

— Выговорить, например, отступного… Без этого редки разводы, если у одной стороны есть состояние, Ксения Васильевна! — засмеялся адвокат.

В ответ на эти слова, Ксения надменно вскинула головой, точно обиженная, что возможно было предположить, чтобы человек, бывший ее мужем, мог брать за согласие деньги… Это уж

было бы слишком мелко и позорно.

И, забывая, что сама, при расставании, сказала Марку, что ему за развод будет заплачено, Ксения довольно резко кинула адвокату:

— Вы, значит, мало наблюдательны, если решались предлагать ему деньги…

— Боже сохрани, я не предлагал, Ксения Васильевна… За кого вы меня принимаете? Я только слегка намекнул, Ксения Васильевна! — виновато проговорил адвокат.

Он совсем был сбит с толку. Обыкновенно ведь жены при разводах приписывают своим мужьям всевозможные пороки и гнусности, какие только может себе представить воображение разгневанной женщины, а эта, напротив, защищает мужа, да и притом за такую, собственно говоря, обыкновенную вещь, как возможность вознаграждения… И известие о том, что муж так скоро дал свое согласие на развод, не особенно, кажется, ее обрадовало… «Уж не жалеет ли она о разводе? И из-за чего, собственно говоря, эти супруги разводятся?» подумал адвокат, не посвященный, к своему сожалению, ни в какие подробности. Ни отец, ни эта «корректная англичанка», как окрестил Ксению присяжный поверенный, ни тем более «диковинный супруг» не сообщили ему о

причинах. Просто хотим развестись, и кончено.

А господин Уржумцев в качестве адвоката, да еще человека любящего, как он говорил, «изучать» человеческую породу, был любопытен и крайне интересовался во всяких делах интимной их стороной. Своим мягким и вкрадчивым голосом, добродушной, веселой улыбкой и всепрощающею терпимостью он умел так «заводить» своих клиентов «в интересах разъяснения дела», что они обыкновенно выкладывали ему свои души и, случалось, рассказывали про себя такие мерзости, что коробили, подчас, и «изучающего» адвоката, возмущая даже и его беспредельную терпимость.

Но в этом бракоразводном деле (десять тысяч при окончании дела миром и двадцать — если придется судиться) он бродил в потемках, и все его попытки узнать, в чем тут «гвоздь», — оставались тщетными. А главное и впереди не предстояло никакой возможности получить пикантные разъяснения. Развод становился до крайности прост.

Вот почему господин Уржумцев как-то особенно внимательно посматривал теперь на «англичанку» и решил, что было бы очень приятно познакомиться с ней поближе и «изучить»

ее. И это казалось ему не особенно трудным в ее положении. «Она, в самом деле, не дурна, черт возьми!» подумал Уржумцев, имевший среди адвокатов репутацию неотразимого. По крайней мере, сам он часто говорил о своих победах.

— Еще вопрос… — проговорила Ксения.

— К вашим услугам…

— Господин Борщов ничего не говорил о детях?..

— Он на них никакой претензии не имеет…

— Можно это оформить?

— Возможно.

— А о том, чтобы видеться с ними, он не говорил?

— Ни слова…

— Благодарю вас, — сказала Ксения и, протянув руку адвокату, вышла из кабинета.

«Он никогда меня не любил! Не любит и детей!» думала она и, чувствуя острую горечь нанесенного ей оскорбления, мрачная и озлобленная, заходила по своей комнате.

И не с кем было ей поговорить! Некому было излить своей глубокой обиды. Мать ничего не поймет. Брат и того менее, а угнетенного делами отца она не хочет огорчать…

Когда через неделю из прежней квартиры были

присланы все ее вещи и она стала их разбирать, ей на глаза попалась тетрадь, исписанная рукою Марка. Оказалось, что это был его старый дневник, как-то попавший среди ее книг.

«Какая неосторожность с его стороны», подумала она, брезгливо отодвигая от себя тетрадку, и хотела, было, тотчас же отправить ее обратно, но любопытство, неудержимое любопытство оскорбленной женщины удержало ее… Она жадно схватила тоненькую тетрадку и стала глотать страницу за страницей дневник, который Марк вел в ту пору, когда «охотился» за Ксенией и описывал эту охоту с полною откровенностью.

Наконец, она дошла до той страницы, где торжествующий Марк описывал свою победу.

И, бледная, с негодующим лицом, она читала:

«Барышня физиологически на точке каления. Миллион несомненно мой, и она сделает глупость — выйдет замуж за мальчишку».

И еще:

«Я, конечно, не влюблен в эту барышню, но она мне нравится и я буду хорошим мужем. Любовь просто физиологическое чувство».

И дальше:

«А интересно вести эту игру и наблюдать, как барышня с миллионом сама лезет тебе в рот

— бери, только не сразу, а осторожно, чтоб не вспугнуть и не возбудить подозрения. Глупые эти влюбленные зрелые девы и совсем, теряют голову»...

— О, какой же он подлец! — воскликнула Ксения и, полная ненависти и злобы, отбросила далеко эту тетрадку и не выдержала — зарыдала.

IX

Слухи о разводе Марка и о том, что он поступил так благородно, не воспользовавшись ни грошом из громадного состояния жены, и даже возвратил триста тысяч, которых от него и не требовали, быстро распространились в министерстве и возбудили множество толков, самых разнообразных. Многие, конечно, удивлялись и многие просто-таки не верили, чтобы такой умный и основательный человек, как Марк, поступил столь опрометчиво по нынешним временам. Верно сорвал-таки куш, попрятал и нарочно поселился в маленькой квартирке, разыгрывая из себя героя благородства. Но так или иначе, а почти все злорадствовали. Еще бы! Не даром же он возбуждал столько зависти, этот откуда-то появившийся молодой человек без имени, без связей, без протекции, который вдруг выдвинулся и так блестяще женился!.. Теперь богатство улыбнулось… Говорили: умный, умный, а проморгал миллион. Ищи его теперь!?

Марка в министерстве не любили. Особенно не любили его те из сослуживцев-карьеристов, которые видели в нем счастливого соперника. В

самом деле, уже слишком быстро он выдвигался и многим садился на головы. Этого Марку простить не могли. Несомненно, он способный человек, но не один же он такой в министерстве феникс, чтобы его так отличать. Все мало-мальски выдающиеся работы поручают ему. Министр к нему благоволит, а о Павлищеве и говорить нечего.

Борщов, отбивший от него невесту, все-таки его любимое детище и правая рука. Все эти проекты, на которых выезжает Павлищев, пишет он. Эка большая мудрость? Всякий не хуже бы написал!

Не любили Марка и за то, что он решительно ни с кем не сближался и держал себя особняком, от всех далеко и домами не был знаком ни с одним из чиновников-сослуживцев. В его отношениях было что-то холодное, жестковатое и внутренне импонирующее. Чувствовалось, что в душе он не то подсмеивается, не то презирает, и нельзя к нему придраться. Несколько подчиненных ему чиновников, впрочем, жаловаться на него не могли. Он с ними был всегда одинаково-ровен, никогда не распекал, не наваливал без толку работы и умел давать именно такую работу, на которую каждый был способен, — тем не менее Борщова побаивались и расположены к нему не были.

Разумеется, Марк знал обо всем слухах, которые вызвал его развод. Он догадывался о них по злорадным взглядам в министерстве, чувствовал их в усиленно-любезных пожатиях и приветствиях и злил еще более всех своим невозмутимым спокойствием — точно ничего с ним особенного не произошло.

Так прошло два месяца.

Марк все это время был поглощен серьезной работой, лично порученной ему министром. Это был один из проектов возможно скоро осчастливить Россию, которым министр хотел закончить свое десятилетнее управление министерством и затем опочить от дел, т.-е. выйти в отставку, на этот раз серьезно. Действительно, старик утомился и от работы, и от интриг, и от этого постоянного напряжения нервов в борьбе за влияние, в лавировке между течениями, в погоне за всем тем, что щекотало его тщеславие. А главное, здоровье его действительно заметно расстраивалось, и старик, на закате лет, пресыщенный властью и даже разочарованный в ее значении, захотел просто «жить» и более ничего. Казалось, только теперь, когда могила была близка, он испугался ее близости и почувствовал жажду жизни, сознав тщету и своего честолюбия, и всей этой борьбы, в

которой он ухлопал себя. Но уйти просто он все-таки не мог. Он хотел удалиться, оставив по себе, по выражению гг. газетчиков, провожающих сочувственным напутствием закатывающиеся светила, «исторический след».

В виду многих в описываемые мною времена проектов, имевших в виду осчастливить Россию в возможно короткое время и притом, разумеется, нисколько не нарушая принципа бюрократизма, а, напротив, усиливая его ко благу граждан, я не стану знакомить читателя с подробностями этого проекта. Замечу только, что он был не лишен грандиозности и имел в виду оживить решительно все: и земледелие, и торговлю, и промышленность, и мореплавание, и просвещение, и притом без отягчения платежных единиц новыми налогами, а единственно лишь назначением во все учреждения и на всякие посты лиц благонамеренных, твердых и честных, упразднив всякие выборные должности.

Марк должен был облечь этот, несколько туманный проект, долженствующий быть прощальною песнью административного лебедя, в литературную форму, снабдив его вескими цифрами, ссылками и цитатами из сочинений и речей разных великих администраторов и

законодателей, как иностранных, так и отечественных.

Работа была не легкая даже и для такого умницы, как Марк.

В самом деле представлялось несколько затруднительным обосновать это «оживление» и связать несомненное благоденствие населения с таким трудным делом, как выбор и назначение благонамеренных и добродетельных лиц. Вся система рушилась, если в числе благонамеренных попадался хоть один такой администратор, на которого бы пришлось жаловаться первому департаменту сената!

Но Марк очень хорошо понимал, что эта работа была для него, так сказать, диссертацией на должность директора канцелярии, и употребил не мало усилий, чтобы создать нечто вразумительное и стройное. Он, разумеется, хорошо знал, что старика только похвалят за лебединую песнь, но что проект нигде не пройдет, как слишком решительный и для приложения на практике очень трудный, — но надо же было выдержать экзамен. Не все-ли равно, что писать, если за это подвинешься поближе к такому положению, когда можно будет писать не то, что приказывают, а то, что сам хочешь?

В это майское теплое утро Марк сидел в своем маленьком кабинете и просматривал только-что оконченную записку. Но временам по его лицу пробегала усмешка, точно он сам смеялся над тем, что написал. Наконец он окончил и удовлетворенно прошептал:

— Чепуха вышла довольно стройная! Кажется, старику понравится!

Марк отодвинул объемистую записку и собирался, было, отправляться в департамент, как его мрачный лакей подал ему конверт.

— Посыльный принес, — доложил он.

Марк пробежал записку и торопливо вышел из квартиры.

Записка была от сестры Марьи Евграфовны, которая извещала, что вчера приехала и звала брата немедленно, сейчас — Вася очень болен.

* * *

О, как изменилась Марья Евграфовна! Бледная, осунувшаяся, со страхом смотрела она на курчавого белокурого пожилого врача, который выслушивал впавшую, худую грудь бледнолицего мальчика с большими, вдумчивыми и серьезными глазами, какие бывают у чахоточных больных. Она избегала этого взгляда и, стоя

у окна в большой комнате гостиницы, следила за выражением лица доктора… Это был известный врач, ради которого она приехала в Петербург, собравшись в один день после того, как ее ненаглядный, ее жизнь, Вася, схватил воспаление легкого и в два месяца захирел до того, что стал худ, как спичка, и видом походил на мертвеца. Там, в Харькове, доктора утешали ее, а между тем Вася все худел, да худел, лихорадка не прекращалась, и, обезумевшая от ужаса и горя, мать решилась, наконец, ехать в Петербург… Там знаменитые врачи… Так, быть может, Васю спасут.

Она вчера приехала и тотчас же написала раздирающее душу письмо к известному врачу, умоляя его приехать.

Он ни к кому, кроме бедняков, не ездил на дом, этот известный профессор, не гонявшийся за практикой, и принимал больных только у себя на дому, но этот умоляющий зов тронул профессора, и он приехал.

Молодой женщине, с таким нетерпением и с такою надеждой ожидавшей приезда доктора, теперь сделалось невыразимо жутко и страшно. И она жаднее впивается своими скорбными глазами в это доброе и мягкое лицо и ее пугает значительное и серьезное его выражение. Ах, как

долго, как бесконечно долго и как внимательно выслушивает он дыхание мальчика, приложив ухо к этой белой, мертвенно белой спине, на которой неуклюже торчат заострившиеся лопатки, и к этой бедной впалой груди с выдающимися ребрами. Наконец, он окончил, ласково и нежно потрепал мальчика по поблекшей щеке и проговорил несколько веселых, ободряющих слов…

— Беды большой нет… Он скоро поправится.

И Марья Евграфовна вся встрепенулась… Надежда закралась в ее измученное сердце. О, какими благодарными глазами глядит она теперь на профессора!

Но он как будто избегает ее взгляда, прописывает рецепт и обещает завтра заехать…

— Вот… пожалуйста! — лепечет она, протягивая пакетик.

Но профессор конфузится и не берет денег… Она, ведь, в некотором роде, коллега… Акушерка, живет своим трудом…

— До свидания…

Она идет за ним в коридор и голосом, полным трепета, едва слышным голосом спрашивает, чувствуя, как сжимается горло:

— Профессор… что… у него, у моего мальчика?

Профессор не сразу ответил на ее вопрос. По

его взгляду, серьезному и грустному, бесконечно грустному, Марья Евграфовна почувствовала ответ и теперь испугалась и пожалела, зачем спрашивала. Сердце ее вдруг упало. Ноги подкашивались. Кровь совсем отлила от ее красивого моложавого лица.

— Послушайте… К чему отчаиваться! — порывисто и ласково сказал профессор, крепко сжимая ее руки. — Конечно, положение серьезно, но не безнадежное… Бывают случаи выздоровления и довольно часто…

— Бывают?.. Выздоравливают?

— Конечно… Процесс останавливается… Зарубцовка ткани…

— Зарубцовка ткани… Да, да… Я знаю такие случаи….

И надежда опять оживила ее. Ей так необходимо было верить. Иначе разве мыслимо было ухаживать вот два месяца за этим дорогим, единственным в мире близким существом, скрывать от него свою гнетущую скорбь, стараться быть веселой при мальчике, когда хотелось рыдать, и только по ночам, когда ребенок спал, давать волю своей беспредельной скорби, рыдать, уткнувшись в подушку и снова глядеть при томном свете лампады на мертвенное, осунувшееся лицо

с заострившимися чертами, прислушиваться, нагнувшись к постели, к дыханию, похожему на какое-то странное хриплое булькание, вырывающееся из груди, снова терять надежду и снова обманывать себя надеждой.

— Я, профессор, хочу его увезти и как можно скорей за-границу… в Швейцарию… Вы советуете?..

— Что ж… отлично…

Профессор еще раз как-то особенно ласково пожал ей руку и ушел, обещая быть завтра утром.

— Мама! — позвал мальчик.

— Что, голубчик?

— Мама… что сказал этот добрый доктор? Ты смотри, всю правду скажи… не скрывай от меня…

И больной мальчик, опираясь тонкими ручонками, приподнялся на подушке и пытливо заглянул в лицо матери.

Она сперва храбро перенесла этот взгляд широко-открытых глаз, взгляд, полный мольбы о жизни, но через несколько мгновений отвернулась.

— Ты зачем отвернулась, мама? Боишься, что по твоему лицу я узнаю правду? — подозрительно спросил мальчик.

— Да что ты, милый мои… что ты, Вася… С ума сошел! Вовсе я и не думала отворачиваться! — с напускною веселостью поспешила ответить мать и, улыбаясь, прямо смотрела в лицо сына. — Доктор сказал, что ничего серьезного нет… Конечно, болезнь может затянуться, я не стану этого скрывать, но опасности никакой нет…

— Но, все-таки… у меня, мама, чахотка?.. — проговорил Вася, слышавший в Харькове, как врачи говорили о чахотке.

— Вот, глупый, вот мнительный… Ведь выдумал же: чахотка! Никакой чахотки нет… просто простуда… Плеврит…

И она имела храбрость — храбрость матери — засмеяться и так весело, что мальчик поверил ей.

И лицо его засияло тем выражением эгоистического довольства, которым отличаются лица опасно-больных.

— Я так и думал, что у меня не чахотка… Я умирать не хочу, мама… Вот уедем в Швейцарию… я поправлюсь… Не правда ли?

В дверь постучали.

— Войдите.

Явился Марк. Марья Евграфовна бросилась к нему на шею и, растроганная словами ребенка,

нервно всхлипывала.

X

В первое мгновение Марк не сообразил причины этих внезапных слез и этой порывисто-нежной встречи сестры. В их отношениях никогда не было особенных нежностей. Марк к ним не располагал.

Он осторожно освободился из ее объятий и, глядя на измученную и взволнованную женщину с тем ласковым, слегка высокомерным снисхождением, с каким всегда относился к сестре, спросил с едва заметной тревогой в голосе:

— Да что с тобой, Маша? Отчего ты так…

Марья Евграфовна не дала договорить, сделав умоляющий жест.

— Очень рада видеть тебя, Марк… Очень рада, — громко произнесла она, поспешно утирая слезы и стараясь принять спокойный вид. — Вася тоже, верно, рад, что дядя Марк пришел. А мы, дядя, вздумали расхвораться и собираемся ехать в Швейцарию. Ты нам поможешь достать паспорты? — прибавила Марья Евграфовна искусственно небрежным тоном.

— С удовольствием, все, что нужно.

Когда Марк подошел к дивану и увидал исху-

далое мертвенное лицо племянника, он понял слезы сестры и вспомнил своих детей. Вспомнил и сильнее почувствовал то щемящее чувство осиротелости, какое он не раз испытывал после разлуки с детьми.

О Ксении Марк редко вспоминал, а если и вспоминал, то с холодным озлоблением человека, разгаданного и презираемого женой, бывшей у его ног. Оказывалось, что есть женщины, расходящиеся с мужьями и из-за взглядов. К этому озлоблению по-временам присоединялось еще и недовольство молодого и здорового животного, лишенного удобства без хлопот, без потери времени и без игры в «влюбленность», пользоваться ласками красивой, опрятной и нравящейся ему женщины.

О детях же Марк вспоминал часто. Ему хотелось их увидать, их приласкать, и он приказывал своему лакею узнавать через швейцара об их здоровье.

По обыкновению своему объясняя это чувство, он квалифицировал его «эгоистическим чувством производителя, любящего себя в своих детях» и рассчитывал, что оно со временем пройдет и беспокоить его не будет. Мало ли отцов не знают своих детей. Хотя бы Павлищев? Какое ему

дело до этого умирающего мальчика? Это дело матерей, а не отцов.

С какою-то необычною в Марке ласковостью, он нежно и осторожно пожал эту тонкую, словно восковую руку мальчика и, нагнувшись, поцеловал его в обе щеки. Прежде он не целовал племянника.

Эта ласка тронула Васю. Он приветливо улыбнулся и неожиданно спросил:

— Очень я похудел, дядя Марк?

— Ты? Похудел, но не особенно. К чему ты спросил об этом?

— Чтоб знать правду. Мама говорит, что я мало похудел… А ты, дядя, посмотрел бы на грудь… Все ребра видны! — точно укоряя кого-то, говорил больной.

— Это не беда… Это часто бывает. Во время болезни худеют, а потом полнеют! — значительно и авторитетно проговорил Марк и подумал: «он скоро умрет»!

В нем росло чувство жалости к мальчику и в то же время в голове пронеслась приятная мысль, что его дети здоровы.

Он поймал себя на этой мысли и улыбнулся.

«Какие, однако, мы еще звери!» мысленно сделал он определение.

— Вот и доктор сейчас был и сказал, что эта худоба пройдет, — заговорила Марья Евграфовна, понявшая чутким своим сердцем, что вид больного мальчика произвел на брата сильное впечатление…

Правда, на его лице ничего не видно… Марк умеет владеть собой, но эта его особенная нежность…

— Какой доктор был? — осведомился Марк.

— Профессор Аксенов…

— А… Как это он к тебе приехал? Он ни к кому не ездит, этот седой ребенок! — прибавил насмешливо Марк.

— Написала письмо и приехал… Такой ласковый, добрый…

— И денег, конечно, не взял?

— Не взял… А отчего ты его назвал ребенком, Марк?

— Оттого, что он до старости лет верит еще в людей и ждет царства правды.

— А ты?.. Разве так и не веришь?..

— Мало… Ну да не об этом теперь речь… Когда ты хочешь ехать за-границу?

— Чем скорее, тем лучше.

— Так я тебе заграничные паспорты завтра же доставлю. Давай свой вид на жительство…

Марья Евграфовна подала ему свой вид. Марк пробежал его глазами и словно бы в раздумье заметил:

— Тебе тридцать четыре года?

— Да. А что?

— Ничего особенного… Я только подумал, что годы тебя не умудряют… Ты все такая же, как и была…

— Какая?..

— Вся — жертва. Вечно жила для других и будешь жить для других…

— И ты, надеюсь, не для одного себя живешь?

— Не надейся, Маша. Исключительно для собственной своей персоны. Так спокойней.

— Полно, Марк, не лги на себя. Что это за манеры нынче у молодых людей казаться непременно хуже, чем они есть.

— Это не манера, Маша… Это просто откровенность…

— И ты вот то же… Точно я не знаю тебя…

— Совсем не знаешь! — промолвил Марк.

— А разве ты не живешь для своей жены, для своих детей?.. Разве не работаешь для полезного дела?.. Прости, Марк… Я и не спросила: как поживает Ксения Васильевна? Что твои дети? Как бы мне хотелось их повидать. Я заочно так полюбила

твою жену. Она такая милая, умная, хорошая…

— Отчего ж непременно: милая, умная, хорошая! — усмехнулся Марк. — Ведь ты ее никогда не видела?

— Я знаю ее по письмам… Только хорошие люди могут писать такие письма…

— Ну, будь по твоему… Но дело только в том, что я уж два месяца, как разошелся с женой и не вижу детей…

— Разошелся? Не видишь детей? А я ничего не знала! Да мне не до того было… я никому не писала… Бедный Марк! — прибавила Марья Евграфовна, с сочувствием взглядывая на брата.

Марк ждал, что она, частью из сочувствия, а частью из любопытства, станет расспрашивать о причинах, но она деликатно молчала, изумленная и искренно опечаленная.

«И своего-то горя у нее много, а она и за меня сокрушается, эта наивно-добрая душа. Впрочем, это ее призвание!» подумал Марк.

— А мы не мешаем ли тебе, Вася, своим разговором?

— Нет, дядя… Да вы идите с мамой и говорите, а я посплю! — проговорил Вася и ласково улыбнулся.

Сестра и брат сели на диван и оба молчали.

Марк почему-то не хотел рассказывать этой «наивной душе», единственной, кажется, на свете, которую он любил, о причинах развода. Она ужаснется, если узнает всю правду, как он женился, из-за чего его бросила жена, — одним словом, если узнает его самого, такого, как он есть. Ужаснется потому, что не поймет ни его отчаянного скептицизма, ни его полного презрения и к людям, и к самому себе, ни его беспощадной философии о том, что все возможно для сильного человека и что нравственность вещь условная, которая нисколько его не трогает. Разве может понять она, эта глупенькая, славная Маша, всю прелесть этой свободы от людских предрассудков и этого полного умственного эпикурейства — признающего единственным стимулом жизни свое «я», бесконтрольное, всевластное «я». Наслаждайся, кто как хочет и чем хочет, и не бойся никакой нравственной ответственности. Это ли не единственно возможное счастье на земле для человека, сколько-нибудь сильного и умного, понявшего, что все когда-то торжествовавшие идеалы давно сданы в архив и никому не нужны?

«Зачем же смущать это бедное создание?» подумал Марк и проговорил:

— Да, Маша, разошлись, и я живу один в маленькой квартире… Ты понимаешь, я ни гроша не взял из ее состояния!

— Еще бы! Но как же дети? Неужели ты их не видишь?

— Не вижу, пока… После, со временем можно устроить свидание…

— Развод настоящий?

— Настоящий.

— А примирение разве невозможно?

— Невозможно.

— И ты ее считаешь виноватой в этом разрыве?

— Нисколько.

— Значит, ты виноват?

— Никто не виноват, Маша. Так сложились обстоятельства… А главное…

— В чем?

— В том, что я никогда ее не любил…

— И женился?

— И женился.

— Тогда, конечно, жить нельзя, — проронила Марья Евграфовна.

«А ведь жили отлично!» подумал Марк и сказал:

— Оказывается, что так… Ну, да что об этом го-

ворить, Маша. Поговорим о тебе. Нужны деньги? Не стесняйся. Я получаю хорошее содержание, а привычки мои, знаешь, скромные…

— Мне не нужно денег… У меня целы деньги, которые ты дал, и, наконец, те полтораста рублей, что ты даешь ежемесячно…

— Капитала не тронь. Пригодится… А я тебе завтра же привезу две тысячи. Этого будет довольно… Не благодари, прошу тебя… Ну, до свидания, не падай духом… Вася не так плох… Поправится…

— Постой, Марк, не уходи… Я хочу у тебя спросить совета…

— Спрашивай…

— Как ты думаешь, — проговорила, краснея, Марья Евграфовна, выходя в коридор, — не дать ли знать Степану Ильичу о болезни Васи?.. Быть может, он захочет его повидать… Ведь он писал мне изредка, справлялся о нем, предлагал снова денег… Как ни говори, а отец…

— Ты до сих пор любишь Павлищева, Маша?

— Что ты, Марк? — совсем смущенная, отвечала Марья Евграфовна. — Мне просто жаль его… Один, как перст… И сын даже не с ним… А он тогда, когда я была здесь, был так ласков с ним… Я дам ему знать! — прибавила Марья Евграфовна

решительно.

— Что ж, зови его… Только зачем ты совета спрашиваешь, когда уже решила позвать… Ты все та же, Маша! — промолвил, усмехнувшись, Марк и, крепко пожав сестре руку, ушел.

В голове его пронеслась сцена свидания Павлищева с сестрой у кровати умирающего ребенка.

«Пожалуй, его превосходительство размякнет и выйдет трогательная картина!» усмехнулся Марк.

Из гостиницы он прямо поехал к профессору Аксенову и просил того сообщить ему о положении Васи.

— Безнадежное. Распад легких… Скоротечная форма.

— И Швейцария ему не поможет?

— Может быть, затянет смерть месяца на два, на три…

«Бедняга Маша!» подумал Марк, выходя от профессора, и отправился в министерство, полный надежд, что сегодня, благодаря составленной им записке, он выйдет от министра директором его канцелярии.

А там?

И честолюбивые опьяняющие мечты занесли Марка на ту высоту, где он, властный и сильный,

пользуясь большим влиянием, покажет, что может сделать сильный человек.

В то самое время, как Марк входил в кабинет министра, Степан Ильич Павлищев тихо стучался в дверь нумера Марьи Евграфовны, смущенный и несколько расстроенный известием об опасной болезни своего сына.

XI

Степан Ильич Павлищев едва ли ожидал, когда входил в нумер, занимаемый Марьей Евграфовной, что вид этого спящего и прерывисто дышащего ребенка, похожего скорей на мертвеца, чем на живого, произведет на него невообразимо тяжелое впечатление и заставит мгновенно забыть и о карьере, и о делах, и вообще о всей той сутолоке жизни, которая его охватила со всех сторон и мешала ему когда-нибудь призадуматься и дать себе отчет: ради чего он хлопочет и действительно ли счастлив он?

В самом деле, об этом некогда было и подумать: время его все было распределено, и его даже не хватало на те обычные дела, которые он, в качестве видного общественного деятеля и кандидата в министры, должен был ежедневно проделывать. Утром работа дома, затем — в министерстве, потом обед у знакомых или у Донона, иногда театр, иногда ужин в отдельном кабинете с женщиной, которая казалась ему, пресыщенному виверу, пикантной, и опять дела дома в комфортабельном кабинете до поздней ночи. И так каждый день. Но Павлищев считал себя

счастливым. Ему завидовали, ему льстили, он был на виду и впереди у него была цель — более высокое положение, достигнуть которого было предметом его желаний. Ради всего этого он и работал, и лгал, и интриговал, писал записки, приказывал другим их писать и был, разумеется, уверен, что все эти записки, все эти комиссии, в которых он председательствовал и в которых регламентировалась живая жизнь и людские отношения, не поддающиеся никакой регламентации и действующие помимо и даже вопреки всяким кабинетным измышлениям, — составляют именно то государственное дело, к которому он призван и которое в его руках должно идти лучше и плодотворнее, чем в руках других. Не даром же его называют «человеком жизни», и многие газеты пишут о нем дифирамбы. Не даром же он «вечно занят» и его рвут на части. Но, как ни полезна его деятельность, он все-таки пока подчиненный человек и нередко должен делать то, что приказывает его патрон, человек, конечно, умный, но уже переутомившийся, а вот когда он сам будет министром, о… тогда…

И Степан Ильич нередко мечтал, как тогда, заняв громадную министерскую квартиру, он придумает новый план, совершенно не похожий

на план своего предместника и покровителя, осчастливить Россию и окружит себя новыми людьми, назначив вместо Ивана Ивановича Степана Петровича и вместо Петра Петровича Николая Васильевича. В этих комбинациях фютюр-министра видную роль играл, разумеется, и Марк.

«Это необыкновенно умная и способная молодая каналья!» мысленно прибавлял про себя почти всегда Павлищев, думая о Марке.

И о нем, о Степане Ильиче, заговорят еще более. Газеты возвестят новую «эру» и напечатают его биографию, в которой подчеркнут, что он «человек жизни» и прошел служебную лямку на всех ступенях. «Такие-то люди и нужны!» прибавит публицист. В иллюстрациях появятся портреты. Иностранные корреспонденты будут просить свиданий и разнесут славу Степана Ильича по всей Европе. Завистники будут называть его, конечно, проходимцем, но что ему до этого? Эти же самые «сливки высшего общества», которые косо и подозрительно смотрят на него, тогда будут заискивать у этого самого «проходимца», выпрашивая мест и назначений для своих обнищавших сынков.

Сделавшись министром, Степан Ильич рас-

платится с долгами (есть-таки они у него!) и, пожалуй, женится… Министру как-то не идет быть холостым, — об этом и «старик» ему не раз намекал.

— Министр, как и жена Цезаря, должен быть выше всяких подозрений. Семейные добродетели служат в некотором роде рекомендацией, — говорил «старик», который, однако, сам, не смотря на свои шестьдесят лет и репутацию прекрасного семьянина, ездил по секрету к одной молодой вдове, и, как кажется, стал испытывать переутомление от государственных занятий именно вследствие того, что на склоне лет почувствовал «вторую молодость» и влюбился в тридцатилетнюю хорошенькую вдовушку.

Степан Ильич, в ответ на советы начальника, обещал подумать, но до сих пор так и не собрался. Как-то было некогда, да и неудача с Ксенией не особенно располагала его торопиться. Время еще есть. Он далеко не стар. Ему всего сорок девять лет и глядит он молодцом. А звание министра заставит его помолодеть еще лет на десять, по крайней мере…

Такие мечты отвлекали иногда Степана Ильича от дел, доставляя ему развлечение…

И вдруг теперь, здесь, перед спящим больным

ребенком, он забыл обо всем, что наполняло его жизнь, и, расстроенный, полный скорби, жалости и раскаяния, чувствует, что его связывает что-то крепкое с этим маленьким, брошенным им существом, и что он виноват, безмерно виноват и перед ним, и перед этой истомленной, убитой женщиной…

Ему невыразимо стало жаль мальчика, и его охватил страх при мысли, что он умрет.

Голос его дрожал и в глазах блеснули слезы, когда, он прошептал:

— Бедный мальчик!

Он почтительно, с какою-то особенною ласковостью поцеловал руку Марьи Евграфовны, умиленной и растроганной слезами отца, и несколько времени держал эту руку в своих руках, взглядывая на Марью Евграфовну мягким взором.

«Как она еще сохранилась!» подумал он, и его взгляд невольно скользнул по красивому стану молодой женщины, заставив ее покраснеть.

— Расскажите мне, Марья Евграфовна, как все это случилось. Когда Вася заболел?.. Что говорят доктора?

Они отошли на другой конец нумера и уселись рядом.

Марья Евграфовна с грустно-покорным видом, точно виноватая в недуге сына и искавшая оправдания, рассказывала, как она всегда берегла Васю, какой он был крепкий и здоровый мальчик, пока не заболел совершенно неожиданно… воспалением легких.

— Доктора обнадеживали… так прошло два месяца, а теперь… Вы видите, на что он похож, — прибавила Марья Евграфовна, и слезы тихо закапали из ее прелестных черных бархатных глаз.

Степан Ильич снова взял ее руку и, поцеловав, оставил ее в своей руке. Она не отнимала. А Павлищев ее успокаивал, стараясь успокоить и самого себя. Быть может, Вася не опасен и поправится. Он сейчас же сам поедет за лучшим доктором.

— Сейчас был Аксенов!

— И что сказал?

— Обнадеживает… Да разве он скажет правду да еще матери! Мы едем в Швейцарию! Вы, разумеется, ничего против этого не имеете? — прибавила Марья Евграфовна, совсем примиренная с этим обидевшим ее человеком, который так заботливо и тревожно расспрашивал о Васе.

«Он любит его!» подумала она, и подняла на

Павлищева благодарный взгляд, отуманенный слезами.

А Степан Ильич еще более был растроган и еще более чувствовал себя виноватым в эту минуту.

— Что же я могу иметь против этого, мой друг?.. Я очень рад, если Вася там поправится… Климат имеет громадное значение… Я знаю случаи… Поезжайте, поезжайте…

И совершенно неожиданно прибавил:

— Марья Евграфовна!.. Простили ли вы меня?

— Давно простила. Разве вы не видите?.. Ведь, вы любите Васю?

— Люблю! — проговорил Степан Ильич и отвернулся, чтобы скрыть навернувшиеся слезы. — И мы его спасем, непременно спасем… Вы не жалейте денег… Я дам…

— У меня есть… И Марк будет посылать…

— И я тоже… Пригласите лучших врачей… Устройте самую лучшую обстановку… Во что бы ни стало спасите мне сына! — прошептал он, снова охваченный боязнью, что мальчик умрет. — И я сам приеду к нему…

— Вы?.. А служба?

— Служба!?.- повторял Степан Ильич. — Ох, Бог с ней, со службой… Я возьму отпуск и буду около вас…

Он проговорил эти слова и даже не удивился, что их проговорил.

Марья Евграфовна, умиленная и благодарная, в свою очередь тихо пожала ему руку и вспомнила о прежнем Павлищеве.

Павлищев не торопился уходить, ожидая когда проснется Вася, и все расспрашивал о нем и жадно слушал рассказы матери о замечательном уме. о доброте и о чудном характере мальчика. Слушал и решительно забыл, что его ждет комиссия, в которой он должен председательствовать.

Наконец, когда больной проснулся, Степан Ильич бросился к нему и так нежно стал его целовать, что мальчик смотрел недоумевающими глазами.

— Ты, ведь, узнал доброго дядю… Степана Ильича? — спрашивала Марья Евграфовна, охваченная волнением…

— Узнал… Вы приезжали к нам, когда мы были в Петербурге…

— Ну, как тебе, лучше, Вася?.. Ведь, лучше? — спрашивал Павлищев, стараясь скрыть свое чувство жалости под маской веселости.

— Нет… не лучше… Мама! Родная мама! Опять лихорадка! — вдруг проговорил он с тоскою в голосе и с каким-то отчаянием и вместе с мольбой

глядел на мать широко-раскрытыми глазами, не обращая более никакого внимания на Павлищева.

Павлищев не мог более выдержать. Расстроенный, едва владея собой, он поцеловал руку сына и торопливо вышел из нумера.

В это заседание комиссии Степан Ильич председательствовал совсем не с обычным мастерством и говорил речи не столь красноречиво, как всегда. Несколько раз он даже, к удивлению господ членов, путался. И только, спустя некоторое время, он овладел собой, стараясь не думать об этом бледном, умирающем ребенке, который так неожиданно перевернул все его существование и словно-бы напомнил ему, что и у него может быть бескорыстная привязанность и что это чувство, вдруг охватившее его и согревшее, словно вешний луч солнца, может заставить хоть на время забыть государственные соображения.

Марк, бывший делопроизводителем комиссии и заметивший волнение Павлищева, догадался о причинах и, взглядывая на него, свежего и красивого в вицмундире с двумя звездами, подумал:

«Видно и в нем заговорило чувство производителя. Размяк его превосходительство. Совсем плохо работают задерживающие центры!»

И в голове Марка внезапно мелькнула мысль, вызвавшая на угрюмом лице его едва заметную довольную улыбку.

Тотчас же после комиссии. Степан Ильич наскоро пообедал и нагруженный игрушками, вернулся к Марье Евграфовне и просидел у нее целый вечер. Пришел и Марк, но оставался у сестры недолго. Он сказал, что на следующий день доставит заграничный паспорт, и ушел, крайне изумленный после того, как Павлищев сказал ему, что и он скоро едет за-границу.

«Дурак! Как бы он не прозевал министерства, если, старик в самом деле уйдет!» — подумал Марк, направляясь к себе домой…

Он был сегодня в озлобленном настроении. Диссертация на звание директора канцелярии, которую сегодня он представил министру и которую, по его требованию, прочел ему, не произвела того эффекта, на который он рассчитывал.

Дело в том что Марк и не догадывался, что в последние дни «старик», под влиянием нескольких слов, сообщенных ему одним высокопоставленным лицом, вдруг изменил свои мнения на счет средств быстро и скоро осчастливить Россию и собирался уйти в отставку, не оставив никакого исторического памятника, который, как оказыва-

лось, мог возбудить против него неудовольствие. Вот почему он, выслушав внимательно записку Марка, передававшую в изящной литературной форме то, что его высокопревосходительство частью набросал и частью устно сообщил Марку, хотя и похвалил за точность, ясность и слог, но особенного удовольствия не выразил и проговорил:

— Оставьте, я еще раз просмотрю… Тут кое-что надо изменить и кое-что дополнить…

— Вы изволите сделать указания?

— Сделаю… Пока можно повременить…

И с этими словами, протянув руку Марку, простился с ним благосклонным кивком головы, ни словом не заикнувшись о месте, о котором уже раньше намекал Марку.

Теперь Марк начинал уже сомневаться, что старик уйдет. «Видно, в самом деле даже и при переутомлении трудно расставаться с властью!» — усмехнулся Марк, недовольный, что диссертация его провалилась.

А вдобавок, и Павлищев хочет уезжать!? Неужели он уедет в такое горячее время? А если «старик», в самом деле, наконец решится уйти?

К изумлению Марка, Павлищев действительно взял отпуск и через неделю после отъезда сестры

уехал заграницу.

XII

Благодаря миллиону Ксении, дела Трифонова начали поправляться. Во-время уплаченные долги по векселям спасли кредит Василия Захаровича, и крушение миновало. Старик ожил. Счастье опять к нему повернулось. Два его завода — железоделательный и машиностроительный, долгое время остававшиеся без работы и приносившие огромные убытки, получили большие заказы, а на строившийся на Урале гигантский завод, на который Трифонов истратил почти все свои наличные деньги, завод, обещавший в будущем неисчислимые выгоды, находились покупатели и компаньоны. Представитель одной французской компании уже был на месте и, вернувшись, предлагал весьма солидную цену. Василий Захарович, почувствовавший себя снова помолодевшим и окрепшим, теперь колебался: продавать ли завод совсем или взять компаньона для того, чтобы окончить это грандиозное сооружение и пустить его в ход. Ему теперь жаль было расстаться с этим своим «детищем», которое чуть-было не довело его до несостоятельности. Еще год, другой и это предприятие будет приносить

громадные барыши…

С другой стороны, его несколько смущало то обстоятельство, что завод слишком далек от его глаз, и уж ему, старику, не так-то легко разъезжать, как, бывало, прежде. А без его хозяйского глаза дело могло идти скверно. И то при постройке его порядочно-таки «нагрели»: из представленных отчетов ясно было, что его обкрадывают. Он сменил главноуправляющего и строителя, но не особенно был уверен и в новых, назначенных им людях… И Василий Захарович мог только досадовать, сознавая свое бессилие. Ему бы следовало самому быть там, на месте, но ехать было нельзя в виду запутанности дел. А разделавшись с заводом, он может снова быть вполне спокоен за будущее своей семьи. Особенно его озабочивала участь его любимицы Ксюши… Ведь, после его смерти некому управлять делами. Сын совершенном этому неспособен, да и не тянет его к этому. Ксюша, положим, и могла бы, но за что наваливать на нее подобную обузу, да еще совсем для нее новую и едва ли приятную.

Она и теперь добровольно взялась помогать отцу и сделалась его секретарем — одна ведет всю его деловую переписку и исполняет это дело так хорошо и толково, что старик просто в восхи-

щении. Но он понимал, что она делает это ради любви к отцу и чтоб заполнить чем-нибудь свое время. Эта работа ее пока занимала и, к удовольствию старика, еще более сблизила с ним дочь. Они чаще бывали вместе.

Такие мысли занимали Василия Захаровича и в это утро, когда он сидел в кабинете, у письменного стола, и снова перечитывал проект купчей крепости, составленный адвокатом Уржумцевым. Тут же на столе лежал и французский перевод, сделанный Ксенией. Сегодня в одиннадцать часов должен был приехать француз-инженер за решительным ответом, а Василий Захарович все еще колебался. Инстинкт и самолюбие дельца, не знавшего до последнего времени неудач, заговорили в нем, пересиливая, казалось, все его благоразумные соображения. Уж он забыл, в каком отчаянном положении находился всего несколько месяцев тому назад, и мечтал теперь о том, как он удивит всех своим гигантским предприятием и возбудит зависть в своих недоброжелателях. Думали, что он разорится, и вместо того… он сделается несравненно богаче, чем был до сих пор. Не самое богатство прельщало его — и после продажи завода он останется при тех капиталах, при которых был и которые составляют

громадное состояние, вполне обеспечивающее семью, — а процесс достижения его и тщеславное чувство успеха.

В десятом часу Ксения, по обыкновению, вошла к отцу в кабинет и, поздоровавшись, присела около и спросила:

— Есть, папа, деловые письма, требующие ответа? Давай их мне.

— Подожди, Ксюша… Посиди, побеседуем, родная! — остановил ее Василий Захарович, любуясь своей дочерью.

Она, в самом деле, была очень мила, свежая, с легким румянцем на поразительно белом лице, в своем светлом шерстяном платье, обливавшем ее стройную изящную фигуру…

Ее лицо было оживленно, даже и весело. Видно было, что она уже пережила прошлое, и только несколько морщинок на лбу, да какая-то вдумчивая серьезность выражения в глазах свидетельствовали, что ей не совсем даром прошло крушение ее любви.

— Ты знаешь, Ксюша, что сегодня приедет француз за ответом?

— Еще бы не знать! Ведь я буду вашим переводчиком… А ты, папа, кажется, все еще колеблешься?

— То-то, Ксюша…

Ксения улыбнулась.

— Ты что же не одобряешь моей нерешительности?

— Еще бы!

— Ты, значит, советуешь продать завод французам?.. Думаешь, я с ним не справлюсь и опять зарвусь?..

— Не то я думаю, папа, вовсе не то, а думаю, что пора тебе бросить всякие дела и отдохнуть… Ты, вот, теперь несколько поправился, а помнишь, каким был от всех этих волнений… Ради чего волноваться опять? Ради чего изводить себя заботами?.. Разве ты не довольно будешь богат? И, наконец, для кого все это богатство?.. К чему оно?

— Ты ошибаешься, Ксюша… Не ради корысти я жалею завод… Я знаю, что, благодаря твоему миллиону, наши дела спасены, я не банкрот, и вы будете иметь состояние… Но мне не хочется бросать начатого дела.

— У тебя два завода остаются. Дело будет.

— Какое это дело? Эти заводы вполне устроенные, идут себе заведенным порядком… Признаться, они и мало интересуют уже, а этот новый… Устроить его, пустить, поставить на ноги… обес-

печить сбыт на новом рынке…

— Какая в тебе неугомонная натура, папочка!.. Но ты себя пожалей. Отдохни! Слава Богу, довольно-таки поработал..

«А ведь Ксюша правду говорит. Я все забываю, что мне шестьдесят четыре года!» подумал Василий Захарович и сказал:

— Так по твоему продавать, Ксюша?

— Продавать, папа.

— Пожалуй, и старые заводы тоже продать?

— И отлично.

— А самому на печку и играть с внуками? — полушутливо, полугрустно продолжал Трифонов.

— Найдется, папа, и другая работа, коли захочешь. С таким богатством мало ли добра можно сделать?..

Трифонов задумался. В самом деле, всю свою жизнь он только и делал, что наживал, и никаких добрых дел не совершал, да как-то, за делами, и не думал об этом. А вот Ксюша деликатно напомнила и, не желая, пристыдила отца. Она, вот, нисколько не дорожит богатством — не то что сын. Тому нужен блеск и наслаждения, а Ксюша выше этого… Вечно читает, всегда ищет, кому бы помочь, всегда о ком-то хлопочет…

— Будь по твоему, моя разумница! Продаю за-

вод! — проговорил он.

— И вместе поедем в деревню? Ведь давно мы там не были.

— Что ж, едем!.. — весело отвечал отец и решительно прибавил:- и старые два завода продам… Совсем ликвидирую дела. Ну их. В самом деле, пора и о душе подумать, а то все больше о наживе думал… Так жизнь сложилась… Толкнула судьба на этот путь… Смекалка была и сноровка… первые успехи подзадорили, ну, и втянулся… А ведь сам-то я, Ксюша, ты знаешь, самых скромных привычек и всю жизнь таким был.

— К чему же, папа, вся эта роскошь у нас… Этот дворец-дом, эти обеды, словом весь этот блеск… Неужели для мамы?..

— Нет, Ксюша. И мать твоя никогда за этим не гналась.

— Так для кого же?

— Для людей. Для положения… При делах это нужно… Ну и, признаюсь, из…

Старик остановился…

— Из тщеславия, папа? — досказала Ксения и тотчас же прибавила:- ты извини, что я прямо говорю…

— Говори, говори… Мне никто прямо не говорил никогда, с тех пор, как я стал богат… Ах,

Ксюша, богатство портит людей… и люди портят богатых людей и делают их недоверчивыми… Я все это испытал на себе… Да, ты права… Тщеславие заставляло меня жить так… Ради него я и брата твоего сделал блестящим трутнем вместо того, чтобы сделать его полезным работником… Я всегда удивлялся, как это ты не испортилась в такой обстановке? Сердце доброе, видно, спасло.

— И я, папа, довольно исковеркана, нечего говорить… А разве я доверчиво смотрю на людей?.. Ты скажешь: со своим скептицизмом и я сделала ошибку — это мое замужество, — но тут виною страсть, слепая страсть, за которую я и поплатилась… А помнишь, как я собиралась выйти замуж за Павлищева, нисколько не любя его, чтобы только быть женой министра… Разве это не тщеславие?.. Что, в самом деле, он будет министром, папа? — смеясь, прибавила Ксения.

— Говорят, что будет… Он уехал за-границу, на днях…

— Слышала. Уржумцев рассказывал… А знаешь причину его поездки?

— Отдыхать едет.

— Совсем нет… Он, оказывается, лучше, чем я думала… Он поехал вслед за своим умирающим ребенком, сыном Марьи Евграфовны… Ты, ведь,

знаешь всю эту плачевную историю его молодости?..

— Знаю.

— И я удивляюсь одному, как Марья Евграфовна простила ему. Впрочем, она редкой доброты женщина… Совсем не похожа на брата.

Ксения упомянула о Марке совсем равнодушно.

— И я ведь тоже желал твоей свадьбы с Павлищевым, Ксюша. Покаюсь тебе.

— Не кайся, знаю…

— И ведь, тоже из-за тщеславия. Жена министра… Но я тогда не знал, что он имеет на шее такую историю… Бросить несчастную девушку с детьми…

Старик с укором покачал седою головой и продолжал:

— Видно, совесть хоть поздно, а заговорила… Да… Очень я хотел тебя видеть женой министра, Ксюша, точно это такое счастье… Знаешь ли, милая, в то время, когда мне грозило банкротство, я о многом передумал о таком, о чем не думал прежде… И все-таки, хоть и понял многое, но чуть дела поправились, снова забыл все и снова хотел пуститься в эту игру наживы и тщеславия… Право… Ты, голубка, убедила меня не делать этого…

Ты, золотое мое сердце и умная головка! — говорил старик. — Ведь из-за меня ты и жизнь свою изломала! — растроганно прибавил Василий Захарович.

— Слава Богу, что это случилось раньше, а не позже. Конец, ведь, был бы один и тот же… Когда-нибудь я прозрела бы… Как он ни скрытен, а снял бы с меня слепоту… Ну, давай-ка, папа, письма… Примусь за работу и в одиннадцать часов буду у тебя толмачом…

После ухода Ксении, Василий Захарович снова погрузился в думы, и на этот раз колебаний не было. Он окончательно ликвидирует все свои дела.

В одиннадцать часов явился француз-инженер и в полчаса, при помощи Ксении, все дело было окончено. Трифонов продал огромный участок земли и завод за два миллиона рублей.

Только что ушел, любезно раскланявшись француз, как в кабинет влетел Уржумцев, веселый и сияющий, во фраке и с портфельчиком в руках.

— А я покончил, Иван Андреевич! Вот и задаток триста тысяч получил! — весело встретил его Трифонов, показывая чек.

— И я покончил, Василий Захарыч… Позвольте поздравить вас, Ксения Васильевна! — обратился

он к ней, целуя протянутую ему руку. — Отныне вы совершенно свободны и… можете, если вам угодно, снова вступить в брак, — прибавил он шутливым тоном. — Вот-с и документик вашей свободы.

И Уржумцев вынул «документик» и вручил его Ксении.

— Благодарю вас, но вступить в брак не собираюсь, — проговорила сухо Ксения, которой не поправился этот шутливый тон адвоката, и быстро стала пробегать бумагу…

Радостное выражение светилось на ее лице.

— Не правда ли, скоро мы обработали дело? Для вас старался, Ксения Васильевна.

— Будто только для меня? — насмешливо спросила Ксения.

— Клянусь, для вас… Для другой клиентки еще месяц другой бы прошел, а вас я хотел поскорей порадовать… А вы вот в награду за мое усердие — смеетесь! Это обидно, Ксения Васильевна;- шутливо продолжал адвокат, скрывая досаду избалованного Дон-Жуана, что эта «англичаночка», которую он хотел «изучить», не обращает на него ни малейшего внимания и что все его попытки поговорить с ней по душе потерпели решительное фиаско.

— Как же теперь Ксюша будет называться, Трифоновой по-прежнему? — полюбопытствовал Василий Захарович.

— Нет-с, Василий Захарыч, у Ксении Васильевны теперь двойная фамилия: Трифонова-Борщова.

— Очень жаль! — промолвила Ксения.

— Да разве не все равно?… — воскликнул Уржумцев. — Пожалуй, пишите на своих карточках: Ксения Васильевна Трифонова… Я говорю о том, какая у вас, так сказать, законная фамилия… Нет, без шуток, дело ведь скоро сделано и в этом случае надо отдать справедливость г. Борщову: он испил всю чашу бракоразводных неприятностей до дна с большим самоотвержением.

— А разве приходилось испивать чашу? — спросила Ксения.

— Еще какую! Самого отвратительного напитка… Приходилось слушать увещевание… Приходилось… ну, да что говорить… У нас в России ведь развод сопряжен с большими неприятностями для стороны, признающей себя виноватой. Он все это проделал… Да, чуть было и не позабыл… Я только-что утром получил записку от г. Борисова с просьбой к вам, Ксения Васильевна.

— Ко мне? — произнесла с изумлением Ксения.

— Господин Борщов просит вашего позволения повидаться с детьми до их отъезда.

Ксения переглянулась с отцом.

— Место свидания он предоставляет вам, хотя и находит, что у него в квартире было бы удобнее. Что прикажете ответить?

— Я, конечно, согласна. Пусть назначит день и час, и я пошлю к нему детей! — промолвила Ксения и, простившись с Уржумцевым, вышла из кабинета.

— Ну, а мы сведем пока наши счеты, Иван Андреич! — заговорил Трифонов. — Глубокая благодарность — благодарностью, а деньги денежками. Сколько я вам должен, милейший Иван Андреич?

— А вот вам счетец, Василий Захарыч…

Уржумцев передал исписанный листочек почтовой бумаги. Но Трифонов его не читал, а только взглянул на итог и, вынув чековую книжку, подписал чек на десять тысяч пятьсот рублей.

XIII

В это воскресное утро Марк без обычного внимания читал книгу, сидя за письменным столом. Он несколько раз отводил от книги глаза и думал не о прочитанном, а совсем о другом и часто взглядывал на часы.

Он ждал детей.

Накануне он получил извещение от Уржумцева, что дети приедут к нему с англичанкой бонной в одиннадцать часов, и эта коротенькая, обрадовавшая его записочка настолько взволновала Марка, что он долго не мог заснуть и с удивлением спрашивал себя: что это значит?

По своему обыкновению объяснять все, он определил это родительское волнение долгою привычкой видеть детей. По всей вероятности, эта привычка пройдет или, по крайней мере, не будет причиной беспокойства с течением времени. Редкие свидания с детьми заставят его меньше любить их. Ведь известно, что отцы гораздо скорее забывают детей, чем матери. То, что для мужчины является иногда результатом лишнего стакана вина, для женщины — источник мук и материнского счастья.

Раздумывая о будущих отношениях своих к детям, Марк отлично понимал, что отношения его будут, так сказать, формальные. Влияния он на них, конечно, иметь не будет, и, воспитанные матерью, дети, в свою очередь, не будут питать особенно нежных чувств к отцу. Он охотно исполнил бы долг отца в материальном отношении, но и этого не нужно. Они вполне обеспечены и станут богаты. Одним словом, Марк одновременно с женой потерял и детей и потерял навсегда. С этим надо примириться.

И он, конечно, примирится. Рассудок ему уверенно говорит, что это для отцов обычное явление. Любовь их — только дело привычки и любования собой в своих детях. Та неудовлетворенность, которую он испытывает, по временам, от разлуки с детьми, и то волнение, выражающееся в бессоннице, что заставляет его думать о детях, со временем пройдут и не испортят ему жизни, не помешают его занятиям и умственному эпикуризму.

И что за слабая тварь был бы сильный и умный человек, презирающий предрассудки, накопившиеся на человечестве веками, смело и беспощадно анализирующий всякое явление и не боящийся никаких выводов, если б он из-за

двух маленьких существ, которые со временем сделаются, по всей вероятности, такими же глупыми скотами, как и другие, только потому, что они его дети, — усложнил свою жизнь разными волнениями, раскаяниями.

Он, слава Богу, не такой.

Это вот только такие бабники и, тряпки, как Павлищев, свершив не мало пакостей в молодости, после «мякнут»' и изображают из себя кающихся Магдалин!

И ведь шельма какая, его превосходительство! Наверное он «размяк» и почувствовал внезапно нежные родительские чувства к Васе, во-первых, оттого, что тот разжалобил его своим видом умирающего, а, главным образом, оттого, что сестра еще отлично сохранилась, свежа, молода, красива и своими добродетелями и целомудрием возбудила вновь желания в таком тонком развратнике, как Степан Ильич. Ему надоели все эти «дамы кабинетов», и он теперь, пожалуй, не прочь вкусить от брака с сестрой… Смерть Васи будет отличным предлогом… Не даром же Маша так восторженно описывает теперь Павлищева! — думал Марк, и среди тишины ночи в его спальне раздался тихий смех.

До Марка, разумеется, дошли слухи о том, что

Трифонов не только не разорился, но останется богат по прежнему, и это известие несколько раздражило его, как человека, обманувшегося в своих расчетах.

Если б он тогда посоветовал Ксении дать миллион, разрыва бы не произошло, она сделалась бы еще более преданною женой, и миллион все-таки остался. Жизнь не изменилась бы так круто.

Но кто же знал, что Трифонов вынырнет? Опытные люди, с которыми Марк говорил, не сомневались в его банкротстве. И, наконец, рано или поздно, а Ксения поняла бы, что он не тот «герой», каким она вздумала его вообразить. Главная ошибка его в том, что он не познакомил ее постепенно с собой и очень рассчитывал на ее страсть, предполагая, что она все простит в обожаемом муже.

Да и не погорячился ли он тогда, собственно говоря… Не явился ли разрыв следствием его откровенного признания, почему он женился?.. Не скажи он тогда этого — еще могло быть примирение, да еще какое горячее…

По обыкновению, Марк пристыдил себя за все эти рассуждения задним числом. Так или иначе, а факт свершился. Он ли виноват в этом или не он — рассуждать нечего, потому что глупо рас-

суждать о том, чему нельзя помочь.

Проснулся он в это утро ранее, чем всегда, и, по обыкновению, тотчас же встал с постели и стал одеваться.

Пожилой худощавый слуга Артемий, живший у Марка с тех пор, как он женился, мрачный на вид и молчаливый, никогда не разговаривающий со своим барином и только лаконически отвечавший на вопросы, аккуратный и исполнительный, любивший в свободное время почитать книжку, — этот лакей-отшельник, вечно сидевший дома и подходивший по складу своему к такому барину, как Марк, только удивленно приподнял свои густые нависшие брови, когда из гостиной, которую убирал, окончив уборку кабинета, услышал шаги Марка.

Обыкновенно, неизменный в своих привычках, Марк вставал в восемь часов и в половине девятого пил чай, а старая серебряная луковка Артемия показывала только четверть восьмого.

«Видно, занятия!» — подумал Артемий и пошел на кухню, чтобы поспешить с самоваром.

Этот Артемий, мрачный, вследствие личных несчастий — его бросила жена лет пять тому назад, и он судился и был оправдан за покушение на ее убийство, — хоть и далеко не был привязан к

Марку и считал его жестким человеком, у которого, как он выражался, была «твердая линия», тем не менее дорожил спокойным местом у такого малосообщительного, всегда ровного человека, никогда не гневавшегося и не делавшего никаких замечаний и ведшего отшельнический образ жизни. Правда, Артемий и не подавал повода к этому, и они таким образом жили друг с другом пятый год, никогда почти не разговаривая.

И оба были довольны друг другом.

Минут через десять Артемий вошел в кабинет, неслышно ступая своими тонкими ногами в байковых туфлях, с подносом, на котором стоял стакан крепкого чая с лимоном.

Марк, одетый в серую летнюю пару, отлично сидевшую на нем, и, несмотря на бессонную ночь, свежий, здоровый и румяный, как всегда, сидел у письменного стола, погруженный в чтение французской книги.

Артемий молча поставил стакан около письменного стола и пытливо взглянул своими глубоко-глубоко-сидящимиумными и пронзительными темными глазами на Марка, который, оказывается, не занимается по службе, а книжку читает.

Он решительно ничего не прочел на этом

спокойном и красивом лице и пошел, было, из кабинета, когда Марк сказал:

— В одиннадцать часов приедут дети с бонной. Никого из посторонних не принимайте, пока дети не уедут.

— Слушаю-с.

— А сейчас поезжайте на извозчике к Конради и возьмите конфет два фунта, в хорошеньких коробках. Вот деньги…

«Вот оно что. И его пробрало!» подумал Артемий, уходя из кабинета.

А Марк, оставив книгу, отворил ящик в письменном столе, достал оттуда две большие коробки и, раскрыв их, посмотрел на изящную куклу в платье и на красивого игрушечного белого пуделя. Эти игрушки были куплены еще несколько дней тому назад.

— Понравятся, верно! — проговорил вслух Марк.

Сегодня время для Марка тянулось долго. Особенно долги казались минуты по мере того, как приближалось время свидания. Читать уже более Марк не мог и то и дело подходил к окну и прислушивался.

Что-то вдруг вспомнив, Марк надавил пуговку электрического звонка.

Явился Артемий прифранченный, в новой сюртучной паре.

Марк заметил этот «парад» Артемия, оставленный со времени переезда из роскошной прежней квартиры в эту маленькую во дворе, и в душе остался доволен.

— Быть может, дети захотят чаю, так чтобы был самовар.

— Поставлен.

— А молоко… Я и забыл сказать вам, чтобы вы взяли молока. Ведь они с молоком пьют.

— И молоко взято, и печенье.

— Сообразительный вы человек, Артемий! — проговорил Марк.

И — показалось Артемию — в его обыкновенно бесстрастном голосе, каким он отдавал приказания, звучала теперь мягкая нотка.

«А ты думал как!? Тоже ведь родные дети… Ты полагал, что человек ровно кобель… Шалишь, братец ты мой. Природа окажет… даром, что ты такой твердый человек… Не бойсь, теперь и молоко вспомнил!» — философствовал Артемий, сидя на кровати в своей маленькой, педантично убранной комнатке и прислушиваясь к звонку.

Артемий не знал причин развода своего барина, но догадывался, что должно быть вышло

что-нибудь серьезное, если барыня, такая добрая и хорошая, оставила барина, в котором души не чаяла…

Ровно в одиннадцать часов, как было условлено, раздался звонок. Марк бросился в прихожую и, не давши детям раздеться и не поздоровавшись с миловидной, лет тридцати, строгого вида бонной, по очереди приподнимал детей и целовал то черноглазого румяного Маркушу, как две капли воды похожего на Марка, то пухленькую крошку Идочку, напоминавшую чертами и цветом волос и глаз Ксению.

— Ну что, узнали меня, дети? Узнал, Маркуша? Узнала, Идочка?

— Я узнал.

— И я узнала! — пролепетала едва понятно крошечная девочка.

— Позвольте детям прежде раздеться! — проговорила по-английски, вся краснея, англичанка бонна, по видимому несколько изумленная таким «непорядком». Детей тормошат и целуют, когда прежде следует снять с них верхнее платье.

— В самом деле… Здравствуйте, мисс Эмили… Я, извините, и не поздоровался с вами! — отвечал по-английски Марк, произнося слова с заметным русским акцентом. — Раздевайтесь, дети.

Когда, наконец, дети разделись, Марк повел их к себе в кабинет.

Бонна осталась в гостиной и, вынув из кармана книжку, стала читать, предварительно оглядев скромную обстановку приемной.

— Ну садитесь, будьте гости, дети… — смеясь, говорил Марк, усаживая детей на диван.

Он чувствовал себя как-то легко и весело и ему все хотелось целовать детей.

Ни мальчику, ни девочке не сиделось. Они сползли с дивана и начали все осматривать. Крошка Идочка требовала показывать ей каждую вещь. По видимому, они не столько были рады видеть отца, сколько их занимала поездка, новая обстановка и то особенное внимание и ласки, которые им оказывал отец.

— А отчего ты не с нами живешь, папа? — неожиданно спросил маленький Маркуша.

Ни от чего не смущавшийся, Марк при этом вопросе смутился.

— Так, нельзя.

— Отчего нельзя?

— Мне надо часто уезжать из Петербурга! — сказал Марк, первое пришедшее в голову.

Маркуша протянул удовлетворенным голосом, словно бы: понимая важность этой причины:

— Нельзя!

И прибавил:

— Мы, значит, всегда с одной мамой будем жить?

— Всегда…

И Марк поторопился достать куклу и пуделя.

Эффект был поразительный. Дети совсем забыли отца, и отдались игрушкам.

Марк глядел на них и, не замечая сам того, чуть-чуть «размякал» по его выражению.

— Хотите, дети, чаю?

Дети захотели, но мисс Эмили, понимавшая несколько слов по-русски, появилась в дверях и «позволила себе напомнить», что дети в это время не пьют чая.

Марк, сам прежде строго требовавший, чтобы дети соблюдали раз установленный режим, сказал англичанке, весело ей улыбаясь глазами:

— Ничего, мисс Эмили, на этот раз отступим от правил. Надеюсь, и вы выпьете чашку?..

Англичанка вспыхнула и отвечала, что она только позволила себе высказать свое мнение, но что «как будет угодно мистеру Bortchoff».

Она всегда его так звала и, втайне влюбленная в него, очень удивлялась, как могла его жена оставить такого красивого, умного и респекта-

бельного мужа.

После чая дети полакомились конфетками и были в восторге, что это утро проводили решительно против всяких правил и мисс не делала никаких замечаний.

Полтора часа пробежали совсем незаметно. Дети весело играли в кабинете, куда, по приглашению Марка, перешла и англичанка, и Марк не только не чувствовал никакого стеснения от присутствия детей, а, напротив, был весел и ласков с ними, как никогда в то время, когда жил вместе.

И когда заметил, что мисс взглянула на часы, спросил ее:

— На сколько времени дети отпущены?

— Миссис ничего не сказала, но она боялась, чтоб вас не стесняли дети.

— О, за это не беспокойтесь!

Наконец, мисс Эмили нашла, что пора домой, да и дети уже начали скучать.

Марк горячо простился с ними, сам завернул для них конфеты и игрушки и, снова целуя их, просил опять приезжать.

— Хотите?

Еще бы! Они, конечно, хотели. И игрушки, и конфеты… Все это так весело.

И Марк, крепко пожимая руку мисс Эмили,

просил передать «их матери» его покорнейшую просьбу прислать детей еще раз перед отъездом в деревню.

XIV

Марья Евграфовна ехала с остановками, чтобы не утомить своего дорогого больного, и Павлищев нагнал их во Франкфурте.

Нечего и говорить, как была обрадована и тронута несчастная мать. Признаться, она не рассчитывала, что Павлищев бросит дела и немедленно приедет. Ей думалось, что он только так, под первым впечатлением, обещал выехать вслед за ними и осведомился об ее маршруте, дав ей в Петербурге указания, в каких гостиницах останавливаться. И вот он здесь с ней. Она теперь, по крайней мере, на первое время, не одна на чужбине с больным ребенком, плохо объясняющаяся на французском языке, а с отцом своего Васи, любящим, нежным и заботливым, который устроит их и, главное, поддержит в тяжелые минуты сомнения и отчаяния. В нем заговорило отцовское чувство, и еще какое! Она не забыла его слез в Петербурге при виде Васи, и эти слезы вернули к нему прежнюю привязанность, которую Марья Евграфовна тщательно скрывала, чувствуя, что в этой привязанности не одно только благодарное чувство матери…

О том, чтобы она сама могла сколько-нибудь интересовать Павлищева, Марья Евграфовна, разумеется, и не думала. Что может она, скромная, незначительная и не молодая женщина, представлять собою для такого избалованного победами, блестящего и важного сановника? Разве пришел бы он к ней, если б не сын? Старая любовь у мужчин не возвращается…

Так, случалось, временами размышляла она, отвлекаясь от упорных дум о Васе и, тем не менее, инстинкт женщины подсказывал ей, что Павлищев не совсем безразличен и относится к ней с добрым чувством расположенного человека. Об этом говорил и его почтительный, нежный, словно бы виноватый тон, говорили и эти ласковые взгляды, напоминавшие прежние, которые она случайно перехватывала на себе и от которых почему-то невольно краснела, говорила и необыкновенная заботливость о ней, полная дружеской деликатности.

Отношение это она объясняла себе чувством раскаяния и жалости к матери — ничем более, и ни на минуту не подозревала, что она, красивая еще, хорошо сохранившаяся и свежая, казавшаяся гораздо моложе своих тридцати четырех лет, снова начинала нравиться Павлищеву, как жен-

щина, полная прелести целомудренной чистоты и скромности.

Из Франкфурта они проехали, не останавливаясь, в Женеву, чтоб показать Васю известному специалисту по грудным болезням, профессору Цану, и затем поселиться где-нибудь в горах, по его указанию.

В Женеве они заняли две большие комнаты рядом в одном из лучших отелей. Степан Ильич сам понес на руках Васю и уложил его на диван.

— Прикажете открыть внутренние двери? — спросил сопровождавший их хозяин отеля.

Марья Евграфовна поняла вопрос и смутилась.

— Вы позволите, Марья Евграфовна? — спросил Павлищев.

— Если хотите…

— Я буду во всякую минуту под рукой… ближе к Васе, — чуть слышно прошептал он и попросил открыть двери.

Когда вслед затем слуга принес книгу и попросил Павлищева записать фамилии приезжих, Степан Ильич решительно написал: «Павлищев с женой и сыном».

— Вы простите меня, Марья Евграфовна, — говорил он молодой женщине, когда Вася уснул, — что я назвался вашим мужем…

— К чему это? — проронила, вся вспыхивая, молодая женщина.

— Так удобнее. Зачем вас ставить в неловкое положение… Здесь, в Европе, его не прощают…

— Это правда… В Берлине я это испытала…

— Так, по крайней мере, здесь не испытывайте…

— А вам разве удобно?.. Вас могут встретить русские и…

— Бог с ними… Пусть встречают! — перебил Павлищев. — Только вы бы на меня не сердились и уделили бы несколько дружбы! — как-то значительно проговорил Павлищев, целуя руку молодой женщины.

«С чего это он постоянно спрашивает: сердится-ли она? Точно она не сказала ему этого еще в Петербурге?» — подумала Марья Евграфовна и промолвила:

— Ведь вы, кажется, видите, что я не сержусь… К чему же спрашивать?..

Павлищев взглянул благодарным взглядом, снова крепко поцеловал руку Марьи Евграфовны и проговорил:

- Ђду сейчас к Цану, а вы приготовьте Васю. Надоели бедняжке эти осмотры докторов… И дорога его утомила…

— Даст Бог, поправится…

— Вы думаете? Вы не утешаете только меня?

— Разумеется, думаю…

— О, благодарю вас, Степан Ильич… Подумайте только… ведь одна мысль потерять Васю…

И Марья Евграфовна залилась слезами.

Павлищев усадил ее на диване в своей комнате и тихо пожимал ее руку, стараясь ее успокоить… Он и сам по временам приходил в отчаяние, что сын его умрет, и сам иногда надеялся, что Вася будет жить и будет около него. И в такие минуты в голову его закрадывалась мысль о женитьбе на Марье Евграфовне.

И теперь, утешая ее, он незаметно любовался ее лицом, ее пышным станом и загорался желанием обладать этой женщиной.

В тот же день был профессор Цан.

Опять долгий и внимательный осмотр несчастного Васи, подозрительно взглядывавшего своими большими глазами на серьезное лицо доктора, несколько ободряющих слов, сказанных при больном, и грустное заявление наедине Павлищеву, что положение больного очень серьезно. Распад легких идет быстро, и только чудо может спасти его.

— Вы, разумеется, не скажете этого матери, но

вам я считаю долгом откровенно высказать свой взгляд, — прибавил доктор.

У Павлищева брызнули слезы.

— Куда его везти, доктор?

— Куда-нибудь в горы.

— Но как же оставить больного без врачебной помощи?

— Поезжайте в Глион, над Монтре. Там не жарко, а в Монтре есть врачи.

Павлищев, конечно, не сказал Марье Евграфовне всей правды. Однако, предупредил, что профессор находит положение Васи очень серьезным.

— Умрет? — спросила, мгновенно бледнея, Марья Евграфовна.

— С чего вы это взяли?.. Ничего подобного Цан не говорил. Он не теряет надежды… Горный воздух…

— Что вы там шепчетесь?.. Мама! Зачем ты меня оставляешь! — с раздражительным упреком крикнул Вася.

С приезда Степана Ильича, Вася, нераздельно пользовавшийся каждую минуту лаской и уходом матери, стал ревновать ее к нему. Внезапная близость этого постороннего человека, с которым мать так внимательна и добра, вызывала в маль-

чике подозрительное недоумение и не особенно добрые чувства к Степану Ильичу. Несмотря на игрушки, которые он привез, несмотря на нежность, которую он проявлял, Вася точно дичился его, был с ним сдержан и нередко делал вид, что спит, когда Павлищев подходил к нему.

Это очень огорчало Степана Ильича. О, как ему хотелось встретить ласковый взгляд, приветливую улыбку на этом изможденном личике. Он не терял надежды, что мальчик к нему привыкнет, и когда раз в вагоне Вася улыбнулся ему — он был несказанно счастлив.

Все это заметила и Марья Евграфовна и не знала, как ей быть, что сделать, чтобы расположить сына к Степану Ильичу. Она часто говорила Васе, что папа его умер, и как теперь сказать ему, что папа тот самый человек, которого он не любит?

Этот раздражительный окрик больного заставил Марью Евграфовну вздрогнуть, а Степана Ильича как-то беспомощно и грустно взглянуть на молодую женщину.

— Я еду нанимать виллу в Глион… Там я постараюсь как можно реже показываться ему на глаза! Он не выносит меня! — прошептал он.

Марья Евграфовна смущенная, чувствуя себя виноватой перед мальчиком, приблизилась к

дивану, на котором лежал Вася, и сказала:

— Я здесь, мой родной… Я на минутку оставила тебя… Прости, деточка…

И она покрыла поцелуями его мертвенное личико.

— Мне пора лекарство принимать… Скоро эта противная лихорадка придет, я чувствую, а ты с ним говоришь…

— И не пора еще… Лекарство надо принимать в три часа, а теперь только половина третьего… Да, быть может, лихорадка сегодня и не будет, радость моя! — говорила Марья Евграфовна, усаживаясь в кресло против Васи.

— Ты каждый день говоришь: не. будет, и она каждый день бывает! — раздражительно промолвил Вася.

— Милый! Да разве я виновата, что она бывает… Ты знаешь, как я хочу, чтоб ее не было! — воскликнула Марья Евграфовна. — Оттого-то я и думаю, что ее не будет, и говорю тебе… Не сердись же на свою маму! — умоляющим тоном произнесла мать.

Вася выпростал из-под одеяла свою тоненькую, восковую ручку и протянул ее матери в знак того, что он не сердится.

Та прильнула к ней.

— О чем ты с ним говорила, мама? — спросил Вася после нескольких мгновений молчания.

Это: «с ним» — кольнуло Марью Евграфовну.

— Степан Ильич был так добр, что взялся нанять нам дачу в Глионе… Доктор советует туда ехать. Там хорошо… Там тебе станет гораздо лучше… Завтра мы и поедем… А без Степана Ильича мы не устроились бы так скоро… Он добрый, Степан Ильич, и готов помочь нам… Я его давно знаю. Он очень расположен ко мне и тебя очень любит…

— И он с нами будет жить?

— А ты разве не хочешь, чтоб он с нами жил?

— Не хочу!

— Отчего, родной? — с затаенною тревогой спросила Марья Евграфовна.

— Я хочу только с тобой жить и чтоб больше никого не было, а то ты будешь все с ним говорить и меня оставлять одного… Это нехорошо…

— Да Бог с тобой, деточка!.. Разве не ты единственное существо, которое для меня дороже всего на свете… Разве я оставляю тебя?

— С тех пор, как он приехал, оставляешь… И разве живут посторонние люди вместе… Папы только живут, а ведь мой папа умер… Он не папа… Он, ведь, твой знакомый…

— Да… хороший, добрый знакомый, — отвечала, стараясь скрыть свое волнение, Марья Евграфовна…

— Так пусть живет не с нами! — капризно заметил мальчик. — Слышишь, мама?…

— И заходить к нам ему нельзя?

— Пусть заходит, если ты хочешь, только не часто. Он на тебя все смотрит и твои руки целует. Я его не люблю! — решительно прибавил Вася.

Марья Евграфовна отвернулась, чтобы скрыть охватившее ее смущение. Она чувствовала, как кровь заливает ее щеки. Эта ревность мальчика взволновала ее, и она считала себя виноватой. В самом деле, в праве ли она была согласиться на приезд Павлищева? Но, ведь, он отец!

А Вася, между тем, продолжал серьезным тоном с. безжалостным эгоизмом балованного больного:

— Если я, мама, умру, тогда… выходи за него замуж, я пока я жив, ты должна быть только моя. Ведь и я только твой, милая мамочка! — с невыразимою нежностью прибавил мальчик.

Скорбный вопль вырвался из груди Марьи Евграфовны.

Вся в слезах, она опустилась на колени у дивана и, заглядывая в эти широко-раскрытые, ласково-

вдумчивые, проникновенные глаза, воскликнула с страстною уверенностью, словно бы стараясь убедить и себя:

— Ты вздор говоришь, Вася. Ты не умрешь, ты не можешь умереть, мое дитя! Ты поправишься и будешь жить вместе с мамой. И доктор говорит, что ты поправишься… И я буду всегда только твоя, мой мальчик. Как мог ты подумать, что я на кого-нибудь тебя променяю.

— Поклянись!

— Клянусь!

Мертвенное лицо озарилось радостною улыбкой.

Он с трудом приподнялся на подушках и, обвив шею матери, прижался к ее лицу своими холодными щечками.

— Милая, славная, как я тебя люблю, мамочка… И когда я буду большой, как я буду беречь тебя! — взволнованно говорил Вася.

А Марья Евграфовна ласкала эту милую головку, доверчиво прижавшуюся к ней, и глотала рыдания, подступавшие к горлу.

Через четверть часа жестокая лихорадка начала трепать больного. Термометр показывал 39 градусов. Лицо пылало.

— Видишь, мамочка, она не проходит. По-

крой меня, не отходи от меня… Мне страшно, мамочка… Помоги, мамочка, милая мамочка! — жалобно и испуганно говорил ребенок.

— О, милый, я готова жизнь отдать за тебя! — отвечала мать и с отчаянием в сердце, стараясь сохранить бодрый вид, ухаживала за своим дорогим больным.

На другой день Павлищев вернулся и, к удивлению своему, нашел, что внутренние двери заперты на ключ.

Он вышел в коридор и тихо постучал в двери комнаты Марьи Евграфовны.

Та вышла в коридор.

— Ну, что Вася?

— Он спит теперь… Лихорадка все хуже и продолжительнее…

— Это вы заперли двери?

— Я… Вася, голубчик, ревнует меня к вам и…

— И не хочет меня видеть?

— Да… И я не могла его убедить…

И Марья Евграфовна передала разговор свой с Васей, деликатно опустив разрешение Васи выйти замуж после его смерти.

— Что ж… Что посеял, то и пожал! — грустно проговорил Павлищев. — Но я все-таки могу оставаться вблизи, Марья Евграфовна? Вы будете

жить в маленькой вилле, я уж нанял ее, а я… в гостинице… Я хоть буду знать, что у вас делается, как Вася и вы, мой добрый друг! — прибавил он и взял, было, ее руку, чтоб поднести к губам, но Марья Евграфовна тихо ее отдернула и смущенно проговорила:

— Не надо, Степан Ильич… Вася этого не хочет… Ему не нравится, что вы целуете мои руки!

Павлищев безмолвно наклонил голову и ушел к себе.

На следующий день в полдень переехали в Глион, в хорошенькую виллу, окруженную садом, комфортабельно убранную. Горничная и кухарка, молодые и здоровые швейцарки, встретили Марью Евграфовну и Васю.

Уютная спальня выходила на юг. Из окон виднелась красивая панорама гор, среди которых блестела на солнце белоснежная макушка Dent de Midi. Голубая лазурь Женевского озера расстилалась внизу и казалась маленьким зеркалом.

— Нравится тебе здесь, Вася?

— Прелесть, мамочка. О, я здесь скоро поправлюсь! — говорил он, жадно вдыхая остатками легких в открытое окно прелестный горный воздух, полный свежести, и любуясь роскошным видом. — Ах, как здесь хорошо… Посмотри, какие

горы, мамочка… И как дышать легко.

И, чувствуя прилив сил, он поднялся с кресла и добрел до окна.

И Марья Евграфовна, радостная, снова окрыленная надеждой, в восторге глядела на сына.

— Это Степан Ильич нашел для нас такое славное гнездышко! — проговорила она.

— Степан Ильич? Какой он добрый! Где он? Отчего он не ехал с нами?

— Он сидел в другом вагоне, Вася, и остановился в гостинице. Он, верно, скоро уедет отсюда! — почему-то прибавила Марья Евграфовна.

— Пошли за ним, мама. Я поблагодарю его за то, что он нашел такой чудный домик… Пошли, сейчас же пошли! Ведь, я позволил ему приходить к нам. Ну, и пусть придет! — капризно прибавил мальчик.

Через пять минут Павлищев уже был в комнате и в ответ на благодарность мальчика так нежно и порывисто целовал руку Васи, что тот видимо смягчился и, обращаясь к матери, произнес:

— Мама! Пригласи Степана Ильича завтракать с нами… И что не подают завтрака. Я есть хочу.

XV

Ах, какой это был ужасный месяц для Марьи Евграфовны! Что за мучительные дни и долгие, невыразимо долгие, почти бессонные ночи у изголовья умирающего ребенка!

Ни чудный воздух Глиона, ни разные средства, прописываемые врачом, ежедневно посещавшим маленькую виллу, ни заботливый уход не останавливали недуга. Он с страшною быстротой делал свое злое, бессовестное дело, разрушая организм ребенка. Лихорадки становились бурнее и продолжительнее, изнуряя исхудавшее тело, и мальчик таял, слабея с каждым днем. Он не поднимался с постели, беспомощно метался на ней, и тень смерти уже витала над ним, ожидая скорого своего торжества.

Даже и у Марьи Евграфовны исчезала всякая надежда, хотя доктор и не переставал говорить ей, что никакой непосредственной опасности нет и что выздоравливали и не такие больные. И, несмотря на то, что бедная мать чувствовала этот обман, она все-таки жадно внимала и уверенным авторитетным словам молодого врача, и мягким, успокаивающим словам Павлищева, — так ей хо-

телось верить, так ей хотелось быть обманутой! Не даром же она раз сказала Павлищеву, чтобы ей не говорили жестокой правды. Пусть лучше обманывают, чтоб не лишить ее возможности ухаживать за дорогим созданием и не выказывать перед ним своих душевных мук…

И она с истинным мужеством матери старалась казаться веселой перед Васей, шутила с ним, рассказывала ему сказки, рассуждала вместе с ним, как они проживут до осени в Глионе, а потом уедут в Италию, в тепло и затем, когда Вася поправится, вернутся в Россию.

И ни один мускул лица не выдавал ее душевных мук. Ни один звук голоса не вздрагивал от волнения. Надо было скрывать свои страдания от подозрительного и чуткого больного, и она скрывала их с тем героизмом, на который только способны матери.

И когда Марья Евграфовна чувствовала, что нервы ее больше не выдерживают, она отпрашивалась у Васи погулять на пять минут, выбегала в сад и там, в маленьком уголке, под платанами, безутешно рыдала.

Степан Ильич почти безотлучно дежурил в саду, или в соседней, с спальной комнате, готовый бежать в аптеку, если понадобится, в город

для исполнения поручений и капризов Васи, всегда старавшийся утешить несчастную женщину. Но его успокоительные, мягкие слова не соответствовали его грустному виду. Он как-то осунулся и сразу постарел за это время, зная, что сына ему уже не вернуть никакими силами, и, случалось, плакал вместе с Марьей Евграфовной вместо того, чтобы подбодрить ее… Нервы его были совсем расшатаны. Теперь уж он даже и не хотел видеть Васю… Вид умирающего ребенка, которого он так безжалостно бросил и которого так сильно полюбил для того, чтоб снова потерять, возбуждал в нем страдания, проснувшейся совести и невыразимую жалость; при взгляде на заостренные черты изможденного личика, он чувствовал, как навертываются слезы на глаза, и торопился уйти из комнаты, куда призывало его иногда желание Васи поблагодарить Степана Ильича за те многочисленные игрушки, которые посылал ему ежедневно отец, желавший чем-нибудь скрасить последние дни умирающего. И когда Марья Евграфовна сообщала ему, что та или другая игрушка заняла Васю, что он улыбался и был доволен, Степан Ильич светлел и опять спускался в Монтре, чтоб купить что-нибудь новенькое, и возвращался с игрушками, фруктами

и сластями.

Казалось, Павлищев забыл теперь обо всем, что — давно ли? — составляло главнейший интерес его жизни. Вся эта петербургская служебная атмосфера с ее интригами, погоней за отличиями, искательством, с честолюбивыми мечтами о власти — словно бы заволоклась какой-то туманной дымкой и представлялась далекой и неинтересной. Степан Ильич даже не читал газет и не знал, что делается на родине, поглощенный исключительно мыслями о двух существах, перед которыми чувствовал себя теперь бесконечно виноватым. Он удивлялся героизму Марьи Евграфовны, боялся, что она не перенесет смерти Васи, и считал своим долгом не оставлять ее одну. Мысль о женитьбе на ней неотступно преследовала Степана Ильича, и этот опытный ухаживатель, этот развращенный эпикуреец боялся, что она ему откажет и что могила Васи окончательно разъединит их… И это его пугало. В теперешнем его настроении жизнь с Марьей Евграфовной казалась ему единственным личным счастьем. Эта женщина предстала теперь перед ним во всем блеске своей нравственной чистоты. Вся ее жизнь — беспрерывный подвиг… Как неизмеримо она выше его!

Степан Ильич виделся с Марьей Евграфовной ежедневно, — она выходила в сад и сообщала ему все малейшие подробности о Васе, и эти подробности казались ему самыми важными и значительными делами на свете. Как Вася провел ночь, что он ел, не выражал ли он каких желаний, долго ли была лихорадка, что он говорил, — вот что занимало теперь этого карьериста, этого блестящего чиновника, будущего министра… Он по нескольку раз в день спускался в Монтре и ходил по жаре, исполняя разные поручения, бегал за доктором по ночам и, случалось, дремал, одетый, всю ночь в кресле салона виллы, если Васе было особенно нехорошо.

Когда Марья Евграфовна передавала ему, что Вася вспоминал о нем, благодарил за игрушки и выражал желание его видеть, Степан Ильич умилялся, счастливый, что мальчик относится к нему без прежнего озлобления, и благодарно пожимал руку Марьи Евграфовны, с глазами, полными слез, тихий, грустный, с поникшей головой, совсем не похожий на того свежего, выхоленного, блестящего сановника, с горделиво приподнятой головой, в изящно сшитом вид-мундире с двумя звездами на груди и крестом на шее, — который в известные дни, от десяти до одиннадцати часов

утра, принимал в своей внушительной приемной просителей, сопровождаемый дежурным чиновником.

Здесь, в этом саду, ютившемся над обрывом, под которым сверкало Женевское озеро, сидел подавленный горем человек, почувствовавший едва ли не первый раз на своем веку, что в жизни есть кое-что другое, кроме карьеры и любовных авантюр, кроме интриг и честолюбия, и что горе, которое он переживает, как-то смягчает его сердце и наводит на такие мысли о тайне жизни и смерти, о которых он раньше никогда и не думал.

И когда однажды Марья Евграфовна передала ему письмо Марка, в котором Марк сообщал, что выход в отставку министра, почти дело решенное и через месяц отставка будет подписана, и просил сказать об этом Степану Ильичу, «который, по получении этого известия, вероятно, поторопится вернуться в Петербург», — Павлищев, возвращая письмо, промолвил:

— Я только что третьего дня писал министру и просил продлить отпуск еще на месяц.

— Но послушайте, Степан Ильич, быть может, это повредит вашей карьере? — заметила Марья Евграфовна, необыкновенно тронутая этой от-

цовской привязанностью.

— Ох, Марья Евграфовна! Бывают такие полосы в жизни, когда забываешь и о карьере… Я пожертвовал бы всей этой карьерой, которой так добивался, лишь бы Вася был здоров. Нет, я останусь около вас и Васи! — решительно прибавил он.

В ответ Марья Евграфовна крепко-крепко пожала Павлищеву руку.

И Павлищев, деликатно исполняя просьбу Марьи Евграфовны, не поцеловал ее руки, а ответил таким же пожатием.

— Воображаю, как ваш брат удивится, когда узнает, что я остаюсь здесь! — проговорил после паузы Павлищев.

— Я думаю… Брат слишком живет головой.

— И более честолюбив, чем, я, и более верит в себя, и вообще…

Павлищев на секунду остановился, словно бы приискивая выражение, не оскорбительное для сестры.

— …И вообще он слишком решительный человек! — добавил Степан Ильич.

— Да, Марк странный человек. Я его люблю, но, признаюсь, не понимаю… Ко мне он всегда относился с нежностью, хоть и подсмеивался надо

мной, а к другим людям он относится с каким-то беспощадным анализом, точно он озлоблен против людей… Мне жаль Марка… Жаль, что он в такие молодые годы и так мрачно смотрит на жизнь… Он должен быть очень несчастлив, бедный Марк…

«Как не похожи сестра и брат!» — невольно подумал Павлищев.

— И эта его женитьба на миллионерке, и этот развод…

— Марк Евграфович говорил вам о причинах развода?

— Вскользь… Ведь он женился, не чувствуя любви, из-за богатства. А как его любила Ксения Васильевна!.. Ну, разумеется, она догадалась, он имел порядочность откровенно признаться в этом и… конец понятен…

«Однако, Марк не решился быть нагло-откровенным с сестрой и скрыл настоящую причину развода!» — снова пронеслось в голове Павлищева, и он виновато промолвил:

— А вы знаете, Марья Евграфовна, что и я был женихом Ксении Васильевны и тоже искал миллионов?..

— Знаю, мне Марк говорил… И, слава Богу, что брат вас спас! Разве можно жениться без любви?..

Вот, Марк погнался за богатством, и его потерял, и испортил и чужую жизнь, и свою… Я уверена, что он детей любит… Он писал мне о них, и вот теперь…

Марья Евграфовна вдруг оборвала речь и смутилась. Ведь эти обвинения Марка были и обвинениями Павлищева…

— Говорите, говорите… И я стою упреков еще сильнейших.

— Я вас, право, не имела в виду, Степан Ильич…

— Ах, что у вас за золотое сердце, вы и сами не знаете! — взволнованно проговорил Павлищев… — Я верю, что вы меня простили и не относитесь ко мне с презрением… Да, нельзя безнаказанно играть с людьми… Я это понял, хотя, к сожалению, и поздно!

Павлищев примолк. Молчала и Марья Евграфовна.

— Да, вы правы, ваш брат меня спас! И если б вы знали, как я теперь ему за это благодарен! Как я рад, что не женился на миллионах! — значительно прибавил Павлищев.

Эти слова заставили сердце молодой женщины забиться сильней от радостного волнения, и она почувствовала, что этот человек, не смотря на все

прошлое, и близок, и дорог ей.

И, стараясь скрыть свое смущение, чувствуя себя словно бы виноватой за это, она поднялась со скамейки и торопливо поднялась на террасу, проговорив:

— Верно, Вася проснулся!

По странной психике, довольно обычной у многих чахоточных, чем более слабел Вася, тем более надеялся на выздоровление, и о смерти не говорил, как случалось прежде, и вовсе не думал теперь о ней. Напротив, высказывал матери самые радужные предположения на счет будущего и чувствовал себя гораздо лучше. У него ничего не болит. Только слабость одна. Но она скоро пройдет.

— Не правда ли, мама?.. Через неделю мы поедем кататься?

— Через неделю?.. О, конечно, мой милый!

— Ты, кажется, не веришь этому, мама?

— Что ты?.. Верю, и доктор говорит! — храбро утешала мать, скрывая свой ужас при виде этого, еле шевелящегося, маленького скелета вместо прежнего здорового, трепетавшего жизнью Васи.

С каким-то инстинктом самосохранения, словно бы вырывая у смерти лишний час, лишнюю минуту, Вася теперь сам заботился об аккурат-

ном соблюдении установленного режима. Он требовал, чтоб ему давали пунктуально лекарство, чтоб приносили во-время молоко, бульон и вино и, когда не находился в полусне, весь жил в этих заботах о себе. Казалось, для него все сосредоточивалось на этой чашке бульона, которую он нетерпеливо ждал и из которой еле глотал ложечку, на рюмке вина, на принятом лекарстве, на мысли о том, что бы ему съесть, что не было бы противно, и чем бы утолить жажду, вызываемую беспрерывной лихорадкой… И он раздражался на мать, раздражался на горничную, если что-нибудь не скоро приносили или делали не так, как он требовал.

Он не отпускал от себя мать, сердился на нее, что она плохо его укутывает, что ему дует в спину, и после с трогательною нежностью просил «мамочку» не сердиться на него и простить его. Ведь, он больной. Но скоро, скоро все это пройдет… Он выздоровеет.

— Ты не бойся, мамочка… Я поправлюсь. Да что ж ты плачешь, прелесть моя?.. Я тебя огорчил?..

О Господи! Что это были за муки для бедной матери. Какое горе могло быть ужасней!?..

И Марья Евграфовна, глотая рыдания, припадала к руке мальчика и клялась, что она ни на

секунду не сердилась на своего голубчика, что она заплакала от того, что Вася долго болен и, присаживаясь около, начинала рассказывать, что она уже просила Луизу заказать на после-завтра коляску, и они вдвоем отправятся в Монтре.

И мальчик улыбался и ласково перебирал пальцами волосы матери и слабым голосом шептал:

— Какая ты у меня добрая, мама!

На следующее утро луч надежды сверкнул в сердце матери.

Вася проснулся и объявил, что он чувствует себя хорошо и хочет чаю. Поставили термометр, и он показал 36,2. Мать обрадовалась. Лихорадки нет.

— Я тебе говорил, мама… Видишь! — проговорил с большим трудом и задыхаясь мальчик, и радостная улыбка осветила его лицо…

Целую чашку чая Вася сегодня выпил с удовольствием и после того объявил, что хочет сидеть. Марья Евграфовна приподняла его на подушки, но он сидеть не мог и как-то беспомощно склонил голову.

— Я посплю, мамочка… Ты не уходи…

И с этими словами он задремал.

Явился доктор. Марья Евграфовна радостно объявила ему, что лихорадки сегодня не было, но это сообщение не произвело, по видимому, на

доктора особенно приятного впечатления. Он пощупал голову и ноги ребенка, прописал морфий и ушел, обещая быть вечером…

В саду он нашел Павлищева и сказал:

— Начинается агония. Для успокоения я прописал морфий.

Целый день Вася был в забытье, и надежда, закравшаяся было в сердце матери, давно сменилась ужасом перед чем-то роковым, страшным и неизбежным. Точно закаменевшая сидела она у кровати Васи, не спуская с него пристального взгляда, точно стараясь запомнить эти дорогие черты навеки. В комнате стояла мертвенная тишина. Только слышались хрипы, вылетавшие из груди ребенка. Павлищев, с красными от слез глазами, то останавливался у дверей, то ходил по зале, то останавливался у окна и бесцельно смотрел на красивую панораму гор.

И с губ его но-временам срывались слова:

— За что? За что?

Наступили сумерки. В спальне стоял полусвет.

Вдруг Вася очнулся и чуть слышно произнес:

— Мамочка… пить…

Марья Евграфовна поднесла к губам его ложку.

— Приподними…

Она обхватила его за шею и почувствовала

почти холодное тело.

— Вася, свет мои, как ты себя чувствуешь? — почти крикнула она, вся охваченная ужасом и опуская снова мальчика на кровать.

Он поднял на мать потухающие кроткие глаза я прошептал:

— Лучше, мам…

И, не докончив слова, как-то глубоко и тяжело вздохнул и вытянулся.

— Вася! Вася! — раздирающим голосом крикнула мать и припала к его безжизненному телу, осыпая его лицо поцелуями.

Но ответа не было. Большие глаза глядели с каким-то удивленным спокойствием, и маленькое восковое личико имело выражение чего-то значительного и строгого.

Степан Ильич, обливаясь слезами, стоял около Марьи Евграфовны.

XVI

Священник, вызванный телеграммой из Женевы, два раза в день служил панихиды. Дьячок читал над телом псалтирь. В вилле пахло ладаном и духами.

Марья Евграфовна почти не отходила от гроба.

С выражением страдальческого недоумения и ужаса, застывшего на ее осунувшемся лице, она, вся в глубоком трауре, глядела широко-раскрытыми неподвижными глазами на дорогие черты покойника по целым часам и словно была в столбняке. Муха, садившаяся на лицо Васи, заставляла Марью Евграфовну заботливо обмахивать платком, точно она думала, что ее милый покойник может чувствовать.

С покорностью автомата двигалась она, когда Степан Ильич, плакавший, как малый ребенок, осторожно брал ее за руку и уводил в соседнюю комнату или на террасу и, усаживая в кресло, просил не предаваться отчаянью и не губить себя. Надо покориться року, как он ни ужасен… Надо жить…

Марья Евграфовна едва ли понимала, что ей говорит Павлищев, и едва ли видела тревожные,

полные ласки, взгляды его. Она в эти дни почти ничего не ела, и только настояния Степана Ильича заставляли ее съесть что-нибудь. Затем она поднималась с места и, несмотря на просьбы Павлищева посидеть и отдохнуть, снова тихо шла в ту комнату, откуда среди тишины доносился монотонный, слегка гнусавый, голос дьячка.

Приблизившись к гробу, она опять, безмолвная, не роняя ни слезинки, словно закаменевшая в горе, смотрела на труп, смотрела долго и не могла оторвать глаз.

Это молчаливое отчаяние пугало Степана Ильича. Он боялся, как бы бедная женщина не сошла с ума, и эта мысль приводила его в ужас, терзая его сердце угрызениями совести и воспоминаниями о прошлом. И ему, как нарочно, с поразительной отчетливостью припоминался тот день, много лет тому назад, когда он прощался с молодой женщиной и уверял ее в любви, обещая выписать в Петербург, в то время, когда в его душе уже созрело решение бросить эту преданную, любящую женщину с двумя крошками на руках.

А потом? Эти трогательные ее письма, оставляемые без ответа… Эта умышленная забывчивость об ее судьбе. Господи! Неужели он мог быть таким подлецом!

«Да, и был им!» отвечал сам себе Павлищев и не находил оправдания. И ведь только случайно, благодаря этому Бугаеву, хотевшему припугнуть его, узнал он о существовании Марьи Евграфовны и своего сына.

Одного уж нет… Неужели погибнет и она? И он будет виновником двух жертв?..

Степан Ильич не оставлял Марью Евграфовну ни на одну минуту. Поздними вечерами он почти силой уводил се из комнаты, где лежал покойник, и умолял ее прилечь и отдохнуть. И Марья Евграфовна слушалась с трогательной покорностью и, не раздеваясь, ложилась на кровать и забывалась в коротком тяжелом сне.

Вид пустой Васиной кроватки в момент пробуждения заставлял несчастную мать вздрагивать и снова идти туда, к нему.

Но Степан Ильич, дежуривший большую часть у гроба, опять умолял ее возвращаться.

— Я только взгляну! — покорно просила она.

И она взглядывала в потемневшее, начинавшее уже разлагаться лицо, целовала его и снова глядела, пока Павлищев ее не уводил и не укладывал спать.

В раскрытые окна салона врывалась свежая душистая ночь. Мириады звезд меланхолически

мигали с высоты темного купола, безучастные и равнодушные к этому людскому горю.

И Павлищев, с припухшими от слез и бессонницы глазами, часто подходил к окну, вдыхал этот чудный ночной воздух, полный предрассветной остроты, и мысли его становились чище и возвышеннее, и вся его прошлая, жизнь казалась ему бесцельной и преступной в эти ночи, полные какого-то жуткого одиночества, в комнате, где спал непробудным сном его сын.

Если бы в эту минуту Павлищеву сказали, что все это настроение исчезнет, как только он снова вернется в Петербург, — он, разумеется, не поверил бы. Таким он себя чувствовал обновленным, просветленным, виноватым и несчастным.

Он оставался в этой комнате, чтоб не оставить Марью Евграфовну одну с покойником, до тех пор, пока рано утром не появлялся выспавшийся, свежий и франтоватый дьячок. Тогда Степан Ильич удалялся в столовую и там засыпал в кресле, предварительно попросив дьячка немедленно себя разбудить, как только появится Марья Евграфовна.

На третий день рано утром отслужили последнюю панихиду. Когда взялись за гроб, чтоб выносить его, Марья Евграфовна словно вышла

из своего столбняка и с воплем кинулась к гробу и стала осыпать лицо покойника поцелуями. В первый раз после смерти Васи она разразилась рыданиями и слезами, и это значительно обрадовало Степана Ильича. Когда он, наконец, отвел ее от гроба, Марья Евграфовна крепко пожала руку Павлищева, и, рыдая, промолвила:

— Нет более нашего ненаглядного!

Шесть швейцарцев в траурной одежде понесли гроб на ближайшее, известное своей красотой кладбище в Кларане, городке рядом с Монтре.

Это был скорее прелестный сад, густо заросший деревьями, залитый солнцем и полный прелестных роз и всевозможных цветов. Чистенькие, усыпанные песком дорожки вились между памятниками и куртинками. Чем-то поэтическим веяло от этого уединенного уголка, и казалось, будто и покойникам здесь должно быть хорошо и уютно, среди платанов, кипарисов и роз.

Расположенное на возвышенности, над Кларан, это кладбище служило любимым местом прогулок и местных жителей, и туристов. Там было так тихо и хорошо; вид оттуда был такой восхитительный и на расстилавшееся внизу Женевское озеро, и на Савойский берег с его цепью высоких гор, у подножия которых белелись

маленькие городки.

Спустившись к верхней части Монтре, носильщики понесли гроб по верхней дороге из Монтре в Кларан, увековеченной прогулками Жан-Жака Руссо в известной рощице «bosqnet de Julie», названной в честь героини романа.

Минут через двадцать гроб внесли в ограду кладбища и поставили на краю могилы.

Короткая лития священника, дикий вопль матери — и гроб был опущен, и скоро свежая могила была вся засыпана венками из роз.

Разошлись все: батюшка, дьячок и несколько любопытных. Остались только Марья Евграфовна и Степан Ильич.

Они долго стояли еще у свежей могилы, и слезы лились из их глаз.

— Пойдемте, Марья Евграфовна! — промолвил Павлищев.

— Неужели туда, в тот дом!?..

— Нет, я уж распорядился… Все наши вещи перевезены в отель в Кларане. Мы будем ближе к нему!

Марья Евграфовна благодарно взглянула на Степана Ильича и только теперь заметила, что он постарел и осунулся, что седина бросается в глаза.

Павлищев подал ей руку, и они молча спустились в Кларан.

— А какой он был, голубчик, добрый, если б вы знали… И как в последнее время вас полюбил…

Марья Евграфовна не могла продолжать… Рыдания душили ее.

— Полно, полно… успокойтесь, мой друг, — говорил Павлищев, — и чувствовал, что слезы льются по его щекам.

Прошло две недели.

Ежедневно под вечер они ходили вместе на кладбище, клали свежие розы на могилу и просиживали там долгие часы.

Предмет разговоров был один и тот же: говорили о Васе.

Марья Евграфовна рассказывала о нем, вспоминая его раннее детство, его доброту и ум… Она припоминала разные эпизоды из его короткой жизни, перерывая эти воспоминания слезами. Но все-таки эта возможность говорить о своем Васе несколько смягчала ее горе. И Степан Ильич с благоговейным вниманием слушал безутешную мать.

Однажды, после одного из таких разговоров на кладбище, Марья Евграфовна сказала:

— И вы, ведь, его горячо любили?.. Бедный!.. Как

вы измучились… И как я вам благодарна, Степан Ильич, за все, что вы сделали для Васи и для меня в это тяжелое время.

— Что вы, Марья Евграфовна?.. Как вам не стыдно это говорить?.. Ваши слова только напоминают мне, как я виноват перед вами и Васей…

— Если вы и были виноваты, то теперь искупили все! И да пошлет вам Господь счастья!.. — взволнованно проговорила Марья Евграфовна.

Павлищев поднес ее руку к губам и только сказал:

— О, благодарю за ваши слова.

А Марья Евграфовна продолжала:

— Я знаю, вы ради покойного Васи остаетесь около меня. Но теперь я могу остаться и одна… Я пробуду здесь еще несколько времени и вернусь в Харьков, а вам надо ехать скорей в Петербург.

— Вы меня гоните? — спросил Павлищев.

В голосе его звучал испуг, и лицо его омрачилось.

— Господь с вами! Но я не хочу и не имею никакого права злоупотреблять вашей добротой. Вам нужно возвращаться! — говорила Марья Евграфовна и сама почувствовала почему-то смущение и страх.

— Вы пожелали мне счастье, Марья Евграфов-

на… Так дайте мне его! — прошептал Павлищев.

Молодая женщина подняла на него удивленный взгляд.

— Простите меня совсем, и если вы меня не презираете…

— Я никогда вас не презирала за прошлое, — перебила она.

— Так окажите мне милость, хотя бы ради погибшего нашего сына…

— Милость? Что вы говорите?

— Будьте моей женой! — прибавил чуть слышно Павлищев.

Марья Евграфовна невольно вздрогнула, до того это было неожиданно.

Несколько мгновений она сидела, вся притихшая, пораженная словами Павлищева, и, наконец, промолвила:

— Я? Вашей женой, Степан Ильич?.. Что вы? Зачем? Благодарю вас, но я такой жертвы не приму…

— Какая жертва?

— Вы ради Васи хотите жениться на мне, чтобы загладить старое… Но, видит Бог, такой жертвы не надо… Вы давно искупили вину, и я…

— Господи!.. Да разве вы не видите, что я люблю вас? Не оставляйте же меня одного в жизни…

Будьте моим ангелом-хранителем… И пусть эта могила соединит нас навсегда… Молю вас об этом…

Голос его звучал глубокою нежностью.

Марья Евграфовна чувствовала, как бьется ее сердце, и вспомнила разрешение Васи выйти замуж.

— Если можете, полюбите меня хоть немножко.

— Я не переставала любить вас, — чуть слышно проронила молодая женщина.

* * *

Через месяц Павлищев повенчался с Марьей Евграфовной в Женеве. Свадьба была самая скромная. В тот же день они вернулись в Кларан и посетили могилу Васи. Они решили ежегодно приезжать сюда, на эту могилу. Памятник был заказан, и Павлищев поручил постановку его священнику.

В конце августа они приехали в Петербург. На вокзале Павлищевых встретил Марк и объявил, что вчера подписана отставка министра. Только после сообщения этого известия, он поздравил молодых и в то же время подумал:

«Однако большой дурак оказался мой зя-

тек… Женился таки на Маше и из-за того, что разыгрывал идиллию в Швейцарии, пожалуй, министерство у него проскользнет мимо носа!»

XVII

Как только Павлищев побывал в министерстве в своем обширном кабинете и выслушал доклады, как только он целый час пробыл у министра, имея с ним долгий и интересный разговор, его сразу и совершенно незаметно для него самого снова захватила вся эта, родная ему служебная атмосфера и приняла в свои мягкие объятия. Все недавние мысли о тщете служебной карьеры и погони за отличиями, приходившие в голову Степана Ильича под впечатлением тяжелого испытания и близкой картины смерти ребенка, исчезли, точно их и не было, и честолюбивые мечты снова охватили его всего.

Он поступил честно — женился на Марье Евграфовне, и совесть его теперь совершенно спокойна. Вдобавок Марья Евграфовна нравилась ему и в будущем сулила тихую, спокойную семейную жизнь. С этой стороны женитьба не казалась ему, по крайней мере в настоящее время, великодушным порывом, за который ему впоследствии придется раскаиваться. Правда, Марья Евграфовна была далеко не светской женщиной, но во всяком случае, не из таких женщин, которых

надо прятать. Она не поставит его в смешное положение и сумеет держать себя, как следует, во всяком обществе. У нее есть врожденный такт и какая-то природная порядочность. И, наконец, не намерен же он вести открытый образ жизни… Кружок знакомых будет ограниченный… Пусть говорят, что хотят, об его женитьбе, и пусть доискиваются о причинах такого мезальянса. Самый факт женитьбы на женщине, которая была близка ему в молодости, только поднимет его в глазах лиц, требующих от государственных людей матримониальных добродетелей.

Вступив в отправление своих обязанностей, Степан Ильич снова почувствовал всю прелесть власти и нравственную удовлетворенность честолюбца, и в первый же прием, от 10 до 11, он испытывал приятное сознание своей значительности и силы, которая сказывалась и в этих просителях, наполнивших приемную, и в этом почтительно склонившемся дежурном чиновнике с заискивающим взглядом.

В эти дни, когда решался, вопрос о назначении нового министра, обязанности которого временно исполнял старший его товарищ (Павлищев был вторым), Степан Ильич переживал частые минуты волнения. Назначат ли его или не на-

значат? Слухи о его назначении уже ходили в городе и проникли в печать с весьма лестными для него комментариями. Уж к нему в министерство заезжали разные алчущие и жаждущие, уже его поздравляли многие приятели, и он в ответ только пожимал плечами и говорил, что не смеет думать о таком высоком назначении, а между тем, в глубине своей души, думал и даже говорил об этом Марье Евграфовне, возвращаясь, после целого дня, проведенного в министерстве, домой к 6–7 часам в свою старую, холостую квартиру, в которой они пока поселились в ожидании устройства нового помещения.

Марья Евграфовна, серьезная, часто грустившая и проливавшая слезы о своем Васе, приняла это известие без особенной радости. Ей было решительно все равно: будет ли ее муж министром или нет. Но чувство любви к Павлищеву, конечно, не оставляло ее безучастной к его надеждам, и она выслушивала перечисление его шансов с деликатною внимательностью любящей натуры, понимающей, как волнует Павлищева этот вопрос и как хочется ему говорить об этом хотя бы ей, скромной и совсем не честолюбивой женщине…

Павлищев, увлеченный своими надеждами, не

торопился искать новую квартиру. Быть может, придется перебраться в казенное помещение… Кто знает?..

— Подождем еще несколько дней, Маша, — говорил он взволнованно Марье Евграфовне. — Через несколько дней вопрос решится…

— Тебя очень огорчит, если тебя не назначат? — участливо спросила молодая женщина.

— Конечно, я ведь имею права… права долгой, добросовестной работы, знания дела… Правда, я не имею связей, но иногда, слава Богу, выбирают людей не за связи, не за титулы, а за способности… Наш старый министр не Бог знает какого происхождения, и не из того аристократически-служебного кружка, откуда вербуются государственные люди, а был десять, лет министром…

Марья Евграфовна невольно вспомнила о Марке…

«И Марк надеется, конечно, быть со временем министром!» подумала она, совсем не понимая этих волнений и тревог честолюбия.

Согласившись быть женой Павлищева, тронутая его поведением в последнее время и несколько удивленная вновь пробудившейся страстью к ней, искренность и сила которой бы-

ли несомненны и даже заставляли конфузиться скромную и целомудренную молодую женщину своими проявлениями, — Марья Евграфовна, умиленная, благодарная и любящая, дала себе слово беречь и лелеять этого человека и отдала ему всю свою душу безраздельно, как отдала и прежде. После смерти Васи, память о котором жила в ее сердце, Павлищев был для Марьи Евграфовны — единственный на свете человек, привязанность которого могла хоть несколько примирить ее с потерей любимого существа. По временам она просто не верила, что Павлищев снова ее любить, и ей становилось страшно: сумеет-ли она удержать эту привязанность и не заставит ли раскаяться Павлищева, что он женился на такой неблестящей женщине. Какая она жена министра?!. Не будет ли он стесняться такой женой, бывшей акушеркой?.. И она самоотверженно решила про себя тотчас же оставить его, если только заметит, что лишняя…

— Тебя, Маша, кажется, не особенно занимает, что ты можешь быть женой министра? — говорил не раз Павлищев в эти дни после того, как сообщал свои надежды Марье Евграфовне.

— Мне довольно, что я твоя жена! — ответила молодая женщина, вся смущенная. — Кто бы ты

ни был! — прибавила она.

— Ах ты, славная моя! — нежно замечал Павлищев и уходил работать в свой кабинет.

Но эти дни ему не работалось.

Он ходил по кабинету, и мысли его витали на вопросе: «Он или не он?»

В это свидание с министром, на другой день после возвращения из-за границы, старик, встретивший с какой-то особенной значительностью своего любимца, объявил ему, что он, наконец, действительно отдохнет и поправит расстроенное свое здоровье. Довольно потрудился он — пора на его место более энергичного и молодого.

— И я позволил себе указать на вас, Степан Ильич, как на преемника, как на человека энергичного, добросовестного, полного сил…

У Павлищева забилось сердце от радостного волнения, и он горячо благодарил старика за лестное о нем мнение. Он, разумеется, употребит все свои силы, чтобы оправдать доверие, если только он удостоится такой величайшей чести, о которой он не смел и мечтать…

— Я исполнил свой долг, как я его понимаю, я рекомендовал вас, а затем…

Старик не докончил и только развел руками

с почтительно-серьезным выражением своего больного, истомленного лица.

— Ну, как вы съездили за-границу. Поправились?.. Не особенно, кажется? — спрашивал старик, взглядывая на постаревшего Павлищева.

Степан Ильич откровенно рассказал ему, какими обстоятельствами была вызвана его поездка, и сообщил о своей женитьбе на Марье Евграфовне.

Бывший патрон совершенно одобрил поступок Степана Ильича и нашел его вполне корректным. Он выразил сочувствие в постигшем его горе — потере ребенка — и сказал!

— Это… это очень трогательно все… И эта ваша женитьба… Я сегодня же расскажу князю Жеребцову… Он у меня обедает.

Они расстались, и старик на прощанье еще раз обнадежил своего любимца.

Весь этот разговор вспоминал теперь Павлищев и надеялся.

Прошла неделя, прошла другая.

Павлищев начинал уже сомневаться, как в одно утро он получил записку от своего бывшего начальника.

Он пробежал записку и замер в радостном волнении, не веря своим глазам.

Через два дня во многих газетах появились

дифирамбы новому министру. Говорили о том, что он начал свою карьеру мелким чиновником, прошел все ступени службы и, следовательно, знает практически весь сложный механизм администрации, и отличается познаниями, добросовестностью и энергией. На него, по обыкновению, возлагались надежды, что он принесет пользу России не менее своего предшественника, и превозносились его молодость и энергия. Его речь, сказанная чиновникам, цитировалась, как программа истинно русского человека здравого смысла и жизни. Одна газета даже провидела новую эру.

Во всех иллюстрациях красовались портреты Степана Ильича.

И он сам вообразил себя великим государственным человеком и торопился доказать это новыми реформами в своем министерстве и являлся туда в 10 часов утра.

Деятельность закипела, и чиновники окончательно изнемогали.

Марк был назначен директором канцелярии.

XVIII

Прошел год со времени назначения Павлищева, и газеты, почти не переставая, сообщали известия о неустанной, кипучей деятельности «молодого и энергичного» министра и его ближайших помощников. Таким образом, общественное внимание невольно было обращено на этого, нежданно обретенного «феникса», каким являлся Степан Ильич Павлищев в глазах большинства добродушных читателей. Благодаря частому повторению его имени, популярность Павлищева росла. О нем говорили и в Петербурге, и в провинции, и непременно к имени его прибавляли: «молодой и энергичный».

В самом деле, как не говорить о человеке, который почти не спит и не ест, принося все свое время на алтарь отечества.

Вы, конечно, читали в «Кукушке», а если не в «Кукушке», то в других газетах, достоверный отчет о том, как распределено время у Степана Ильича Павлищева, «нашего молодого и энергичного сановника»? Вы обратили внимание на то, что его высокопревосходительство встает в семь часов утра и ложится спать в два, а то и в три,

отдыхая в течение дня лишь четверть часа после обеда, которому посвящает всего двадцать минут — не более. Все остальные часы этот неутомимый человек «бодрствует на своем ответственном посту», как живописно выразился автор статейки: «Как работают наши министры», помещенной в «Кукушке» в одном из номеров 1879 года и затем перепечатанной почти во всех газетах.

Это представлялось чем-то диковинным, особенно для захолустного читателя. Министр и вдруг… спит всего только четыре часа вместо того, чтобы отсыпаться вволю, благо никто не взыщет, если опоздает на службу. Бедные сановники! Как им тяжело! Сколько забот и какая энергия! И где это нашли такое сокровище, как Степан Ильич Павлищев!?

Нечего, конечно, и говорить, что все сообщения о кипучей деятельности в министерстве Степана Ильича и все известия о предстоящих мероприятиях и совершенных уже реформах появлялись в кратком, исключительно фактическом изложении без всяких комментариев. «Мы слышали из источников, заслуживающих доверия, что по почину С. И. Павлищева образована комиссия для всестороннего изучения вопроса о том: насколько оскудели платежные силы страны», или:

«Нам сообщают, что, по распоряжению С. И. Павлищева, командируется известный специалист, профессор такой-то, для изучения на месте нужд населения и мер к поднятию его благосостояния в связи с правильным поступлением недоимок», или «Спешим заявить, что в ведомстве, во главе коего стоит наш молодой и энергичный С. И. Павлищев, чиновникам строжайше предписано являться на службу не позже десяти часов».

Если по поводу того или другого отрадного известия печатались передовые статьи, то, разумеется, в том восторженно-ликующем тоне, в каком обыкновенно пишут добрые журналисты о деятельности своих, находящихся у дел, государственных людей, тем более, что для проявления цинических чувств благородного негодования к услугам журналиста всегда находятся иностранные министры. Их можно, не стесняясь «разделывать, под орех» и награждать какими угодно пренебрежительными эпитетами и в то же время чувствовать себя совершенно спокойно в своем кабинете. Ни от Бисмарка, ни от Андраши, ни тем более от Гладстона не явится курьер с лаконической повесткой: «явиться немедленно».

Не проходило почти дня, чтобы в газетах не появлялось заметки, напоминающей читателям

о неутомимой деятельности Степана Ильича и всех директоров департамента его ведомства. И читатель только приятно изумлялся, прочитывая то речь Степана Ильича — «твердую, полную патриотизма, речь», по замечанию «Кукушки», — то сообщение о двадцать пятой комиссии, под его председательством, то о внесенном проекте, то, наконец, телеграфные известия об экскурсиях Степана Ильича в разные города для обозрения подведомственных учреждений, и краткие речи-программы по этому поводу, в которых неизменно повторялась фраза, возбуждавшая общий восторг, что «мы русские и все у нас должно быть русское». Одним словом, читатель был всегда au courant того, что делалось в министерстве Павлищева. Им как бы исключительно занималась печать, так что наивный читатель мог бы подумать, судя по газетам, что во всех остальных министерствах чиновники бездействуют и ходят на службу лишь для того, чтобы покурить, напиться чаю и поболтать, и только в министерстве Степана Ильича кипит деятельность.

Завистники Степана Ильича — а их было, конечно, не мало — не без ехидства замечали, что Павлищев сам устраивает себе рекламы, приказывая сообщать в «Кукушку» разные достоверные

сведения.

Справедливость требует заметить, что нарекания эти были несправедливы.

Степан Ильич был настолько умен, что хорошо понимал действительное значение печати и ее похвал. Но он был «друг прессы», как он выразился однажды, выражая неудовольствие одному редактору за сообщение неверных сведений, — друг той прессы, которая «помогает, а не противодействует благим мерам и предначертаниям», и потому ничего не имел против, если пресса относилась сочувственно к его деятельности и сообщала о них верные сведения. И как ни ничтожно значение печати, а все-таки приятно читать сочувственные отзывы и похвалы газетчиков — они ведь прочтутся всей Россией и могут быть перепечатаны и за границей. Не мешают и верные сообщения о деятельности того учреждения, которым управляешь. Напротив. Гласность, умело управляемая, приносит большую пользу. Это, к сожалению, игнорируют многие люди, боящиеся печати. И, наконец, какой деятель совершенно равнодушен к общественному мнению, хотя бы оно и не имело никакого серьезного значения и могло выражаться только в известной форме?..

Так рассуждал Павлищев и, по правде сказать, очень был доволен, что газеты занимаются им и его ведомством. Правда, он иногда жаловался своим коллегам, что газеты не оставляют его в покое; но в этих жалобах чувствовалось тайное удовлетворение человека успеха, на которого обращено всеобщее внимание. Вдобавок и все сведения, появлявшиеся в печати, были почти всегда достоверными, благодаря тому, что попадали в газеты прямо из канцелярии. Новый директор, Марк, любезно сообщал все, что находил возможным, являвшемуся к нему ежедневно сотруднику «Кукушки».

Таким образом, «неверных сведений» или «преждевременных известий», столь нелюбимых общественными деятелями, быть и не могло, а если таковые и попадали изредка на столбцы газет и сопровождались не всегда уместными рассуждениями, то Марк, зорко следивший за газетами, как русскими, так и иностранными, отмечал такие статьи и докладывал о них Степану Ильичу.

Павлищев пробегал статью, презрительно щурил глаза и говорил, отбрасывая газету:- вранье и глупости!..

И добродушно прибавлял:

— Не стоит обращать внимание, Марк Евграфович.

Но Марк, отлично изучивший своего патрона и умевший играть на нем, как на клавикордах, почтительно «позволял себе заметить», что подобные статьи могут возбудить совсем превратные толки об его намерениях и действиях.

— Но газета эта не распространенная…

— Точно так, но все-таки возможно, что другие газеты перепечатают.

— Пошлите опровержение.

— Слушаю-с…

— Вам, кажется, всего этого мало, Марк Евграфыч? — смеясь, спрашивал Павлищев.

— Мне кажется, что если раз оставить без внимания такую выходку, то она может повториться.

И Марк продолжал ровным бесстрастным голосом, глядя своими большими и холодными черными глазами на Павлищева.

— Всем, ведь, известно, что вы, Степан Ильич, и все мы, под вашим руководством, действительно работаем без устали и изо всех сил стараемся сделать что-нибудь полезное… И вдруг какой-нибудь невежественный, ничему не учившийся писака…

— Они в самом деле воображают, что могут учить нас! — перебивал, несколько раздражаясь, Павлищев. — Пригласите ко мне редактора!

* * *

Популярность Степана Ильича распространялась; росла и его слава, как молодого и энергичного министра, и вместе с тем, как водится, увеличивался круг его недоброжелателей и завистников, утверждавших, что Павлищев — зазнавшийся выскочка, пускающий пыль в глаза, но пока еще ничего путного не сделавший… В чиновных кругах признавали, что он умный человек, но далеко не тот «феникс», о котором прокричали. Но главное обвинение было в том, что он имел блестящий успех. Этого простить ему не могли, как не могли простить и его уменья говорить ясно, толково и с тем убедительным, несколько наглым апломбом, который зачастую заменяет знание и импонирует малосведущих людей, и той самоуверенности, которая особенно сказывалась в отношениях с лицами высокого положения.

Успех кружит многие головы и более умные, чем голова Павлищева. Не мудрено, что и Степан Ильич, сделавший совсем необычайную карье-

ру, не избегнул этой участи. Атмосфера власти и силы, лести и угодничества, искренних и лицемерных похвал, все эти завистливые толки о нем служебных недругов и злостные пересуды «сливок» общества, еще более подчеркивающие высоту его фондов, эти газетные дифирамбы и интервью с восхищенными корреспондентами, портреты в иллюстрациях, все эти лица, внимательно и жадно слушающие его смелые речи, когда он говорил и о политической экономии, и о земледелии, и о политике, ловко умея пользоваться теми обрывками знаний, которые успевал вычитывать из книг, талантливо схватывая сущность вопроса, — все это опьяняло Степана Ильича, и он в самом деле вообразил себя крупною звездой и в некотором роде, провиденциальным человеком. Несколько действительно полезных мер, проведенных им, окончательно вскружили ему голову, и он, что называется, закусил удила и с дерзкою смелостью счастливого игрока, не знающего проигрыша, словно бы издеваясь над своими многочисленными недоброжелателями и завистниками, афишировал свою силу, импонируя некоторых из своих наиболее недоброжелательных коллег.

Рассчитывая на свое, как он выражался, «чест-

ное служение», он словно бы забывал, что, вне исключительной служебной сферы, есть сложная комбинация отношений, влияний и интриг, с которыми надо считаться и которые игнорировать нельзя. Но теперь это ему казалось возможным, и он, увлеченный своими успехами, не всегда был уступчив там, где тонкая дипломатия рекомендовала уступить. Для высших сфер общества, несколько скандализованных и его случайной карьерой, и его темным прошлым, Павлищев оставался зазнавшимся выскочкой из проходимцев, который скоро себе сломит шею, и знакомство с ним ограничивалось официальными визитами и приглашениями. «Своим» его, разумеется, не признавали и подсмеивались и над его французским языком, и над его поздним матримониальным исправлением «ошибок молодости», и над «ее высокопревосходительством из акушерок». Все эти глумления не мешали, конечно, разным представителям родов, древность которых восходила до таскания предков за бороды еще Ярославом, выпрашивать у Павлищева разных подачек, а представительницам — ездить к нему в министерскую приемную за местами для сыновей и братьев.

Не пользовался Павлищев расположением и

в бюрократических чиновных кругах и среди коллег. Он, подчас, слишком нагло и резко давал им чувствовать свое превосходство, а некоторых из них третировал, как мальчишек. Это тем более раздражало еще потому, что большинство из них втайне сознавало, что этот внезапно выскочивший в люди «нахал» — еще не так давно мелкий чиновник в захолустном городишке — во всяком случае выдается среди них, — и талантливостью, и бойким умом, и красноречием, и знаниями, и энергией, и самолюбивым задором сделать что-нибудь. Каков бы ни был Павлищев., шарлатан, как многие его считали, или нет, как бы ни поверхностны были у него знания, но у него они все-таки были, была какая-нибудь программа действий, известные идеи, которые он защищал. И он действительно казался «орлом».

Марк, не особенно высоко ценивший своего патрона, называл его про себя иронически: «жар-птицей» и не даром распространял через «Кукушку» его славу. Он внимательно изучал Павлищева в его новом положении, стараясь быть «серой эминенцией» кардинала Ришелье и рассчитывая воспользоваться им для собственной карьеры.

Она ему улыбалась и ему не приходилось

жаловаться на непризнание талантов. Его действительно неустанная работа и выдающиеся способности умелого человека, готового работать в каком угодно духе и направлении, не остались не вознагражденными. Он — действительный статский советник, директор канцелярии министра и получает десять тысяч в год. Это, во всяком случае, недурно для купеческого сына, брошенного на произвол судьбы, для несчастного бедняка, без знакомства и без связей, пробившего горбом себе дорогу…

Но это только ступень той лестницы, к верхушке которой он стремился, с каким-то спокойным упрямством маниака, снедаемого жаждой власти и честолюбия… К чему? Зачем? Об этом он пока не думал, он, любивший размышлять о всевозможных предметах и находивший какое-то наслаждение в самых безотрадных выводах, которых не боялся и которыми, напротив, словно бы гордился, как бы они ни были циничны и смелы… Его, скептика-нелюдима, озлобленного в ранней молодости, умственно-развращенного и в то же время сильной натуры человека, интересовал, главным образом процесс достижения поставленной им цели.

Отчего ж, в самом деле, и ему, такому умному

и образованному человеку, свободному от тех предрассудков, которые еще стесняют массу людей, считающих себя умными, — не пользоваться властью и силой и не достигнуть того положения, какого достигают люди, не имеющие, по его мнению, на то никаких прав?..

Чем же он хуже людей, портреты которых, однако, украшают иллюстрации?..

И если Павлищев оказался «жар-птицей», то каким «гением» будет он, Марк Борщов!!

Такие мысли не раз приходили в голову Марка и, вероятно, не одному Марку, а многим молодым и смелым интеллигентным бесшабашным проходимцам того отдаленного времени, которые были без всяких предрассудков и, наблюдая блестящие примеры торжества беспринципности и бесстыдства, мечтали о том же, о чем мечтал и Марк.

И Марк почти не сомневался, что мечты его сбудутся; лишь бы представился случай, а уж он им воспользуется и «съест» хоть самого своего патрона, если будет нужно.

На то и щука в море, чтоб карась не дремал!

* * *

В этом обширном министерском кабинете, несколько мрачном от темных обоев и от тем-

ной обивки мебели, за громадным письменным столом, стоявшим посредине комнаты, вместо «старого и ловкого старика», как называли прежнего министра, сидел «молодой и энергичный» Степан Ильич Павлищев и, попыхивая душистым дымком сигары, весело просматривал список просителей, только-что поданный молодым, дежурным чиновником.

Он был не в обычном своем вестоне, в каком являлся обыкновенно в министерство, а в вицмундире с двумя звездами на груди и Владимиром 2-й степени на шее.

Сегодня был приемный день.

Степан Ильич несколько постарел и пополнел за последний год. Виски его коротко остриженных волос сильно заседели, и на голове и в остриженной бородке виднелись серебристые волосы. Слегка выдавалось и брюшко. Тем не менее, он все-таки глядел представительным молодцом, с блестящими живыми глазами, несмотря на то, что спал, если только верить «Кукушке», всего четыре часа в сутки. В его манерах и движениях прибавилось самоуверенности и апломба, и в глазах появилась та несколько наглая определенность и настойчивость взгляда, которые бывают у людей, избалованных быстрыми успехами.

— Попросите редактора сюда, в кабинет! — проговорил Павлищев, откладывая список и взглядывая на безукоризненные ногти.

Голос его оставался по прежнему мягким и сочным, но в нем уже звучали повелительные нотки властного лица, не охотно выслушивающего возражения.

Чиновник бесшумно исчез за дверьми, не осмелившись, как собирался, доложить, что княгиня Оболдуй-Тараканова находится в числе просителей. Но Степан Ильич и сам это знал и все-таки первым велел просить к себе редактора газеты, в которой были помещены неверные сведения и передовая статья, которую его высокопревосходительство презрительно назвал: «враньем и глупостями».

Привычным движением холеной руки, на безыменном пальце которой блистало обручальное кольцо, а на мизинце была крупная бирюза, он поправил крест на шее и принял строгий и серьезный вид человека, собирающегося, сделать внушение, причем в глазах его явилась та юпитеровская застланность взгляда, которая отличает русских чиновников от иностранных.

Через минуту в кабинет вошел редактор во фраке, взволнованный и несколько бледный. Вся

его худощавая, бледнолицая фигура, с длинными волосами, представляла собою олицетворение недоумения и испуга.

И Павлищев, ожидавший увидать строптивого газетчика, осмеливающегося в некотором роде «потрясать основы», которого следовало припугнуть, — при виде этой жалкой и испуганной «прессы», внезапно повеселел и, поднимаясь с кресла, проговорил скорее добродушно-ворчливым, чем строгим тоном;

— Что это вы печатаете у себя в газете?.. Откуда вы получаете такие ложные сведения?

И Степан Ильич взял со стола нумер газеты и указал на статью, отмеченную красным карандашом.

— Мне были доставлены эти сведения одним из репортеров, ваше высокопревосходительство, и я никак не предполагал…

— Охотно готов верить, что вы не предполагали ложности известия… охотно готов верить, — перебил Павлищев, вполне обезоруженный и почтительным видом, и почтительным тоном представителя «прессы». — Но эта статья… Признаюсь, меня крайне удивило, что редактор такой почтенной газеты и печатает такие вздорные статьи…

Редактор «почтенной газеты», которой Павлищев никогда не читал, проглотил этот комплимент, лично к нему относящийся. Эту «вздорную» статью писал он сам.

— Я, вы знаете, не враг прессы и очень ценю ее, — продолжал Павлищев, — и конечно охотно готов читать всякие благожелательные замечания… Но этот тон… Это невежественное отношение какого-то писаки (редактор поморщился) к проекту, над которым работали люди, надеюсь, кое-что знающие и не глупее вашего сотрудника… вот что возмутительно, и вот на что я хотел обратить ваше внимание… Если хотите верных сведений, если хотите разъяснений — милости просим… У меня секретов нет, и вам дадут всякие сведения и всякие разъяснения…

Редактор счел долгом поблагодарить за такую любезность.

А Степан Ильич между тем продолжал:

— Вы, господа, должны помогать нам, а не противодействовать… А то, согласитесь, мы работаем на благо отечества, а печать…

Степан Ильич в эту минуту вспомнил, что в приемной в числе просителей его дожидаются два генерала и княгиня Оболдуй-Тараканова, и, вполне уверенный, что редактор вполне проник-

ся его доводами, круто оборвал:

— Пожалуйста, исправьте вашу ошибку. Оговорите, чти вы были введены в заблуждение неверными сведениями и впредь будьте осторожнее… И — повторяю — если вам нужны разъяснения, милости просим… Мой директор канцелярии всегда их даст… Имею честь кланяться! Помните, я друг прессы…

С этими словами Степан Ильич протянул руку редактору, и, когда тот, довольный, что отделался сравнительно так дешево от «друга прессы», вышел за двери, — Павлищев показался в приемной.

XIX

Два старенькие, видимо несколько взволнованные, штатские генерала в шитых мундирах, стоявшие рядом и первыми в числе просителей, наполнявших большую приемную, при появлении Павлищева, невольно подтянулись и приосанились, словно бы и сами хотели, не смотря на преклонные годы, казаться «молодыми и энергичными», и замерли в служебно-почтительных позах, с красными, неестественно серьезными и в то же время преданными начальству лицами.

Бедные старички! Их обоих вызвали в Петербург телеграммами («по делам службы») из губерний, в которых они занимали, и довольно долго, видные места, и они решительно не знали, для чего их вызвали: для того ли, чтобы похвалить за усердную службу и предложить повышение, или, напротив, для того, чтоб найти их негодными и посоветовать выйти в отставку. Кто это знает!?

Прежде, когда нравы чиновников были, так сказать, более патриархальны, всегда можно было вперед узнать в канцелярии о настоящей причине вызова и явиться к министру уже приго-

товленным к тому или другому сюрпризу. И они, не имея ясного представления о новом директоре канцелярии, — для другой же день, по приезде в Петербург, явились к Марку в канцелярию узнать в чем дело. Но Марк, хотя и принял их любезно, однако нисколько их не успокоил, объявив, что не имеет чести быть посвященным в намерения господина министра и в данном случае исполнил лишь его распоряжение.

Так генералы и ушли, по прежнему удрученные, в полной неизвестности об ожидающей их судьбе и окладе содержания. хотя, разумеется, Марк и отлично знал, что вызвали их для того, чтобы «сплавить» и позолотить горькую пилюлю личным объяснением о более или менее приличном устройстве их будущего положения.

Они были не ко двору, эти почтенные чиновники: и недостаточно «молоды и энергичны», и — главное — просто себе служили и делали, по мере сил, свое дело, а не умели, как более сообразительные их товарищи, шуметь, подавать записки о местных реформах, изучать на месте вопросы, составлять статистические данные, словом — быть на высоте положения того учреждения, в котором, при новом министре, все чиновники обязаны были почти не есть, не пить

и не спать, а работать исключительно для блага отечества. А эти старички — да простит им Господь Бог — отсидев в присутствии узаконенное время и свершив все дела, какие можно было свершить, — шли домой и, отдохнув после обеда, любили, грешным делом, повинтить вечерком, о чем ездивший молодой ревизор и довел до сведения начальства.

Приветливая улыбка на лице Степана. Ильича, направившегося прямо к старикам, и крепкое пожатие их рук наставили генералов радостно просиять и почувствовать надежду на сохранение мест. Его высокопревосходительство очень рад их видеть… Давно они приехали?.. Третьего дня?..

— Милости просим ко мне завтра в девять часов утра, а сегодня мне некогда с вами побеседовать, как следует… И, пожалуйста, не в мундирах, а просто в сюртуках, — любезно прибавил Павлищев, раскланиваясь и снова пожимая руки по. очереди обоим генералам…

И Степан Ильич, минуя других просителей, направился к княгине Оболдуй-Тараканової, пожилой, полной и видной даме, стоявшей в другом конце приемной.

— Извините, княгиня, что заставляю вас до-

жидаться. Вы видите, — и он указал движением головы на просителей. — Позвольте покончить с приемом и тогда я к вашим услугам у себя в кабинете.

— В качестве просительницы я ведь вполне завишу от вашего доброго желания и от вашего времени, господин министр! — промолвила почему-то по-французски полная княгиня с любезно-покорной улыбкой и опустилась в кресло, едва сдерживая свое негодование.

Еще бы! Он заставляет дожидаться у себя в приемной наравне с разными просителями ее, княгиню Оболдуй-Тараканову, вдову министра, женщину, занимавшую очень видное положение в высшем обществе. Признаться, она не ожидала, что ей придется вынести столько «унижения», когда она ехала, скрепя сердце, сюда, по просьбе племянника князя Бориса, чтобы просить содействия Павлищева в выдаче ста пятидесяти тысяч для поправления его запущенных имений… Она вполне была уверена, что Павлищев примет ее немедленно у себя в кабинете… И вместо того еще ждать!! Какого-то редактора принял раньше, к каким-то старым «чинушам» к первым подошел и только тогда обратил свое милостивое внимание на нее. О, она расскажет об этом всем…

Непременно расскажет… Пусть знают, как нагло обходится он с порядочными людьми… Он, разумеется, нарочно хотел унизить ее, княгиню Оболдуй-Тараканову, чтоб показать, как он относится к людям высокого положения… О, она постарается представить Павлищева в надлежащем освещении, как только дело Бориса будет устроено!.. Павлищев, разумеется, не посмеет отказать в своем содействии, раз она просит… Он должен знать ее связи, ее короткое знакомство с влиятельными лицами…

Тем временем Степан Ильич обходил просителей. Он отбирал разные прошения и записки и передавал их сопровождавшему молодому дежурному, обещая рассмотреть; задавал короткие вопросы и, выслушав ответы, шел далее.

— Вы зачем? — удивленно воскликнул Павлищев при виде того самого Бугаева, который несколько лет тому назад явился просителем, как пострадавший за «патриотический образ мыслей» и напомнил Павлищеву о существовании Марьи Евграфовны.

Теперь Бугаев, умудренный опытом и благополучно служивший в Сибири, далеко не имел прежнего своего обтрепанного и голодного вида человека, пострадавшего за свой патриотиче-

ский образ мыслей. Напротив, он раздобрел, стал круглее и глаже, и в своем новеньком мундире, с трехуголкой в руках, гладко причесанный, с подстриженной бородкой, совсем не напоминал прежнего искателя места в потертом фраке. Хотя в лице и во всей фигуре Бугаева по-прежнему чувствовался волк, но волк сытый, а не голодный, которому в сибирских палестинах служить было привольно.

— Вы, кажется, служите в Сибири? Отчего вы здесь? — спрашивал Павлищев когда-то бывшего своего сослуживца, и знакомого, принимая внушительно строгий вид недосягаемого Юпитера.

Присутствие этого «наглеца» в Петербурге было неприятно Степану Ильичу. Того и гляди, он осмелится явиться к Марье Евграфовне, как к бывшей своей хорошей знакомой.

С напускной аффектацией служебной восторженности чиновника, имевшего счастье говорить с министром, и глядя на него в упор замирающим в почтительном трепете взглядом своих наглых глаз, — Бугаев объяснил, что назначенный по распоряжению его высокопревосходительства, в бытность его директором департамента, в Тобольскую губернию, он шесть лет занимает вверенный ему пост.

— В настоящее время я приехал в отпуск и осмелился явиться к вашему высокопревосходительству, чтобы представить записку о положении края, долгое знакомство с которым дало мне смелость повергнуть на усмотрение начальства свой слабый труд и почтительнейше просить ваше высокопревосходительство почтить своим милостивым вниманием мою шестилетнюю усердную службу, засвидетельствованную непосредственным начальством. Обремененный большим семейством и получая скудное жалованье…

— Передайте вашу записку директору канцелярии. Ее рассмотрят, — нетерпеливо перебил Павлищев Бугаева, вид которого, льстивый, приниженный и в то же время наглый, возбуждал в министре не особенно приятные воспоминания прежнего знакомства и невольное чувство какой-то боязни такого нахала. — А о вашей службе я прикажу навести справки и… мы посмотрим! — прибавил он обнадеживающим тоном, переходя к следующему просителю.

Наконец прием окончен. Большая приемная опустела. Только княгиня Оболдуй-Тараканова сидела в кресле, и сдержанная презрительная улыбка скользила на ее губах.

— Теперь я в полном вашем распоряжении, княгиня, — проговорил Павлищев, подходя к княгине и почтительно наклоняя голову. — Не угодно ли пожаловать в кабинет?

И, пропустив княгиню в двери, Степан Ильич придвинул ей кресло и, усевшись к столу, с особенною., несколько аффектированною, любезностью спросил:

— Чем могу служить вам, княгиня?

Несмотря на эту усиленную любезность, в тоне голоса Павлищева и в его самоуверенной улыбке чувствовалось внутреннее торжество. Он знал, как относились к нему в высшем обществе, знал, как презрительно отзывалась о нем княгиня Оболдуй-Тараканова, ни разу не пригласившая его на свои знаменитые рауты; знал, как старались ее друзья «подложить ему свинью» еще недавно, и испытывал теперь злорадное чувство, не лишенное приятности, при виде этой надменной княгини у себя в кабинете в качестве просительницы, и старался удвоить свою любезность.

Чуть-чуть склонив на бок голову и приняв необыкновенно серьезное выражение, Павлищев смотрел на княгиню пристальным взглядом, внимательно и терпеливо выслушивая дело ее

племянника, князя Бориса, сущность которого он отлично знал раньше. И когда княгиня, покончив с исторической стороной вопроса, с несколько вызывающей уверенностью в тоне голоса и во взгляде слегка прищуренных, красивых глаз, выразила надежду, что господин министр, конечно, не откажет помочь своим содействием делу, в котором принимают участие такие-то лица (и княгиня, внезапно принимая серьезное почтительное выражение, перечислила имена нескольких высокопоставленных особ), то самым этим приготовила себе окончательное поражение.

Как видно, княгиня плоха была в психологии, рассчитывая напугать опьяненного успехами «молодого и энергичного» министра. Ее вызывающие слова, похожие скорей на приказание, чем на просьбу, только усилили в Павлищеве доблестные чувства защитника государственных интересов и в то же время возбудили в нем желание зазнавшегося человека оборвать княгиню и показать ей, что для него ничего не значат перечисленные имена.

И он проговорил с едва заметною и насмешливою улыбкой в глазах:

— Дело вашего племянника зависит, главным

образом, не от меня, а от министра финансов… И так как в этом деле принимают участие такие влиятельные лица, то, следовательно, вам нечего сомневаться в успехе, княгиня, если министр финансов готов помочь вашему племяннику…

— Но спросят и вашего мнения, Степан Ильич! Вы не откажете дать его в пользу выдачи вспомоществования для поправления разоренного имения старинного рода?.. — уже просила княгиня, сломив свою гордость и чувствуя в тоне Павлищева что-то враждебное.

— Извините, княгиня. Я буду против такой выдачи! — резко и властно проговорил Степан Ильич.

— Но почему? — упавшим голосом спросила княгиня, изумленная в то же время такою смелостью.

— Потому, княгиня, что считаю безрассудным, скажу даже, преступным, давать из казны крупные суммы на поддержку разоренных имений. Деньги эти я считаю брошенными. Имения все-таки не поправятся, а деньги будут истрачены. А у нас, княгиня, есть много более существенных и истинно государственных нужд, на удовлетворение которых мы не находим средств! — горячо прибавил Павлищев.

— Я и не подозревала, господин министр, встретить в вас такого озлобленного врага дворянства и жалею, что приехала беспокоить вас и имела терпение просидеть так долго в вашей приемной… Надеюсь, что дело племянника устроится и без вашего содействия! — прибавила княгиня с презрительной усмешкой.

И с этими словами, полная негодования к оскорбившему ее таким резким отказом, поднялась с дивана и вышла из кабинета, едва кивнув головой в ответ на почтительный поклон Павлищева.

Через несколько дней в известных кружках уже циркулировали слухи о возмутительной наглости Павлищева. Передавали, будто бы он заставил почтенную княгиню Оболдуй-Тараканову целый час дожидаться в приемной, был с нею груб и позволил себе отзываться о высокопоставленных лицах и о дворянстве с дерзостью, по истине, изумительной в человеке, занимающем такой ответственный пост.

Слухи эти разрастались и проникли в публику уже в совершенно неправдоподобных вариантах.

Когда на докладе Марка, вскоре после приема княгини, Степан Ильич, между прочим, сообщил

своему директору канцелярии о просьбе, которую он отклонил, и сказал, что в случае запроса, он сам напишет ответ, — Марк мысленно обозвал своего патрона «дураком» и почтительно доложил:

— Как бы эта княгиня не наделала хлопот вашему высокопревосходительству!

— И вы ныне проповедуете осторожность, Марк Евграфович? — насмешливо спросил Павлищев.

— Она иногда бывает полезна, Степан Ильич.

— Только не в данном случае… Тут она и бесполезна и нелепа. И я их не боюсь!.. — весело и задорно проговорил Павлищев и стал подписывать бумаги.

«И напрасно!» — подумал Марк, бросая на патрона иронический взгляд.

— Кажется, все! — вымолвил Павлищев, подавая Марку бумаги… — Да, чуть, было, не забыл… Сегодня Бугаев являлся. Представлял какую-то записку… Я его направил к вам… Прочтите.

— Слушаю-с.

— Он просит о повышении… Поговорите с ним… Он не глупая каналья и в ежовых руках может быть полезный чиновник… Конечно, только нельзя ему давать волю, а то опять пострадает за свой «патриотический образ мыслей», — рассме-

ялся Степан Ильич. — Если он порядочно служит, можно дать ему движение по службе, конечно, там, в Сибири… И пусть убирается отсюда…

— Я ему посоветую.

— И чем скорее, тем лучше… Так вы думаете, Марк Евграфович, что княгиня нам наделает хлопот?

— У нее, говорят, большие связи…

— И черт с ней! Не стану же я, в самом деле, помогать ее племяннику получить казенные деньги на устройство фестивалей. Дай одному, тогда полезут все эти обнищавшие потомки Рюриковичей и Гедиминовичей… Покажи им только дорогу к казенному сундуку!..

Марк вышел из кабинета Павлищева несколько озабоченный.

Положительно этот «жар-птица» вообразил себе, что он несменяем… История с княгиней Марку не понравилась. По его мнению, Павлищев не должен был отказывать в своем содействии и им купить благосклонность княгини… Она, ведь, не «кто-нибудь», а умная, злая баба, имеющая связи.

И вообще весь этот вызывающий образ действий Павлищева казался спокойному и трезвому Марку «глупым мальчишеством влюбленного в себя Нарциса». Того и гляди, он сломит себе шею!

И Марк злился на недальновидность и дурацкую заносчивость своего патрона, которые могли помешать и его карьере, и стал серьезно подумывать о том, чтобы крах Павлищева не застал и его врасплох.

Павлищев между тем торжествовал.

Несмотря на пущенные в ход связи, несмотря на участие разных влиятельных лиц, просьба князя Бориса, благодаря представленной обстоятельной записке Павлищева, провалилась.

В тот день, когда Павлищев узнал об этом, он вернулся домой необыкновенно веселый, и, обнимая, по обыкновению, Марью Евграфовну, проговорил:

— Ну, Маша… поздравь меня с победой…

И он рассказал ей, в чем заключалось значение победы.

— Все было пущено против меня… Не гнушались ничем и… остались с носом!

Марья Евграфовна довольна была радости Степана Ильича, хотя и не вполне понимала, отчего он так радуется. Вся эта прелесть власти, влияния и силы, заставлявшая Павлищева волноваться и радоваться, была совсем чужда ей, и она оставалась все тою же скромною и любящею женщиной, какой и была, и несколько тяготи-

лась тем положением, в которое так неожиданно поставила ее судьба, и признаться, сперва скучала в этих больших парадных комнатах, не зная, куда девать свое время, пока не отдалась всей душой приюту покинутых детей, бывшему под ее попечительством.

— Зато и будут же ругать они меня теперь, Маша! — весело говорил Павлищев, садясь за стол.

— А это не повредит тебе?..

— Как видишь…

— Не слишком ли ты надеешься на себя? — осторожно спросила Марья Евграфовна.

— Уж не Марк ли тебе говорил об этом, Маша?..

— Да, Марк… Он боится за твое положение…

— А, главное, за свое! — рассмеялся Степан Ильич. — А ты ему не верь, моя милая, и ничего не бойся…

— Да я разве за себя боюсь?..

— Знаю, знаю, что не за себя…

И Степан Ильич радостно и благодарно взглянул на свою свежую, моложавую, к лицу одетую жену.

XX

Несмотря на видимое торжество Павлищева, Марк продолжал беспокоиться о будущей своей карьере и находил положение свое очень не прочным. Все эти «победы» своего патрона он считал победами Пирра и только дивился, как не понимает этого Павлищев и только дразнит гусей. Не из гражданской же, в самом деле, доблести и не из принципа он написал эту резкую записку о бесполезности для государства помогать казенными деньгами крупному землевладению, — не находил же он странным, когда прежде производились такие же выдачи и дали миллион банку, в котором орудовал Иволгин. Просто Павлищев куражится, как счастливый игрок, не понимая, что сам роет себе яму, и тешит свое самолюбие, желая подчеркнуть свою силу.

Точно ему, в самом деле, не все равно, если б племяннику княгини Оболдуй-Тараканової выдали 150,000. Не его же деньги! И будь Павлищев умнее и дальновиднее, он не только бы не писал этой «несвоевременной» записки, но, напротив, дал бы полное согласие на такие воспособления, хотя бы пришлось выкинуть и не один миллион…

Решительно, Павлищев оказался далеко не на высоте своего положения. У него на ней закружилась голова, и ему несдобровать!

Так нередко в последнее время размышлял Марк и несколько раз пытался в деликатной форме вразумить своего патрона, но куда! Павлищев никого не слушал. Он бросал на Марка насмешливый взгляд, точно говоривший, что его высокопревосходительство отлично понимает истинную причину предостережений своего директора канцелярии, и обрывал его, восклицая с какою то торжествующею самоуверенностью:

— Ничего *они* не могут сделать. Я еще не то покажу этим интриганам!

И нередко прибавлял:

— Кажется, Марк Евграфыч, вы умный человек и не из робких, а трусите каких-то Оболдуй-Тараканових… И напрасно вы так заботитесь о моем положении… Ведь вы, Марк Евграфыч, во всяком случае, и при всяком министре будете незаменимым человеком! — иронически подчеркивал Павлищев.

Поневоле приходилось умолкать перед этим «упрямым Нарцисом», вообразившим себя несокрушимою силою и растерявшем тот умишко, какой у него был.

Но такое мысленное определение своего патрона мало утешало Марка. Для него не было ни малейшего сомнения в том, что он, Марк, как директор канцелярии и, так сказать, ближайший проводник взглядов и политики своего начальства, первый полетит с места, если Павлищев неожиданно почувствует здоровье свое расстроенным. Ведь новые начальники всегда на такие места берут своих людей, чтобы удобнее, было проводить новую политику и ею подчеркнуть бесполезность или неблагонамеренность старой. На других, не столь «политических» местах еще есть возможность уцелеть при министерском кризисе, а уж директор канцелярии…

И Марк задумал теперь же оставить эту должность и перейти на другую, не столь опасную.

Но раньше, чем сделать решительные шаги в этом направлении, осторожный Марк хотел проверить свои опасения на счет положения Павлищева и с этою целью отправился в одно утро к его предместнику, тому самому «умному и ловкому» старику, при котором он долгое время был чиновником особых поручений и неизменно пользовался его благосклонностью. Марк изредка навещал его и терпеливо просиживал полчаса, выслушивая саркастические замечания

прежнего министра на счет бывшего своего любимца. Теперь прежний министр питал далеко не дружелюбные чувства к Павлищеву, и меланхолически-ядовитые рассуждения о людской неблагодарности и «змеях, отогретых на груди» были любимой его темой.

Марк являлся приятным исключением, и старик с ласковою приветливостью пожал руку молодому человеку, который не забывал оказывать почтение бывшему своему начальнику, сразу всеми забытому с тех пор, как оставил свой пост. Даже и Павлищев, обязанный ему своей блестящей карьерой, и тот все реже и реже заглядывал к нему и в последнее время встречался только на заседаниях совета. Но еще более раздражали старика, возбуждая в нем чувство злобы и зависти к бывшему своему птенцу, слава, популярность и сила Павлищева и все эти реформы, словно бы подчеркивавшие, что при старике все делалось не так, как следовало. Не было для него секретом и то, что Степан Ильич отзывался о нем с снисходительным пренебрежением, как о старике, пережившем свою славу, и даже пытался набросить тень на его бескорыстие.

— Очень рад вас видеть, Марк Евграфович, очень рад… Спасибо, что не забываете стари-

ка, это — ведь, такая редкость… Ну, садитесь, рассказывайте, как это вы со своим министром удивляете весь мир? — с иронической улыбкой на своем покрытом морщинами лице говорил высокий, худощавый старик с умными и лукавыми небольшими глазами, указывая Марку на кресло у письменного стола. — Вот только-что прочел, как вашего министра славословит какой-то отечественный корреспондент, — брезгливо поморщился старик и прибавил:- Я вот корреспондентов газетных при себе не имел.

Он пустил душистую струйку дыма хорошей сигары и продолжал:

— Все еще шумите и никого не боитесь?

— Шумим, ваше высокопревосходительство, и никого не боимся! — ответил Марк, улыбаясь и как бы давая понять этой улыбкой, что и он осуждает Павлищева.

— И сломите себе шею, верьте мне… Павлищев слишком зарвался и доходит до неприличия… Вот хоть эта последняя его записка, в которой он изволит критиковать всю прежнюю мою систему… Он забыл, что, бывши моим товарищем, сам ее проводил и находил превосходной… Какое бесстыдство!

— Об этой записке я ему докладывал… Говорил,

что она невозможна, — поспешил сказать Марк, бывший ее автором.

— И что же?..

— По обыкновению, на мое представление не обратили внимания.

— Еще бы! Мы, ведь, необыкновенно умны и ничьих советов не слушаем… никто ничего не понимает… Только один он! — говорил, все более и более раздражаясь, старик.

— Есть грешок, ваше высокопревосходительство.

— И как подумаешь, Павлищев — моя ошибка. Я его создал и теперь сожалею об этом! — совершенно неожиданно воскликнул старик. — Но я, ведь, никак не ожидал, — что из него выйдет такой… Вы извините, молодой человек, что я так говорю о вашем родственнике…

— Я вполне разделяю мнение вашего высокопревосходительства и далеко не поклонник Степана Ильича… Однако, положение его, кажется, прочно, и он не думает, что сломит себе шею…

— Сломит!.. Ему уже не долго! — прибавил старик с серьезным и несколько таинственным видом авгура, кое-что знающего.

— И уже намечен преемник? — выспрашивал

Марк.

— Кандидаты всегда есть, мой милый!..

И он назвал, под величайшим секретом, три имени, в числе которых, к удивлению Марка, был и знакомый читателю Аркадий Николаевич Иволгин, известный всему Петербургу делец, городской деятель, оратор и говорун и, вообще, умный, ловкий и обходительный человек, умеющий очаровывать людей или, как вульгарно выражались коротко знавшие Иволгина люди, «влезать в душу без мыла».

Марк еще с четверть часа слушал язвительные речи оскорбленного старика и, наконец, откланялся с твердым решением действовать немедленно.

И в тот же день в министерстве он завел интимный разговор с одним из директоров департамента, молодым карьеристом, пользовавшимся расположением Павлищева и изнывавшим в усердии, — о том, что ему, Марку, надоела его должность. Положим, место директора канцелярии видное и обещает быструю карьеру, особенно при таком министре, как Степан Ильич, но он, признаться, устал… Ему бы хотелось более покойной должности…

— В роде вашей! — прибавил Марк.

— А я был бы счастлив занять вашу…

Марк обещал позондировать почву.

На следующий же день он просил Павлищева о перемещении, ссылаясь на усталость.

— Переутомились, бедный Марк Евграфыч?

— Немножко, Степан Ильич.

Павлищев как-то особенно пристально посмотрел на Марка и тотчас же согласился.

— Только как бы вы не прогадали, милейший Марк Евграфыч? — прибавил он с насмешливою ноткой в голосе.

— Я надеюсь и на новой должности заслужить ваше одобрение.

— О, в этом нет сомнения. Вы знаете, я в вас умею ценить талантливого и усердного помощника… Но все-таки, мне кажется, что ваше положение директора канцелярии нас более сближало… Впрочем, это ваше дело! — прибавил Павлищев и снова насмешливо прищурил глаза.

Марк почтительным безмолвным поклоном поблагодарил Павлищева и вышел из кабинета, вполне уверенный, что не прогадает.

А Павлищев решил теперь «держать в черном теле эту неблагодарную каналью».

Когда состоялся приказ, все в министерстве были уверены, что Марк попал в немилость

к министру, у которого до сих пор был в большом доверии. И Марк не только не опровергал этого мнения, а напротив, под рукою сам его распространял и еще реже, чем прежде, бывал у Павлищева в доме и словно бы избегал его, навещая сестру в то время, когда мужа не было дома.

Он поспешил сообщить «старику» о том, что оставил место директора канцелярии в виду нежелания быть непосредственным исполнителем всех «капризов» Павлищева и писать разные записки, которые он считал «невозможными».

Старик вполне одобрил Марка и предлагал даже перейти в другое ведомство. Он охотно будет рекомендовать такого способного и усердного чиновника своему приятелю-министру.

Однако, Марк отклонил предложение. Он так свыкся с ведомством, в котором служить…

И горячо поблагодарив старика, Марк сказал, что он позволит себе воспользоваться милостивым предложением только в том случае, если уж окажется сверх сил служить с этим «невозможным» человеком.

— Недолго… недолго ему прыгать… Какой-нибудь козырь в руки… Беспорядки, упущения… взятки какого-нибудь местного чиновника… и все это раздуют его враги… Он, ведь, всех восста-

новил против себя…

— За такими козырями дело не станет, ваше высокопревосходительство! — как-то загадочно протянул Марк.

XXI

Один из административных «птенцов» Степана Ильича, молодой человек, подающий большие надежды, посланный в 1879 году в Сибирь с напутствием: произвести строгую ревизию, не утаивая ни малейшего злоупотребления или нерадения, — добросовестно исполнил возложенное на него поручение и, возвратившись в Петербург, представил министру подробную и действительно откровенную записку.

Его высокопревосходительство только ахнул, когда в тот же день на сон грядущий прочитал ее. Много оказалось и упущений и злоупотреблений, но, так сказать, «героем» описания был знакомый нам Бугаев. Почти половина доклада была посвящена изложению длиннейшего ряда вопиющих злоупотреблений и самых наглых вымогательств, которые он творил в течение многих лет и которые были обнаружены и документально подкреплены, благодаря усердию молодого человека, подающего надежды. Это было что-то невероятно наглое даже для человека, уже пострадавшего за «слишком патриотический образ мыслей». Все в том месте знали о подвигах

Бугаева, но боялись жаловаться, уверенные, что он пользуется особенным расположением Павлищева, и, разумеется, Бугаев сам поддерживал такое мнение.

И все это творилось в его образцовом ведомстве!? И вдобавок чиновником, недавно получившим повышение по его же распоряжению?

«Под суд мерзавца!» — было первою мыслью возмущенного Павлищева. — «Пусть его покарает закон, как он того заслуживает!»

Но когда прошел первый порыв возмущения, соображения об огласке, неминуемой при суде, причем невольно должны будут обнаружиться вопиющие злоупотребления, которые затем будут вынесены «на улицу» и подхвачены газетами, — эти соображения заставили Павлищева призадуматься и в конце-концов решить замять дело.

На другой же день он призвал «молодого человека, подающего надежды» и, поблагодарив его за блестяще исполненное поручение, сказал, что Бугаев и другие будут немедленно уволены, но что предавать, как бы следовало, их суду не стоит, чтоб из-за нескольких негодяев не компрометировать всего ведомства.

— И вы, пожалуйста, будьте скромны и не бол-

тайте об этом никому… а то, того и гляди, все это как-нибудь в газеты… А ведь они рады случаю.

«Молодой человек», конечно, поклялся, что будет нем, как рыба. Бугаева и других по телеграмме уволили со службы, и вся эта история была погребена в канцелярских тайниках, как вдруг, месяца через три, совершенно неожиданно в «Настоящем Патриоте» появилось подробное, почти дословное изложение доклада о Бугаевских подвигах с ехидным комментарием в конце о том, что «г. Бугаев, как мы слышали, пользовался особым расположением своего высшего начальства».

Почти все газеты перепечатали это известие.

Павлищев был взбешен и искал автора. «Молодой человек, подающий надежды» клялся, что он ничего никому не говорил. Новый директор канцелярии докладывал, что он никому записки не давал. Она хранилась у него под ключом в числе секретных дел.

— Но как же она появилась… Кто-нибудь выкрал ее?.. Отыскать негодяя…

Увы! «негодяй» так и не был отыскан, а им был маленький писец, с удовольствием исполнивший поручение Марка достать ему эту записку на один день и за это переведенный к нему в

департамент помощником столоначальника.

О Бугаевской истории заговорили. Ее раздували. Многочисленные враги Павлищева с злорадством повторяли: «вот вам образцовое ведомство! Вот как скрываются там „дела“». Княгиня Оболдуй-Тараканова целых три дня неутомимо разъезжала по великосветским гостиным и везде начинала восклицанием:

— Вы слышали, какие ужасы творятся у Павлищева!?

В печати стали появляться новые дополнительные сведения о Бугаевских злоупотреблениях, и газеты рады были случаю излить свое цивическое негодование на неосторожного статского советника, как вдруг, в одно прекрасное утро, «Бугаевский инцидент» исчез со страниц газет и более уже не появлялся на них. Какое дальнейшее движение приняло дело о «возмутительных злоупотреблениях, являющихся, конечно, прискорбным единичным явлением в ведомстве такого энергичного и молодого министра, как С. И. Павлищев» (как писали тогда в газетах), — так и осталось для публики тайною.

Только одному автору известно, что г. Бугаев, вскоре после выезда из Сибири, приобрел на льготных условиях хорошенькое имение в Се-

веро-западом крае, по соседству с еще лучшим и тоже «льготным» имением редактора какого-то журнала, и в часы досуга, с истинно-русским направлением, писал в ту же самую газету «Настоящий Патриот», которая первая прославила имя Бугаева, как недостойного мздоимца, на всю Россию, — довольно решительные статейки о необходимости поднять русское землевладение в Западном крае для более действительного его обрусения. Статейки подписываются псевдонимом: «Коренной Русак» и часто цитировались редактором, как «веское слово благомыслящего русского дворянина и патриота».

* * *

Наступили рождественские праздники.

Павлищев отдыхал и большую часть времени проводил дома.

В этот вечер Степан Ильич, по прежнему веселый и довольный, забывший о неприятном «Бугаевском инциденте», как забыла его и публика, и ожидавший к новому году следующей по очереди звезды, сидел по обыкновению у Марьи Евграфовны в будуаре и читал громко какую-то повесть, — как в комнату вошел его камердинер Викентий и, подавая Павлищеву пакет, доложил,

что его привез курьер.

— Только не наш! — прибавил Викентий и вышел.

Павлищев, не спеша, вскрыл конверт, бросил его на. пол и стал читать бумагу…

Вдруг черты лица его передернулись… Он стал бледней полотна, и из дрожащей руки его выпала бумага и шлепнулась на ковер.

— Степан Ильич… что с тобой? Тебе дурно? Ты болен? — испуганно вскрикнула Марья Евграфовна, подбегая к мужу.

— Нет… ничего, я здоров… Вот, прочти бумагу! — проговорил он с какою-то беспомощною злобой.

«Только-то!» подумала Мурса Евграфовна, прочитав бумагу, и сказала:

— Степан Ильич, неужели тебя это так потрясло?.. Разве в этом только счастье… Добрый, хороший мой, не волнуйся… Довольно ты наработался, довольно ты пережил неприятностей… Теперь хоть ты отдохнешь…

— И уж навсегда! — с болезненною усмешкой отвечал Павлищев и прибавил:- а Марк был прав! Удивительное чутье у твоего братца… И эта бугаевская история… И эта княгиня… Подлые интриганы!..

И, нервно потрясенный, почувствовавший вдруг себя несчастным, несправедливо обиженным и оплеванным в глазах всех и в то же время, полный бессильной злости, он зарыдал, как беспомощный ребенок и, крепко сжимая руку жены, сказал:

— Только ты одна, Маша, меня любишь. Только ты!

* * *

Через два дня, а именно 30 декабря 1879 года, в «Кукушке» появилась передовая статья под названием: «Новый министр».

Статья была восторженная. Газета возлагала большие надежды на Аркадия Николаевича Иволгина, «человека тех лет, когда зрелый ум соединяется с зрелым опытом жизни. Это счастливое сочетание в государственном человеке и дает нам уверенность в мудром, решительном и в то же время осторожном управлении, далеком от всяких поспешных и крикливых мероприятий, являющихся столь соблазнительными, хотя и не всегда целесообразными, — для слишком молодых и иногда не по разуму энергичных сановников. Молодость, бесспорно, хороша, но не на всех постах». Затем передовая статья указы-

вала, как на весьма «отрадный признак», на то обстоятельство, что А. Н. Иволгин никогда не был профессиональным чиновником и что в нем не вкоренилась, так сказать, «бюрократическая предвзятость и чиновная заносчивость». Он человек практики и потому уже самому привыкший к терпимости, благодаря своим деловым сношениям с людьми разных положений и профессий. Прежняя разнообразная блестящая деятельность на разных частных поприщах, — «деятельность, отличавшаяся необыкновенным успехом и живучестью каждого дела, за которое бы он ни брался, — служит полнейшим ручательством, что в лице А. Н. Иволгина Россия приобрела опытного и прозорливого государственного мужа».

Внизу, под передовой статьей, после известия о том, что С. И. Павлищев назначен сенатором, довольно ехидно было прибавлено:

«Нельзя не порадоваться, что выдающиеся способности предместника А. Н. Иволгина не останутся без применения, и, таким образом, одним даровитым сенатором будет у нас больше».

— Ах, подлецы! — промолвил, прочитав статью «Кукушки», Степан Ильич.

И невольно вспомнил, как еще недавно «Кукушка» превозносила нашего «молодого и

энергичного министра».

— А теперь на смену явился: «опытный и прозорливый»!

И Павлищев брезгливо пожал плечами.

— Знаешь еще новость! — обратился Павлищев к вошедшей жене.

И он прочел ей вслух:

«Мы слышали из достоверных источников, что одним из товарищей нового министра назначается действительный статский советник Борщов, один из выдающихся по уму, всестороннему образованию и трудолюбию чиновников».

— Марк честолюбив! — промолвила Марья Евграфовна.

Павлищев на минуту задумался и проговорил:

— И знаешь, что я тебе скажу, Маша. Все мы, российские честолюбцы, по правде говоря, довольно-таки откровенно беспринципные люди, а этот молодой Марк уж совсем откровенный… Ведь эта записка о Бугаеве, попавшая в газеты, дело его рук… Ее выкрали по его приказанию.

— Не может быть? Так отплатить…

— Он последовательнее нас и уж без всяких предрассудков… Ну, черт с ними со всеми. Когда мы уезжаем из этого омута, Маша?

— Хоть завтра…

Через неделю поезд увозил Павлищевых за границу на шесть месяцев.

Степан Ильич начинал успокаиваться и, как водится, слегка фрондировать.